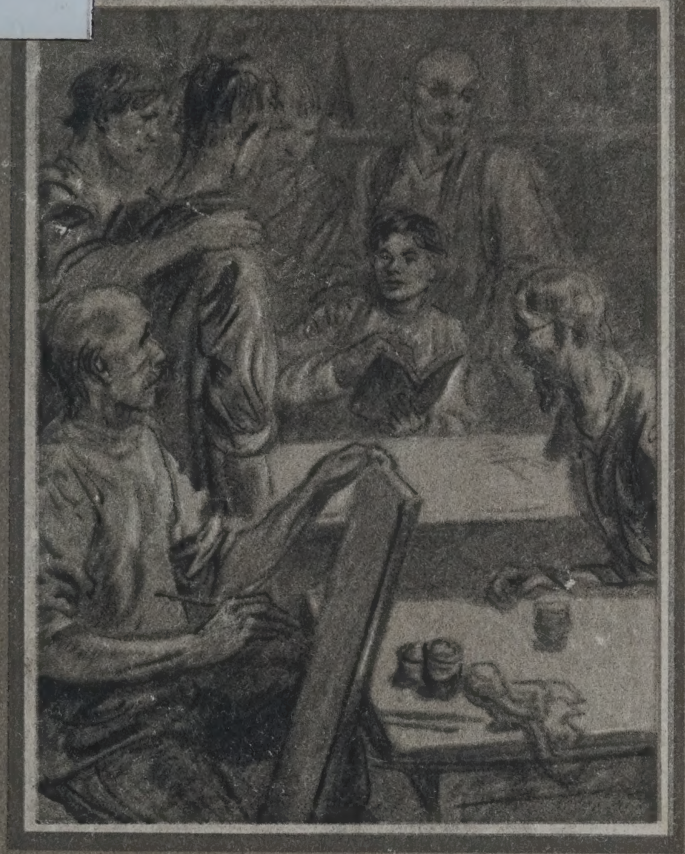
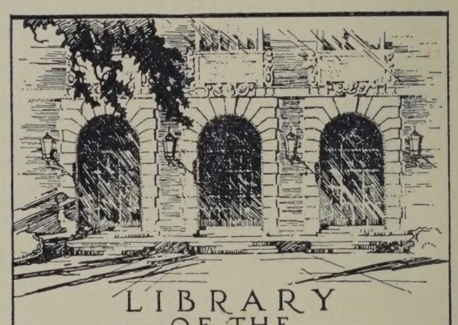
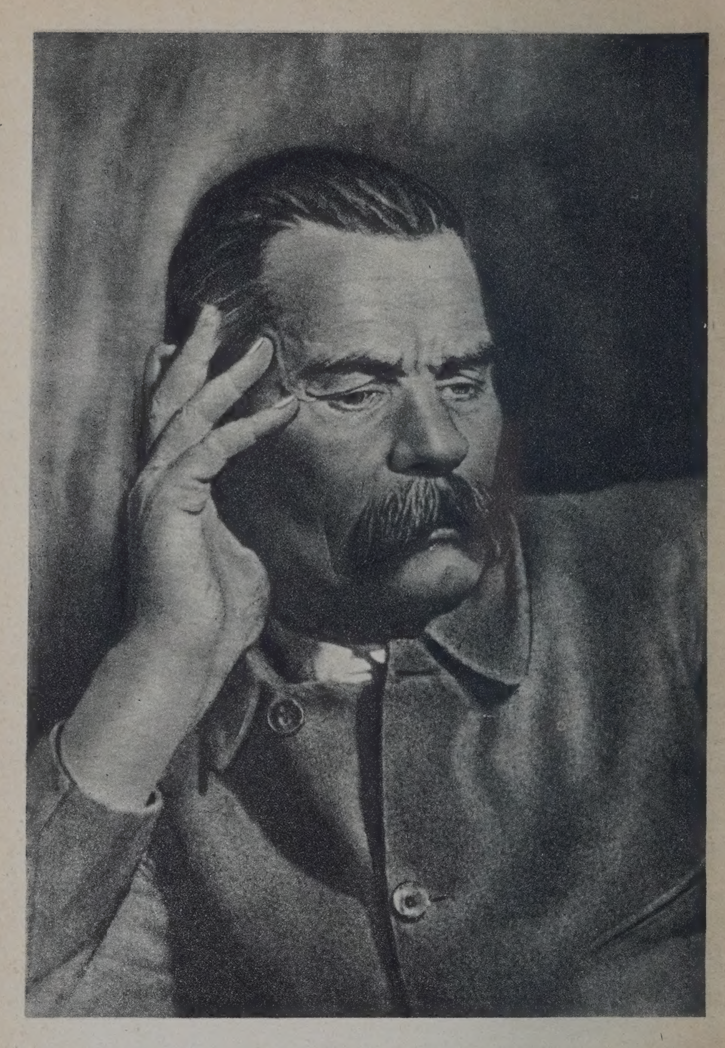


М. ГОРЬКИЙ

В ЛЮДЯХ

ДЕТГИЗ * 1950

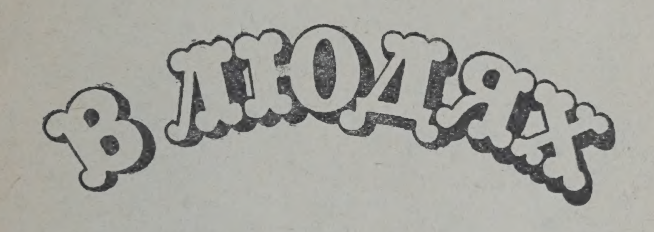




Алексей Максимович Горький

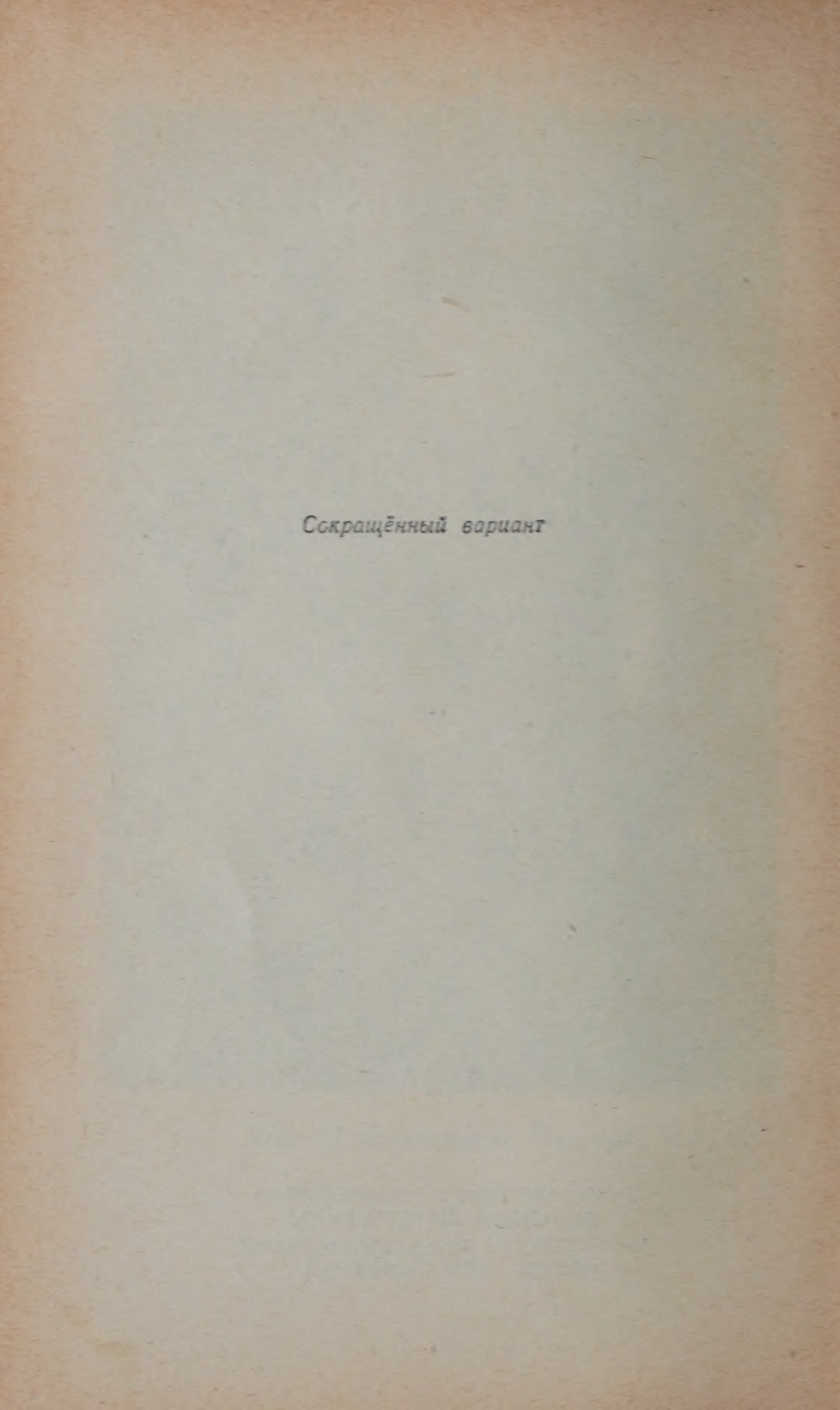
ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
ДЛЯ НЕРУССКИХ ШКОЛ

М. ГОРЬКИЙ



ИЛЛЮСТРАЦИИ
Б. ДЕХТЕРЁВА

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ РСФСР
МОСКВА 1950 ЛЕНИНГРАД



Сокращённый вариант

I

Я — в людях[1], служу «мальчиком» при магазине «модной обуви», на главной улице города.

Мой хозяин — маленький, круглый человечек, у него бурое, стёртое лицо, зелёные зубы, водянисто-грязные глаза. Он кажется мне слепым, и, желая убедиться в этом, я делаю гримасы[2].

— Не криви рожу, — тихонько, но строго говорит он.

Неприятно, что эти мутные глаза видят меня, и не верится, что они видят, — может быть, хозяин только догадывается, что я гримасничаю?

— Я сказал — не криви рожу, — ещё тише внушает[3] он, почти не шевеля толстыми губами.

— Не чеши рук, — ползёт ко мне его сухой шопот. — Ты служишь в первоклассном магазине на главной улице города, это надо помнить! Мальчик должен стоять при двери, как статуй...[4]

Я не знаю, что́ такое статуй, и не могу не чесать рук:

---

[1] Я — в людях — я работаю у чужих.

[2] Гримасы — намеренное искажение черт лица.

[3] Внушает (внушать) — здесь, наставляет, поучает.

[4] Статуй (просторечное) — правильно: статуя, скульптурное изображение человека, животного. «Стоять как статуя» — стоять не шевелясь, неподвижно.

обе они до локтей покрыты красными пятнами и язвами, их нестерпимо разъедает чесоточный клещ [1].

— Ты чем занимался дома? — спрашивает хозяин, рассматривая мои руки.

Я рассказываю, он качает круглой головой, плотно оклеенной серыми волосами, и обидно говорит:

— Ветошничество [2] — это хуже нищенства, хуже воровства.

Не без гордости я заявляю:

— Я ведь и воровал тоже.

Тогда, положив руки на конторку [3], точно кот лапы, он испуганно упирается пустыми глазами в лицо мне и шипит:

— Что-о? Как это воровал?

Я объясняю — как и что.

— Ну, это сочтём за пустяки. А если ты у меня украдёшь ботинки али [4] деньги, я тебя устрою в тюрьму до твоих совершенных лет [5].

Он сказал это спокойно, я испугался и ещё больше невзлюбил его.

Кроме хозяина, в магазине торговал мой брат, Саша Яковов, и старший приказчик — ловкий, липкий и румяный человек. Саша носил рыженький сюртучок [6], маниш-

---

[1] Чесоточный клещ — паразит, вызывающий чесотку — накожное заболевание.

[2] Ветошничество — промысел ветошника, собирающего для продажи разную ветошь — тряпки, лоскутья, а также кости, гвозди.

[3] На конторку (конторка) — на высокий письменный стол с наклонной верхней доской, за которым работают стоя.

[4] Али — или.

[5] До твоих совершенных лет — до совершеннолетия. По законам дореволюционной России, совершеннолетними считались люди, которым исполнился 21 год.

[6] Сюртучок — уменьшительное от слова «сюртук» — мужская одежда с длинными полами, узкая в талии.

ку[1], галстук, брюки навыпуск, был горд и не замечал меня.

Когда дед привёл меня к хозяину и просил Сашу помочь мне, поучить меня, — Саша важно нахмурился, предупреждая:

— Нужно, чтоб он меня слушался!

Положив руку на голову мою, дед согнул мне шею.

— Слушай его, он тебя старше и по годам и по должности...

А Саша, выкатив глаза, внушил мне:

— Помни, что́ дедушка сказал!

И с первого же дня начал усердно пользоваться своим старшинством.

— Каширин, не вытаращивай зенки[2], — советовал ему хозяин.

— Я — ничего-с, — отвечал Саша, наклоняя голову, но хозяин не отставал:

— Не бычись[3], покупатели подумают, что ты козёл...

Приказчик почтительно смеялся, хозяин уродливо растягивал губы, Саша, багрово налившись кровью, скрывался за прилавком.

Мне не нравились эти речи, я не понимал множества слов, иногда казалось, что эти люди говорят на чужом языке.

Когда входила покупательница, хозяин вынимал из кармана руку, касался усов и приклеивал на лицо своё сладостную улыбку; она, покрывая щёки его морщинами, не изменяла слепых глаз. Приказчик вытягивался, плотно приложив локти к бокам, а кисти рук почтительно развешивал в воздухе, Саша пугливо мигал, стараясь спрятать

---

[1] Манишку (манишка) — накрахмаленный, твёрдый нагрудник, преимущественно из белой ткани, пристёгиваемый к мужской сорочке.

[2] Зенки (просторечное) — глаза.

[3] Не бычись (бычиться) — не гляди угрюмо, не будь диким.

выпученные глаза, я стоял у двери, незаметно почёсывая руки, и следил за церемонией продажи [1].

Стоя перед покупательницей на коленях, приказчик примеряет башмак, удивительно растопырив пальцы. Руки у него трепещут, он дотрагивается до ноги женщины так осторожно, точно боится сломать ногу, а нога — толстая, похожа на бутылку с покатыми плечиками, горлышком вниз...

Было смешно смотреть, как он липнет к покупательнице, и, чтобы не смеяться, я отворачивался к стеклу двери. Но неодолимо [2] тянуло наблюдать за продажей, — уж очень забавляли меня приёмы приказчика, и в то же время я думал, что никогда не сумею так вежливо растопыривать пальцы, так ловко насаживать башмаки на чужие ноги.

Часто бывало хозяин уходил из магазина в маленькую комнатку за прилавком и звал туда Сашу; приказчик оставался глаз-на-глаз с покупательницей. Раз, коснувшись ноги рыжей женщины, он сложил пальцы щепотью и поцеловал их.

— Ах, — вздохнула женщина, — какой вы шалунишка!

А он надул щёки и тяжко произнёс:

— Мм-ух!

Тут я расхохотался до того, что, боясь свалиться с ног, повис на ручке двери, дверь отворилась, я угодил головой в стекло и вышиб его. Приказчик топал на меня ногами, хозяин стучал по голове моей тяжёлым золотым перстнем, Саша пытался трепать мои уши, а вечером, когда мы шли домой, строго внушал мне:

— Прогонят тебя за эти штуки! Ну что́ тут смешного?

---

[1] За церемонией (церемония) продажи — здесь: за ходом торговли.

[2] Неодолимо — здесь: неудержимо.

И объяснил: если приказчик нравится дамам — торговля идёт лучше.

— Даме и не нужно башмаков, а она придёт да лишние купит, только бы поглядеть на приятного приказчика. А ты — не понимаешь! Возись с тобой...

Это меня обидело, — никто не возился со мной, а он тем более.

По утрам кухарка, женщина больная и сердитая, будила меня на час раньше, чем его; я чистил обувь и платье хозяев, приказчика, Саши, ставил самовар, приносил дров для всех печей, чистил судки для обеда. Придя в магазин, подметал пол, стирал пыль, готовил чай, разносил покупателям товар, ходил домой за обедом; мою должность у двери в это время исполнял Саша и, находя, что это унижает его достоинство, ругал меня:

— Увалень [1]. Работай вот за тебя...

Мне было тягостно и скучно, я привык жить самостоятельно, с утра до ночи на песчаных улицах Кунавина [2], на берегу мутной Оки, в поле и в лесу. Нехватало бабушки, товарищей, не с кем было говорить, а жизнь раздражала, показывая мне свою неказистую [3], лживую изнанку [4].

Нередко случалось, что покупательница уходила, ничего не купив, — тогда они, трое, чувствовали себя обиженными. Хозяин прятал в карман свою сладкую улыбку, командовал:

— Каширин, прибери товар!

И ругался:

— Ишь, нарыла, свинья! Скушно дома сидеть дуре,

---

[1] Увалень — неповоротливый и ленивый человек.

[2] Кунавино (правильно: Канавино) — заречная часть Нижнего Новгорода (теперь Горького), отделённая от него рекою Окой.

[3] Неказистую (неказистая) — неприглядную, некрасивую.

[4] Изнанку (изнанка) — здесь: скрытую сторону события, явления. Изнанка — внутренняя сторона ткани, одежды.

так она по магазинам шляется. Была бы ты моей женой — я б тебя...

Его жена, сухая, черноглазая, с большим носом, топала на него ногами и кричала, как на слугу.

Часто, проводив знакомую покупательницу вежливыми поклонами и любезными словами, они говорили о ней грязно и бесстыдно, вызывая у меня желание выбежать на улицу и, догнав женщину, рассказать, как говорят о ней.

Я, конечно, знал, что люди вообще плохо говорят друг о друге заглаза [1], но эти говорили обо всех особенно возмутительно, как будто они были кем-то признаны за самых лучших людей и назначены в судьи миру. Многим завидуя, они никого не хвалили и о каждом человеке знали что-нибудь скверное.

Как-то раз в магазин пришла молодая женщина, с ярким румянцем на щеках и сверкающими глазами, она была одета в бархатную ротонду [2] с воротником чёрного меха, — лицо её возвышалось над мехом, как удивительный цветок. Сбросив с плеч ротонду на руки Саши, она стала ещё красивее: стройная фигура была туго обтянута голубовато-серым шёлком, в ушах сверкали брильянты, — она напоминала мне Василису Прекрасную [3], и я был уверен, что это сама губернаторша [4]. Её приняли особенно почтительно, изгибаясь перед нею, как перед огнём, захлёбываясь любезными словами. Все трое метались по магазину, точно бесы; на стёклах шкапов скользили их отражения, казалось, что всё кругом за-

---

[1] Заглаза — в отсутствие того, о ком говорят.

[2] В ротонду (ротонда) — верхнюю тёплую одежду без рукавов, длинную накидку.

[3] Василису Прекрасную (Василиса Прекрасная) — красавицу из русской народной сказки.

[4] Губернаторша — жена губернатора, начальника губернии (губерния в дореволюционной России — административно-территориальная единица, теперь область, округ).

горелось, тает и вот сейчас примет иной вид, иные формы.

А когда она, быстро выбрав дорогие ботинки, ушла, хозяин, причмокнув, сказал со свистом:

— С-сука...

— Одно слово — актриса, — с презрением молвил приказчик.

И они стали рассказывать друг другу о любовниках дамы, о её кутежах...

Несмотря на обилие суеты[1] в магазине и работы дома, я словно засыпал в тяжёлой скуке, и всё чаще думалось мне: что́ бы такое сделать, чтоб меня прогнали из магазина?..

Однажды, когда я разбирал на дворе, у двери в магазин, ящик только что полученного товара, ко мне подошёл церковный сторож, кособокий старичок, мягкий, точно из тряпок сделан, и растрёпанный, как будто его собаки рвали.

— Ты бы, человече[2] божий, украл мне калошки, а? — предложил он.

Я промолчал. Присев на пустой ящик, он зевнул, перекрестил рот и — снова:

— Украдь, а?

— Воровать — нельзя! — сообщил я ему.

— А воруют однако. Уважь[3] старость!

Он был приятно не похож на людей, среди которых я жил; я почувствовал, что он вполне уверен в моей готовности украсть, и согласился подать ему калоши в форточку окна.

— Вот и ладно, — не радуясь, спокойно сказал он. — Не омманешь?[4] Ну, ну, уж я вижу, что не омманешь...

---

[1] Суеты (суета) — бестолковой беготни и торопливости.

[2] Человече — человек.

[3] Уважь (уважать) — окажи уважение.

[4] Не омманешь — правильно: не обманешь (обмануть).

Посидел с минуту молча, растирая грязный, мокрый снег подошвой сапога, потом закурил глиняную трубку и вдруг испугал меня:

— А ежели я тебя омману? Возьму эти самые калоши, да к хозяину отнесу, да и скажу, что продал ты мне их за полтину? [1] А? Цена им свыше двух целковых [2], а ты за полтину! На гостинцы, а?

Я немотно [3] смотрел на него, как будто он уже сделал то, что обещал, а он всё говорил тихонько, гнусаво, глядя на свой сапог и попыхивая голубым дымом:

— Если окажется, напримерно [4], что это хозяин же и научил меня: иди, испытай мне мальца [5] — насколько он вор? Как тогда будет?

— Не дам я тебе калоши, — сказал я сердито.

— Теперь уж нельзя не дать, коли обещал!

Он взял меня за руку, привлёк к себе и, стукая холодным пальцем по лбу моему, лениво продолжал:

— Как же это ты ни с того ни с сего — на, возьми?!

— Ты сам просил.

— Мало ли чего я могу попросить! Я тебя попрошу церкву ограбить, как же ты — ограбишь? Разве можно человеку верить? Ах ты, дурачок...

И, оттолкнув меня, он встал.

— Калошев [6] мне не надо краденых, я не барин, калошей не ношу. Это я пошутил только... А за простоту твою, когда Пасха придёт, я те на колокольню пущу, звонить будешь, город поглядишь...

— Я знаю город.

— С колокольни он краше...

Зарывая носки сапог в снег, он медленно ушёл за

[1] За полтину (полтина) — за пятьдесят копеек.

[2] Двух целковых (целковый) — двух рублей.

[3] Немотно — безмолвно, не говоря ни слова.

[4] Напримерно — например.

[5] Мальца (малец) — мальчика.

[6] Калошев — правильно: калош (калоши).

угол церкви, а я, глядя вслед ему, уныло, испуганно думал: действительно пошутил старичок или подослан был хозяином проверить меня? Итти в магазин было боязно.

На двор выскочил Саша и закричал:

— Какого чорта ты возишься!

Я замахнулся на него клещами, вдруг взбесившись.

Я знал, что он и приказчик обкрадывают хозяина: они прятали пару ботинок или туфель в трубу печи, потом, уходя из магазина, скрывали их в рукавах пальто. Это не нравилось мне и пугало меня, — я помнил угрозу хозяина.

— Ты воруешь? — спросил я Сашу.

— Не я, а старший приказчик, — объяснил он мне строго, — я только помогаю ему. Он говорит — услужи! Я должен слушаться, а то он мне пакость устроит. Хозяин! Он сам вчерашний приказчик, он всё понимает. А ты молчи!

Говоря, он смотрел в зеркало и поправлял галстук теми же движениями неестественно растопыренных пальцев, как это делал старший приказчик. Он неутомимо показывал мне своё старшинство и власть надо мною, кричал на меня басом, а приказывая мне, вытягивал руку вперёд отталкивающим жестом. Я был выше его и сильнее, но костляв и неуклюж, а он — плотненький, мягкий и масленый. В сюртуке и брюках навыпуск, он казался мне важным, солидным, но было в нём что-то неприятное, смешное. Он ненавидел кухарку, бабу странную, — нельзя было понять, добрая она или злая.

— Лучше всего на свете люблю я бои, — говорила она, широко открыв чёрные, горячие глаза. — Мне всё едино, какой бой: петухи ли дерутся, собаки ли, мужики — мне это всё едино!

И если на дворе дрались петухи или голуби, она, бросив работу, наблюдала за дракою до конца её, глядя

в окно, глухая, немая. По вечерам она говорила мне и Саше:

— Чтó вы, ребятишки, зря сидите, подрались бы лучше!

Саша сердится:

— Я тебе, дуре, не ребятишка, а второй приказчик!

— Ну, этого я не вижу. Для меня, покуда не женат, ребёнок!

— Дура, дурья голова...

— Бес умён, да его бог не любит.

Её поговорки особенно раздражали Сашу, он дразнил её, а она, презрительно скосив на него глаза, говорила:

— Эх, ты, таракан, богова ошибка!

Не однажды он уговаривал меня намазать ей, сонной, лицо ваксой или сажей, натыкать в её подушку булавок или как-нибудь иначе «подшутить» над ней, но я боялся кухарки, да и спала она чутко, часто просыпаясь; проснётся, зажжёт лампу и сидит на кровати, глядя куда-то в угол. Иногда она приходила ко мне за печку и, разбудив меня, просила хрипло:

— Не спится мне, Лексейка, боязно чего-то, поговори-ка ты со мной.

Сквозь сон я что-то рассказывал ей, а она сидела молча и покачивалась. Мне казалось, что горячее тело её пахнет воском и ладаном [1] и что она скоро умрёт. Может быть, даже сейчас вот ткнётся лицом в пол и умрёт. Со страха я начинал говорить громко, но она останавливала меня:

— Шш! А то сволочи проснутся, подумают про тебя, что ты любовник мой...

Сидела она около меня всегда в одной позе: согнувшись, сунув кисти рук между колен, сжимая их острыми костями ног. Грудей у неё не было, и даже сквозь

---

[1] Ладаном (ладан) — душистой смолой, которая сжигается во время богослужения в церкви.

толстую холстину рубахи проступали рёбра, точно обручи на рассохшейся бочке. Сидит долго молча и вдруг прошепчет:

— Хоть умереть бы, что ли, такая всё тоска...

Или спросит кого-то:

— Вот и дожила — ну?

— Спи! — говорила она, прерывая меня на полуслове, разгибалась и, серая, таяла бесшумно в темноте кухни.

— Ведьма! — звал её Саша заглаза.

Я предложил ему:

— А ты в глаза скажи ей это!

— Думаешь, побоюсь?

Но тотчас же сморщился, говоря:

— Нет, в глаза не скажу! Может, она и вправду ведьма...

Относясь ко всем пренебрежительно и сердито, она и мне ни в чем не мирволила [1], — дёрнет меня за ногу в шесть часов утра и кричит:

— Буде дрыхнуть-то! [2] Тащи дров! Ставь самовар! Чисти картошку!..

Просыпался Саша и ныл:

— Что ты орёшь? Я хозяину скажу, спать нельзя...

Быстро передвигая по кухне свои сухие кости, она сверкала в его сторону воспалёнными бессонницей глазами:

— У, богова ошибка! Был бы ты мне пасынок [3], я бы тебя ощипала.

— Проклятая, — ругался Саша и по дороге в магазин внушал мне: — Надо сделать, чтоб её прогнали. Надо, незаметно, соли во всё подбавлять, — если у неё всё

---

[1] Не мирволила (мирволить) — не баловала, не прощала, не была снисходительной.

[2] Буде дрыхнуть-то! — Будет спать-то!

[3] Пасынок — не родной сын.

будет пересолено, прогонят её. А то керосину! Ты чего зеваешь?

— А ты?

Он сердито фыркнул:

— Трус!

Кухарка умерла на наших глазах: наклонилась, чтобы поднять самовар, и вдруг осела на пол, точно кто-то толкнул её в грудь, потом молча свалилась на бок, вытягивая руки вперёд, а изо рта у неё потекла кровь.

Мы оба тотчас поняли, что она умерла, но, стиснутые испугом, долго смотрели на неё, не в силах слова сказать. Наконец Саша стремглав бросился вон из кухни, а я, не зная, чтó делать, прижался у окна, на свету. Пришёл хозяин, озабоченно присел на корточки, пощупал лицо кухарки пальцем, сказал:

— Действительно, умерла... Чтó такое?

И стал креститься в угол, на маленький образок Николы-чудотворца, а помолившись, скомандовал в сени:

— Каширин, беги, объяви полиции!

Пришёл полицейский, потоптался, получил на-чай, ушёл; потом снова явился, а с ним ломовой извозчик; они взяли кухарку за ноги, за голову и унесли её на улицу. Заглянула из сеней хозяйка, приказала мне:

— Вымой пол!

А хозяин сказал:

— Хорошо, что она вечером померла...

Я не понял, почему это хорошо. Когда ложились спать, Саша сказал мне необычно кротко:

— Не гаси лампу!

— Боишься?

Он закутал голову одеялом и долго лежал молча. Ночь была тихая, словно прислушивалась к чему-то, чего-то ждала, а мне казалось, что вот в следующую секунду ударят в колокол, и вдруг все в городе забегают, закричат в великом смятении страха.

Саша высунул нос из-под одеяла и предложил тихонько:

— Давай ляжем на печи рядом?

— Жарко на печи.

Помолчав, он сказал:

— Как она — сразу, а? Вот тебе и ведьма... Не могу уснуть...

— И я не могу.

Становилось всё тише, как будто темнее. Саша приподнял голову и спросил:

— Хочешь, посмотрим мой сундук?

Мне давно хотелось узнать, что́ он прячет в сундуке. Он запирал его висячим замком, а открывал всегда с какими-то особенными предосторожностями и, если я пытался заглянуть в сундук, грубо спрашивал:

— Чего тебе надо? Ну?

Когда я согласился, он сел на постели, не спуская ног на пол, и уже тоном приказания велел мне поставить сундук на постель, к его ногам. Ключ висел у него на гайтане[1], вместе с нательным крестом. Оглянув тёмные углы кухни, он важно нахмурился, отпер замок, подул на крышку сундука, точно она была горячая, и, наконец, приподняв её, вынул несколько пар белья.

Сундук был до половины наполнен аптечными коробками, свёртками разноцветной чайной бумаги, жестянками из-под ваксы и сардин.

— Это что́?

— А вот увидишь...

Он обнял сундук ногами и склонился над ним, напевая тихонько:

— Царю небесный...

Я ожидал увидеть игрушки: я никогда не имел игрушек и относился к ним с наружным презрением, но не

---

[1] На гайтане; гайтан — шнурок, тесьма.

без зависти к тому, у кого они были Мне очень понравилось, что у Саши, такого солидного, есть игрушки; хотя он и скрывает их стыдливо, но мне понятен был этот стыд.

Открыв первую коробку, он вынул из неё оправу от очков, надел её на нос и, строго глядя на меня, сказал:

— Это ничего не значит, что стёкол нет, это уж такие очки!

— Дай мне посмотреть!

— Тебе они не по глазам. Это для тёмных глаз, а у тебя какие-то светлые, — объяснил он и по-хозяйски крякнул, но тотчас же испуганно осмотрел всю кухню.

В коробке из-под ваксы лежало много разнообразных пуговиц, — он объяснил мне с гордостью:

— Это я всё на улице собрал! Сам. Тридцать семь уж...

В третьей коробке оказались большие медные булавки, тоже собранные на улице, потом сапожные подковки, стёртые, сломанные и цельные, пряжки от башмаков и туфель, медная дверная ручка, сломанный костяной набалдашник[1] трости, девичья головная гребёнка, «Сонник и оракул»[2] и ещё множество вещей такой же ценности.

В моих поисках тряпок и костей я легко мог бы собрать таких пустяковых штучек за один месяц в десять раз больше. Сашины вещи вызвали у меня чувство разочарования, смущения и томительной жалости к нему. А он разглядывал каждую штучку внимательно, любовно гладил её пальцами, его толстые губы важно оттопырились, выпуклые глаза смотрели умилённо и озабоченно, но очки делали его детское лицо смешным.

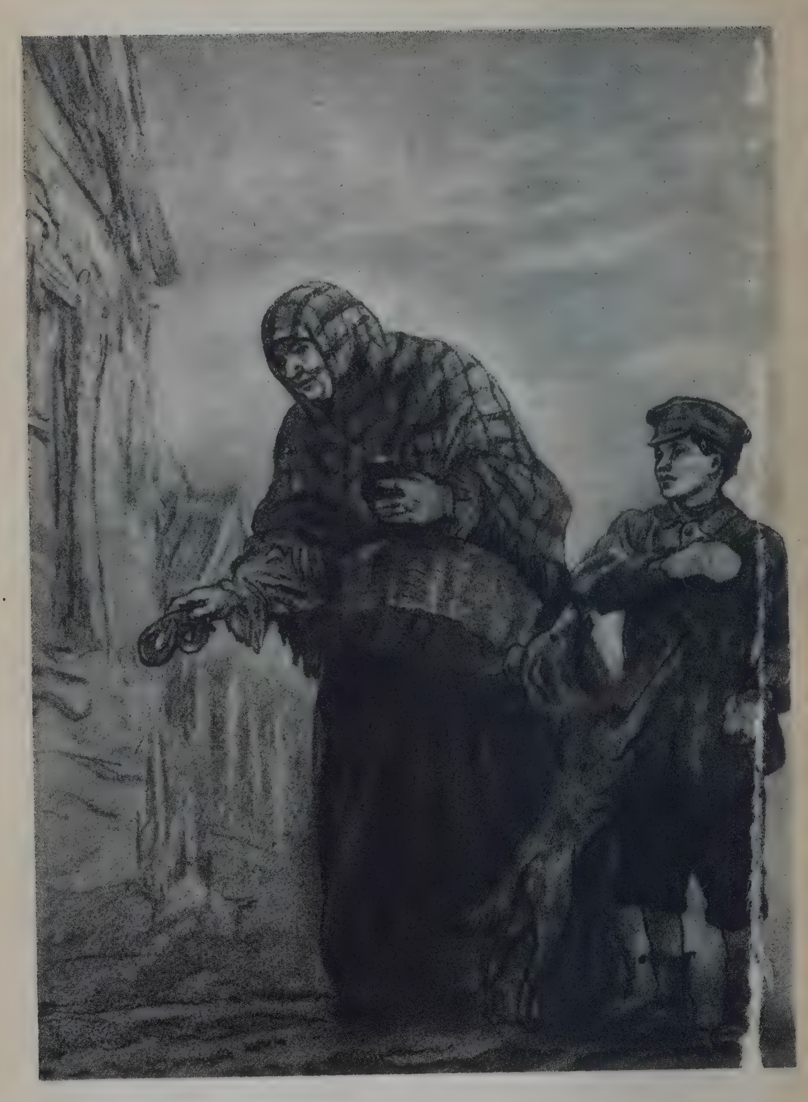
---

[1] Набалдашник — рукоятка, округлый конец верхней части трости.

[2] «Сонник и оракул» — лубочная, вздорная «гадательная книга», содержащая «объяснения» снов и «предсказания» будущего.



К стр. 8



К стр. 29

— Зачем это тебе?

Он мельком взглянул на меня сквозь оправу очков и спросил ломким дискантом:

— Хочешь, подарю что-нибудь?

— Нет, не надо...

Видимо обиженный отказом и недостатком внимания к богатству его, он помолчал минуту, потом тихонько предложил:

— Возьми полотенце, перетрём всё, а то запылилось...

Когда вещи были перетёрты и уложены, он кувырнулся в постель, лицом к стене. Дождь пошёл, капало с крыши, в окна торкался [1] ветер.

Не оборачиваясь ко мне, Саша сказал:

— Погоди, когда в саду станет суше, я тебе покажу такую штуку — ахнешь!

Я промолчал, укладываясь спать.

Прошло ещё несколько секунд, он вдруг вскочил и, царапая руками стену, с потрясающей убедительностью заговорил:

— Я боюсь... Господи, я боюсь! Господи помилуй! Что́ же это?

Тут и я испугался до онемения: мне показалось, что у окна во двор, спиной ко мне, стоит кухарка, наклонив голову, упираясь лбом в стекло, как стояла она живая, глядя на петушиный бой.

Саша рыдал, царапая стену, дрыгая ногами. Я с трудом, точно по горячим угольям, не оглядываясь, перешёл кухню и лёг рядом с ним.

Наревевшись до утомления, мы заснули.

Через несколько дней после этого был какой-то праздник, торговали до полудня, обедали дома, и когда хозяева после обеда легли спать, Саша таинственно сказал мне:

— Идём!

[1] Торкался (торкаться) — толкался, бился, стучался.

Я догадался, что сейчас увижу штуку, которая заставит меня ахнуть.

Вышли в сад. На узкой полосе земли, между двух домов, стояло десятка полтора старых лип, могучие стволы были покрыты зелёной ватой лишаёв, чёрные голые сучья торчали мертво. И ни одного вороньего гнезда среди них. Деревья, точно памятники на кладбище. Кроме этих лип, в саду ничего не было, ни куста, ни травы; земля на дорожках плотно утоптана и черна, точно чугунная; там, где из-под жухлой[1] прошлогодней листвы видны её лысины, она тоже подёрнута плесенью, как стоячая вода ряской.

Саша прошёл за угол, к забору с улицы, остановился под липой и, выкатив глаза, поглядел в мутные окна соседнего дома. Присел на корточки, разгрёб руками кучу листьев, — обнаружился толстый корень и около него два кирпича, глубоко вдавленные в землю. Он приподнял их, — под ними оказался кусок кровельного железа, под железом — квадратная дощечка, наконец предо мною открылась большая дыра, уходя под корень.

Саша зажёг спичку, потом огарок восковой свечи, сунул его в эту дырку и сказал мне:

— Гляди! Не бойся только...

Сам он, видимо, боялся: огарок в руке его дрожал, он побледнел, неприятно распустил губы, глаза его стали влажны, он тихонько отводил свободную руку за спину. Страх его передался мне, я очень осторожно заглянул в углубление под корнем, — корень служил пещере сводом, — в глубине её Саша зажёг три огонька, они наполнили пещеру синим светом. Она была довольно обширна, глубиною как внутренность ведра, но шире, бока её были сплошь выложены кусками разноцветных стёкол и черепков чайной посуды. Посредине, на возвышении, покрытом куском кумача, стоял маленький гроб, оклеенный

[1] Жухлой (жухлая) — поблёкшей и жёсткой.

свинцовой бумагой, до половины прикрытый лоскутом чего-то похожего на парчёвый покров[1], из-под покрова высовывались серенькие птичьи лапки и остроносая головка воробья. За гробом возвышался аналой[2], на нём лежал медный нательный крест, а вокруг аналоя горели три восковых огарка, укреплённых в подсвечниках, обвитых серебряной и золотой бумагой от конфет.

Острия огней наклонялись к отверстию пещеры; внутри её тускло блестели разноцветные искры, пятна. Запах воска, тёплой гнили и земли бил мне в лицо, в глазах переливалась, прыгала раздробленная радуга. Всё это вызвало у меня тягостное удивление и подавило мой страх.

— Хорошо? — спросил Саша.

— Это зачем?

— Часовня, — объяснил он. — Похоже?

— Не знаю.

— А воробей — покойник! Может, мощи будут из него, потому что он невинно пострадавший мученик...

— Ты его мёртвым нашёл?

— Нет, он залетел в сарай, а я накрыл его шапкой и задушил.

— Зачем?

— Так...

Он заглянул мне в глаза и снова спросил:

— Хорошо?

— Нет!

Тогда он наклонился к пещере, быстро прикрыл её доской, железом, втиснул в землю кирпичи, встал на ноги и, очищая с колен грязь, строго спросил:

---

[1] На парчёвый покров — на покрывало на гробе, сделанное из парчи — шёлковой ткани, затканной золотыми или серебряными нитками.

[2] Аналой — высокий столик с наклонным верхом, на который в церкви кладут иконы или богослужебные книги.

рялся, встал, отряхнулся и, выбросив портупею на плечи, спокойно и внушительно сказал:

— Теперь увидишь, что будет, погоди немножко! Это ведь я всё нарочно сделал для тебя, это — колдовство! Ага?

Я так и присел, точно ушибленный его словами, всё внутри у меня облилось холодом. А он ушёл, не оглянувшись, ещё более подавив спокойствием своим.

Я решил завтра же убежать из города, от хозяина, от Саши с его колдовством, от всей этой нудной[1], дурацкой жизни.

На другой день утром новая кухарка, разбудив меня, закричала:

— Батюшки! Что у тебя с рожей-то?..

— Началось колдовство! — подумал я уничтожённо.

Но кухарка так заразительно хохотала, что я тоже улыбнулся невольно и заглянул в её зеркальце: лицо у меня было густо вымазано сажей.

— Это — Саша?

— А то я! — смешливо крикнула кухарка.

Я начал чистить обувь, сунул руку в башмак, — в палец мне впилась булавка.

— Вот оно, колдовство!

Во всех башмаках оказались булавки и иголки, пристроенные так ловко, что они впивались мне в ладонь. Тогда я взял ковш холодной воды и с великим удовольствием вылил её на голову ещё не проснувшегося или притворно спавшего колдуна...

Бежать я решил вечером этого дня, но перед обедом, разогревая на керосинке судок со щами, я, задумавшись, вскипятил их, а когда стал гасить огонь, опрокинул судок себе на руки, и меня отправили в больницу.

Помню тягостный кошмар больницы: в жёлтой зыбкой пустоте слепо копошились, урчали и стонали серые и бе-

---

[1] Нудный (разговорн.) — скучный, томительный.

лые фигуры в саванах, ходил на костылях длинный человек с бровями точно усы, тряс большой чёрной бородой и рычал, присвистывая:

— Пре-освященному донесу!

Койки напоминали гробы, больные, лёжа кверху носами, были похожи на мёртвых воробьёв. Качались жёлтые стены, парусом выгибался потолок, пол зыбился, сдвигая и раздвигая ряды коек, всё было ненадёжно, жутко, а за окнами торчали сучья деревьев, точно розги, и кто-то тряс ими.

В двери приплясывал рыжий, тоненький покойник, дёргал коротенькими руками саван свой и визжал:

— Мне не надо сумасшедших!

А человек на костылях орал в голову ему:

— Пре-освящен-ному-с...

Дед, бабушка, да и все люди всегда говорили, что в больнице морят людей, — я считал свою жизнь поконченной. Подошла ко мне женщина в очках и тоже в саване, написала что-то на чёрной доске в моём изголовье, — мел сломался, крошки его посыпались на голову мне.

— Тебя как зовут? — спросила она.

— Никак.

— У тебя же есть имя?

— Нет.

— Ну, не дури, а то высекут!

Я и до неё был уверен, что высекут, а потому не стал отвечать ей. Она фыркнула, точно кошка, и кошкой, бесшумно, ушла.

Зажгли две лампы, их жёлтые огни повисли под потолком, точно чьи-то потерянные глаза, — висят и мигают, досадно ослепляя, стремясь сблизиться друг с другом.

В углу кто-то сказал:

— Давай в карты играть?

— Как же я без руки-то?

— Ага, отрезали тебе руку!

Я тотчас сообразил: вот руку отрезали за то, что человек играл в карты. А что сделают со мной перед тем, как уморить меня?

Руки мне жгло и рвало, словно кто-то вытаскивал кости из них. Я тихонько заплакал от страха и боли, а чтобы не видно было слёз, закрыл глаза, но слёзы приподнимали веки и текли по вискам, попадая в уши.

Пришла ночь, все люди повалились на койки, спрятавшись под серые одеяла, с каждой минутой становилось всё тише, только в углу кто-то бормотал:

— Ничего не выйдет, а он — дрянь, и она — дрянь...

Написать письмо бабушке, чтобы она пришла и выкрала меня из больницы, пока я ещё жив? Но писать нельзя: руки не действуют и не на чем. Попробовать, не удастся ли улизнуть отсюда?

Ночь становилась всё мертвее, точно утверждаясь навсегда. Тихонько спустив ноги на пол, я подошёл к двери, половинка её была открыта, — в коридоре, под лампой, на деревянной скамье со спинкой, торчала и дымилась седая ежовая голова, глядя на меня тёмными впадинами глаз. Я не успел спрятаться.

— Кто бродит? Подь [1] сюда!

Голос не страшный, тихий. Я подошёл, посмотрел на круглое лицо, утыканное короткими волосами, — на голове они были длиннее и торчали во все стороны, окружая её серебряными лучиками, а на поясе человека висела связка ключей. Будь у него борода и волосы длиннее, он был бы похож на апостола Петра.

— Это — варёны руки? Ты чего же шлёндаешь [2] ночью? По какому закону?

Он выдул в грудь и лицо мне много дыма, обнял меня тёплой рукой за шею и привлёк к себе.

---

[1] Подь — подойди.

[2] Шлёндаешь (шлёндать) — ходишь.

— Боишься?

— Боюсь!

— Здесь — все боятся вначале. А бояться нечего. Особливо со мной, — я никого в обиду не дам... Курить желаешь? Ну, не кури. Это тебе рано, погоди года два... А отец-мать где? Нету отца-матери! Ну, и не надо — без них проживём, только не трусь! Понял?

Я давно уже не видал людей, которые умеют говорить просто и дружески, понятными словами, — мне было невыразимо приятно слушать его.

Когда он отвёл меня к моей койке, я попросил:

— Посиди со мной!

— Можно, — согласился он.

— Ты — кто?

— Я? Солдат, самый настоящий солдат, кавказский. И на войне был, а — как же иначе? Солдат для войны живёт. Я с венграми воевал, с черкесом, поляком — сколько угодно! Война, брат, бо-ольшое озорство!

Я на минуту закрыл глаза, а когда открыл их, на месте солдата сидела бабушка в тёмном платье, а он стоял около неё и говорил:

— Поди-ка, померли все, а?

В палате играло солнце, — позолотит в ней всё и спрячется, а потом снова ярко взглянет на всех, точно ребёнок шалит.

Бабушка наклонилась ко мне, спрашивая:

— Что́, голубой? Изувечили? Говорила я ему, рыжему бесу...

— Сейчас я всё сделаю по закону, — сказал солдат, уходя, а бабушка, стирая слёзы с лица, говорила:

— Наш солдат, балахонский, оказался...

Я всё ещё думал, что сон вижу, и молчал. Пришёл доктор, перевязал мне ожоги, и вот я с бабушкой еду на извозчике по улицам города. Она рассказывает:

— А дед у нас — вовсе с ума сходит, так жаден

стал — глядеть тошно! Да ещё у него недавно сторублёвую из Псалтиря скорняк Хлыст вытащил, новый приятель его. Что́ было — и-и!

Ярко светит солнце, белыми птицами плывут в небе облака, мы едем по мосткам через Волгу, гудит, вздувается лёд, хлюпает вода под тесинами мостков, на мясисто-красном соборе Ярмарки горят золотые кресты. Встретилась широкорожая баба с охапкой атласных веток вербы в руках — весна идёт, скоро Пасха!

Сердце затрепетало жаворонком.

— Люблю я тебя очень, бабушка!

Это её не удивило, спокойным голосом она сказала мне:

— Родной потому что, а меня, не хвастаясь скажу, и чужие любят, слава тебе, богородица!

Улыбаясь, она добавила:

— Вот — обрадуется она, скоро, сын воскреснет! А Варюша, дочь моя...

И замолчала...

II

Дед встретил меня на дворе, — тесал топором какой-то клин, стоя на коленях. Приподнял топор, точно собираясь швырнуть его в голову мне, и, сняв шапку, насмешливо сказал:

— Здравствуйте, преподобное [1] лицо, ваше благородие! Отслужили? Ну, уж теперь как хотите живите, да! Эх, вы-и...

— Знаем, знаем, — торопливо проговорила бабушка, отмахиваясь от него, а войдя в комнату и ставя самовар, рассказывала:

— Теперь — начисто разорился дедушко-то; какие

[1] Преподобное (преподобие) — так называли священников. Здесь: обращение с насмешкой.

деньги были, всё отдавал крестнику Николаю в рост [1], а расписок, видно, не брал с него, — уж не знаю, как это у них сталось, только — разорился, пропали деньги. А всё за то, что бедным не помогали мы, несчастных не жалели, господь-то и подумал про нас: для чего же я Кашириных добром оделил? [2] Подумал, да и лишил всего...

Оглянувшись, она сообщила:

— Уж я всё стараюсь господа задобрить немножко, чтобы не больно он старика-то пригнетал [3], — стала теперь от трудов своих тихую милостыню подавать [4] по ночам. Вот, хошь, пойдём сегодня — у меня деньги есть...

Пришёл дед, сощурился и спросил:

— Жрать нацелились?

— Не твоё, — сказала бабушка. — А коли хочешь, садись с нами, и на тебя хватит.

Он сел к столу, молвив тихонько:

— Налей...

Всё в комнате было на своём месте, только угол матери печально пустовал да на стене, над постелью деда, висел лист бумаги с крупною надписью печатными буквами:

«Исусе спасе едино живый! Да пребудет святое имя твоё со мною по вся дни и часы живота [5] моего».

— Это кто писал?

Дед не ответил, бабушка, подождав, сказала с улыбкой:

— Этой бумаге сто рублей цена!

— Не твоё дело! — крикнул дед. — Всё чужим людям раздам!

---

[1] В рост — в долг под проценты.

[2] Кашириных добром оделил (оделить) — дал Кашириным из своего добра.

[3] Пригнетал (пригнетать) — притеснял.

[4] Тихую милостыню подавать — тайно жертвовать что-либо бедным.

[5] Живота (живот) — здесь: жизни.

— Раздать-то нечего, а когда было — не раздавал, — спокойно сказала бабушка.

— Молчать! — взвизгнул дед.

Здесь всё в порядке, всё по-старому.

В углу на сундуке, в бельевой корзинке, проснулся Коля и смотрел оттуда; синие полоски глаз едва видны из-под век. Он стал ещё более серым, вялым, тающим; он не узнал меня, отвернулся молча и закрыл глаза.

На улице меня ждали печальные вести: Вяхирь — помер, его на Страстной неделе[1] «ветряк[2] задушил»; Хаби — ушёл жить в город, у Язя отнялись ноги, он не гулял. Сообщив мне всё это, черноглазый Кострома сердито сказал:

— Уж очень скоро мрут мальчишки!

— Да ведь помер только Вяхирь?

— Всё равно: кто ушёл с улицы, тоже будто помер. Только подружишься, привыкнешь, а товарища либо в работу отдадут, либо умрёт. Тут на вашем дворе, у Чеснокова, новые живут — Евсеенки; парнишка — Нюшка, ничего, ловкий! Две сестры у него, одна ещё маленькая, а другая хромая, с костылём ходит, красивая.

Подумав, он добавил:

— Мы, брат, с Чуркой влюбились в неё, всё ссоримся!

— С ней?

— Зачем? Промежду себя. С ней — редко!

Я, конечно, знал, что большие парни и даже мужики влюбляются, знал и грубый смысл этого. Мне стало неприятно, жалко Кострому, неловко смотреть на его угловатое тело, в чёрные сердитые глаза.

Хромую девушку я увидал вечером, в тот же день. Сходя с крыльца на двор, она уронила костыль и беспомощно остановилась на ступенях, вцепившись в струну

---

[1] На Страстной неделе (страстная неделя) — на неделе перед пасхой.

[2] Ветряк — ветряная оспа.

перил прозрачными руками, тонкая, слабенькая. Я хотел поднять костыль, но забинтованные руки действовали плохо, я долго возился и досадовал, а она, стоя выше меня, тихонько смеялась:

— Что́ это с руками у тебя?

— Сварил.

— А вот я — хромаю. Ты с этого двора? Долго в больнице лежал? А я лежала там до-олго!

Вздохнув, она прибавила:

— Очень долго!

На ней было белое платье с голубыми подковками, старенькое, но чистое, гладко причёсанные волосы лежали на груди толстой, короткой косой. Глаза у неё — большие, серьёзные, в их спокойной глубине горел голубой огонёк, освещая худенькое, остроносое лицо. Она приятно улыбалась, но не понравилась мне. Вся её болезненная фигурка как будто говорила:

— Не трогайте меня, пожалуйста!

Как могли товарищи влюбиться в неё?

— Я — давно хвораю, — рассказывала она охотно и словно хвастаясь. — Меня соседка заколдовала, поругалась с мамой и заколдовала меня, назло ей... В больнице страшно?

— Да.

С нею было неловко, я ушёл в комнату.

Около полуночи бабушка ласково разбудила меня.

— Пойдём, что ли? Потрудишься людям — руки-то скорее заживут...

Взяла меня за руку и повела во тьме, как слепого. Ночь была чёрная, сырая, непрерывно дул ветер, точно река быстро текла, холодный песок хватал за ноги. Бабушка осторожно подходила к тёмным окнам мещанских домишек, перекрестясь трижды, оставляла на подоконниках по пятаку и по три кренделя, снова крестилась, глядя в небо без звёзд, и шептала:

— Пресвятая царица небесная, помоги людям! Все грешники пред тобою, матушка!

Чем дальше уходили мы от дома, тем глуше и мертвее становилось вокруг. Ночное небо, бездонно углублённое тьмой, словно навсегда спрятало месяц и звёзды. Выкатилась откуда-то собака, остановилась против нас и зарычала, во тьме блестят её глаза; я трусливо прижался к бабушке.

— Ничего, — сказала она, — это просто собака, бесу — не время, ему поздно, петухи-то ведь уже пропели!

Подманила собаку, погладила её и советует:

— Ты смотри, собачонка, не пугай мово[1] внучонка!

Собака потёрлась о мои ноги, и дальше пошли втроём. Двенадцать раз подходила бабушка под окна, оставляя на подоконниках «тихую милостыню»; начало светать, из тьмы вырастали серые дома, поднималась белая, как сахар, колокольня Напольной церкви; кирпичная ограда кладбища поредела, точно худая рогожа.

— Устала старуха, — говорила бабушка, — домой пора! Проснутся завтра бабы, а ребятишкам-то их припасла богородица немножко! Когда всего нехватает, так и немножко — годится! Ох-хо, Олёша, бедно живёт народ, и никому нет о нём заботы.

Богатому о господе не думается,
О страшном суде не мерещится.
Бедный-то ему ни друг, ни брат,
Ему бы всё только золото собирать —
А быть тому злату в аду угольями!

Вот оно как! Жить надо друг о дружке, а бог — обо всех! А рада я, что ты опять со мной...

Я тоже спокойно рад, смутно чувствуя, что приобщился чему-то, о чём не забуду никогда. Около меня тряс-

---

[1] Мово (мой) — моего.

лась рыжая собака с лисьей мордой и добрыми виноватыми глазами.

— Она будет с нами жить?

— А что ж? Пускай живёт, коли хочет. Вот я ей крендель дам, у меня два осталось. Давай сядем на лавочку, что-то я устала...

Сели у ворот на лавку, собака легла к ногам нашим, разгрызая сухой крендель, а бабушка рассказывала:

— Тут одна еврейка живёт, так у ней — девять человек, мал мала меньше. Спрашиваю я её: как же ты живёшь, Мосевна? А она говорит: живу с богом со своим, с кем иначе жить?

Я прислонился к тёплому боку бабушки и заснул.

Жизнь снова потекла быстро и густо, широкий поток впечатлений каждый день приносил душе что-то новое, что восхищало и тревожило, обижало, заставляло думать.

Вскоре я тоже всеми силами стремился как можно чаще видеть хромую девочку, говорить с нею или молча сидеть рядом, на лавочке у ворот, — с нею и молчать было приятно. Была она чистенькая, точно птица пеночка, и прекрасно рассказывала о том, как живут казаки на Дону: там она долго жила у дяди, машиниста маслобойни [1], потом отец её, слесарь, переехал в Нижний.

— А ещё дядя, второй, так тот служит при самом царе.

Вечерами, по праздникам, всё население улицы выходило «за ворота», парни и девушки отправлялись на кладбище водить хороводы, мужики расходились по трактирам, на улице оставались бабы и ребятишки. Бабы рассаживались у ворот прямо на песке или на лавочках и поднимали громкий галдёж, ссорясь и судача;

[1] Маслобойни (маслобойня) — предприятия, где сбивают масло.

ребятишки начинали играть в лапту [1], в городки [2], в «шармазло» [3]; матери следили за играми, поощряя ловких, осмеивая плохих игроков. Было оглушительно шумно и незабвенно весело; присутствие и внимание «больших», возбуждая нас, мелочь, вносило во все игры особенное оживление, страстное соперничество. Но как бы сильно ни увлекались игрою мы трое — Кострома, Чурка и я — всё-таки нет-нет, да тот или другой бежит похвастаться перед хроменькой девушкой:

— Видела, Людмила, как я все пять чушек из города вышиб?

Она ласково улыбалась, кивая головой несколько раз кряду.

Раньше наша компания старалась держаться во всех играх вместе, а теперь я видел, что Чурка и Кострома играют всегда в разных партиях, всячески соперничая друг с другом в ловкости и силе, часто — до слёз и драки. Однажды они подрались так бешено, что должны были вмешаться большие, и врагов разливали водою, как собак.

Людмила, сидя на лавочке, топала о землю здоровой ногой, а когда бойцы подкатывались к ней, отталкивала их костылём, боязливо вскрикивая:

— Перестаньте!

Лицо у неё было досиня бледное, глаза погасли и закатились, точно у кликуши [4].

Другой раз Кострома, позорно проиграв Чурке пар-

---

[1] В лапту (лапта) — в игру двумя партиями в небольшой мяч, который бьют лаптой (деревянной палкой в виде лопатки).

[2] В городки; городки — короткие деревянные кругляшки (чушки), поставленные в очерченном на земле прямоугольнике, откуда их выбивают палкой.

[3] В «шармазло» — шар или мяч, который вгоняют в лунку те, кто «водит» в игре, а другие не дают это сделать.

[4] У кликуши (кликуша) — у нервнобольной, припадочной.

тию в городки, спрятался за ларь [1] с овсом у бакалейной лавки [2], сел там на корточки и молча заплакал, — это было почти страшно: он крепко стиснул зубы, скулы его высунулись, костлявое лицо окаменело, а из чёрных угрюмых глаз выкатываются тяжёлые, крупные слёзы. Когда я стал утешать его, он прошептал, захлёбываясь слезами:

— Погоди... я его кирпичом по башке... увидит!

Чурка стал заносчив, ходил посредине улицы, как ходят парни-женихи, заломив картуз набекрень, засунув руки в карманы; он выучился ухарски сплёвывать сквозь зубы и обещал:

— Скоро курить выучусь. Уж я два раза пробовал, да тошнит.

Всё это не нравилось мне. Я видел, что теряю товарища, и мне казалось, что виною этому Людмила.

Как-то раз вечером, когда я разбирал на дворе собранные кости, тряпки и всякий хлам, ко мне подошла Людмила, покачиваясь, размахивая правой рукой.

— Здравствуй, — сказала она, трижды кивнув головой. — Кострома с тобой ходил?

— Да.

— А Чурка?

— Чурка с нами не дружится. Это всё ты виновата, влюбились они в тебя и дерутся...

Она покраснела, но ответила насмешливо:

— Вот ещё! Чем же я виновата?

— А зачем влюбляешь?

— Я их не просила влюбляться! — сказала она сердито и пошла прочь, говоря: — Глупости всё это! Я старше их, мне четырнадцать лет. В старших девочек не влюбляются...

---

[1] За ларь (ларь) — за большой ящик.

[2] У бакалейной лавки (бакалейная лавка) — у лавки, торгующей продуктами.

— Много ты знаешь! — желая обидеть её, крикнул я. — Вон лавочница, Хлыстова сестра, совсем старая, а как путается с парнями-то!

Людмила воротилась ко мне, глубоко всаживая свой костыль в песок двора.

— Ты сам ничего не знаешь, — заговорила она торопливо, со слезами в голосе, и милые глаза её красиво разгорелись. — Лавочница — распутная, а я — такая, что ли? Я ещё маленькая, меня нельзя трогать и щипать, и всё... ты бы вот прочитал роман «Камчадалка»[1], часть вторая, да и говорил бы!

Она ушла, всхлипывая. Мне стало жаль её — в словах её звучала какая-то неведомая мне правда. Зачем щиплют её товарищи мои? А ещё говорят — влюблены...

На другой день, желая загладить вину свою перед Людмилой, я купил на семишник[2] леденцов «ячменного сахара»[3], любимого ею, как я уже знал.

— Хочешь?

Она насильно-сердито сказала:

— Уйди, я с тобой не дружусь!

Но тотчас взяла леденцы, заметив мне:

— Хоть бы в бумажку завернул, — руки-то грязные какие.

— Я мыл, да уж не отмываются.

Она взяла мою руку своей, сухой и горячей, посмотрела.

— Как испортил...

— А у тебя пальцы истыканы...

— Это — иголкой, я шью много...

---

[1] «Камчадалка» — роман И. Т. Калашникова, писателя XIX века.

[2] На семишник (семишник) — на две копейки.

[3] Ячменного сахара; ячменный сахар — сорт конфет.

Через несколько минут она предложила мне, оглядываясь:

— Слушай, давай спрячемся куда-нибудь и станем читать «Камчадалку» — хочешь?

Долго искали, куда спрятаться, везде было неудобно. Наконец решили, что лучше всего забраться в предбанник: там темно, но можно сесть у окна — оно выходит в грязный угол между сараем и соседней бойней[1], люди редко заглядывают туда.

И вот она сидит, боком к окну, вытянув больную ногу по скамье, опустив здоровую на пол, сидит и, закрыв лицо растрёпанной книжкой, взволнованно произносит множество непонятных и скучных слов. Но я волнуюсь. Сидя на полу, я вижу, как серьёзные глаза двумя голубыми огоньками двигаются по страницам книжки, иногда их овлажняет слеза, голос девочки дрожит, торопливо произнося незнакомые слова в непонятных соединениях. Однако я хватаю эти слова и, стараясь уложить их в стихи, перевёртываю всячески — это уж окончательно мешает мне понять, о чём рассказывает книга.

На коленях у меня дремлет собака, я зову её — Ветер, потому что она мохнатая, длинная, быстро бегает и ворчит, как осенний ветер в трубе.

— Ты слушаешь? — спрашивает девочка.

Я молча киваю головой. Сумятица[2] слов всё более возбуждает меня, всё беспокойнее моё желание расставить их иначе, как они стоят в песнях, где каждое слово живёт и горит звездою в небе.

Когда стало темно, Людмила, опустив побелевшую руку с книгой, спросила:

— Хорошо ведь? Вот видишь...

---

[1] Бойней (бойня) — скотобойней, местом, где режут скот.

[2] Сумятица — неразбериха.

С этого вечера мы часто сиживали в предбаннике. Людмила, к моему удовольствию, скоро отказалась читать «Камчадалку». Я не мог ответить ей, о чём идёт речь в этой бесконечной книге, бесконечной потому, что за второй частью, с которой мы начали чтение, явилась третья; и девочка говорила мне, что есть четвёртая.

Особенно хорошо было нам в ненастные дни, если ненастье не падало в субботу, когда топили баню.

На дворе льёт дождь, — никто не выйдет на двор, не заглянет к нам, в тёмный наш угол. Людмила очень боялась, что нас «застанут».

— Знаешь, что́ тогда подумают? — тихонько спрашивала она.

Я знал и тоже опасался, как бы не «застали». Мы просиживали целые часы, разговаривая о чём-то, иногда я рассказывал бабушкины сказки, Людмила же — о жизни казаков на реке Медведице.

— Ой, как там хорошо! — вздыхала она. — Здесь — что́? Здесь только нищим жить...

Я решил, что, когда вырасту, непременно схожу посмотреть реку Медведицу.

Скоро мы перестали нуждаться в предбаннике: мать Людмилы нашла работу у скорняка и с утра уходила из дому, сестрёнка училась в школе, брат работал на заводе изразцов[1]. В ненастные дни я приходил к девочке, помогая ей стряпать, убирать комнату и кухню; она смеялась:

— Мы с тобой живём, как муж с женой, только спим порознь. Мы даже лучше живём — мужья жёнам не помогают...

Если у меня были деньги, я покупал сластей, мы

---

[1] На заводе изразцов (изразцы) — на заводе, где вырабатывались изразцы — тонкие кирпичи, покрытые с лицевой стороны глазурью (особым глянцевитым сплавом); употреблялись для облицовки печей, карнизов и так далее.

пили чай, потом охлаждали самовар холодной водой, чтобы крикливая мать Людмилы не догадалась, что его грели. Иногда к нам приходила бабушка, сидела, плетя кружева или вышивая, рассказывала чудесные сказки, а когда дед уходил в город, Людмила пробиралась к нам, и мы пировали беззаботно.

Бабушка говорила:

— Ой, хорошо мы живём! Свой грош — строй, что́ хошь!

Она поощряла нашу дружбу.

— Мальчику с девочкой дружиться — это хорошее дело. Только баловать не надо...

И простейшими словами объясняла нам, что́ значит «баловать». Говорила она красиво, одухотворённо, и я хорошо понял, что не следует трогать цветы, пока они не распустились, а то не быть от них ни запаху, ни ягод.

«Баловать» не хотелось, но это не мешало мне и Людмиле говорить о том, о чём принято молчать. Говорили, конечно, по необходимости, ибо отношение полов в их грубой форме слишком часто и назойливо лезло в глаза, слишком обижало нас.

Отец Людмилы, красивый мужчина лет сорока, был кудряв, усат и как-то особенно победно шевелил густыми бровями. Он был странно молчалив, — я не помню ни одного слова, сказанного им. Лаская детей, он мычал, как немой, и даже жену бил молча.

Вечерами, по праздникам, одев голубую рубаху, плисовые шаровары и ярко начищенные сапоги, он выходил к воротам с большой гармоникой, закинутой на ремне за спину, и становился, точно солдат в позиции «на-караул». Тотчас же мимо наших ворот начиналось «гулянье»: уточками шли одна за другой девицы и бабы, поглядывая на Евсеенка прикрыто, из-под ресниц, и открыто, жадными глазами, а он стоит, оттопырив нижнюю губу, и тоже смотрит на всех выбирающим взглядом

тёмных глаз. Было что-то неприятно-собачье в этой безмолвной беседе глазами, в медленном, обречённом движении женщин мимо мужчины, — казалось, что любая из них, если только мужчина повелительно мигнёт ей, покорно свалится на сорный песок улицы, как убитая.

— Выпялился козёл, бесстыжая харя! — ворчит мать Людмилы. Тонкая и высокая, с длинным, нечистым лицом, с коротко остриженными после тифа волосами, она была похожа на изработанную метлу [1].

Рядом с нею сидит Людмила и безуспешно старается отвлечь внимание её от улицы, упрямо расспрашивает о чём-нибудь.

— Отстань, назола [2], урод несчастный! — бормочет мать, беспокойно мигая; её узкие монгольские глаза странно светлы и неподвижны, задели за что-то и навсегда остановились.

— Ты не сердись, мамочка, всё равно уж, — говорит Людмила. — Ты погляди-ка, как рогожница разоделась!

— Я бы получше оделась, кабы вас троих не было, сожрали вы меня, слопали, — безжалостно и точно сквозь слёзы отвечает мать, вцепившись глазами в большую, широкую вдову рогожника [3].

Она похожа на маленький дом, грудь у неё выпятилась, подобно крыльцу; красное лицо, прикрытое и срезанное зелёным платком, напоминает слуховое окно в час, когда стёкла его отражают солнце.

Евсеенко, перекинув гармонию на грудь, играет. На гармонии множество ладов, звуки её неотразимо тянут куда-то, со всей улицы катятся ребятишки, падают к ногам гармониста и замирают в песке, восхищённые.

---

[1] На изработанную метлу (изработанная) — на обтрёпанную, старую метлу.

[2] Назола — здесь: надоедливая, назойливая.

[3] Рогожника (рогожник) — торговца рогожами; мастера, выделывающего их.

— Погоди, свернут тебе башку, — обещает Евсеенко мужу.

Он молча косится на неё.

А рогожница камнем села неподалёку, на скамью у Хлыстовой лавки, и, склонив голову на плечо, слушает, пылая...

Ночь близко; свежее воздух, тише гул, деревянные дома пухнут, растут, одеваясь тенями. Детей растащили по дворам — спать, иные заснули тут же под заборами, у ног и на коленях матерей. Ребятишки побольше становятся к ночи смирнее, мягче. Евсеенко незаметно исчез, точно растаял, рогожницы тоже нет, басовитая гармоника играет где-то далеко, за кладбищем. Мать Людмилы сидит на лавке, скорчившись, выгнув спину, точно кошка...

Кострома, Людмила и я сидим у ворот на лавке; Чурка вызвал брата Людмилы бороться, — обнявшись, они топчутся на песке и пылят.

— Перестаньте! — боязливо просит Людмила.

Скосив на неё чёрные глаза, Кострома рассказывает про охотника Калинина, седенького старичка с хитрыми глазами, человека дурной славы [1], знакомого всей слободе [2]. Он недавно помер, но его не зарыли в песке кладбища, а поставили гроб поверх земли, в стороне от других могил. Гроб — чёрный, на высоких ножках, крышка его расписана белой краской, — изображены крест, копьё, трость и две кости.

Каждую ночь, как только стемнеет, старик встаёт из гроба и ходит по кладбищу, всё чего-то ищет вплоть до первых петухов.

— Не говори о страшном! — просит Людмила.

— Пусти! — кричит Чурка, освобождаясь от объятий

---

[1] Человека дурной славы — человека, о котором шла нехорошая молва.

[2] Слободе (слобода) — посёлку вблизи города.

брата её, и насмешливо говорит Костроме: — Что́ врёшь? Я сам видел, как зарывали гроб, а сверху — пустой, для памятника... А что ходит покойник — это пьяные кузнецы выдумали...

Кострома, не глядя на него, сердито предложил:

— Поди, переспи на кладбище, коли так!

Они начали спорить, а Людмила, скучно покачивая головой, спрашивала:

— Мамочка, покойники по ночам встают?

— Встают, — повторила мать, точно издали отозвалось эхо.

Подошёл сын лавочницы, Валёк, толстый, румяный парень лет двадцати, послушал наш спор и сказал:

— Кто из трёх до света пролежит на гробу — двугривенный дам и десяток папирос, а кто струсит — уши надеру, сколько хочу, ну?

Все замолчали, смутясь, а мать Людмилы сказала:

— Глупости какие! Разве можно детей подбивать на эдакое...

— Давай рубль — пойду!—угрюмо предложил Чурка.

Кострома тотчас же ехидно спросил:

— А за двугривенный — трусишь? — И сказал Вальку: — Дай ему рубль, всё равно не пойдёт, форсит [1] только...

— Ну, бери рубль!

Чурка встал с земли и молча, не торопясь, пошёл прочь, держась близко к забору. Кострома, сунув пальцы в рот, пронзительно свистнул вслед ему, а Людмила тревожно заговорила:

— Ах, господи, хвастунишка какой... что́ же это!

— Куда вам, трусы! — издевался [2] Валёк. — А ещё первые бойцы улицы считаетесь, котята...

Было обидно слушать его издёвки; этот сытый парень

---

[1] Ф о р с и т (форсить) — важничает.

[2] И з д е в а л с я (издеваться) — здесь: насмехался, зло смеялся.

не нравился нам, он всегда подстрекал ребятишек на злые выходки, сообщал им пакостные сплетни о девицах и женщинах, учил дразнить их; ребятишки слушались его и больно платились за это. Он почему-то ненавидел мою собаку, бросал в неё камнями, однажды дал ей в хлебе иглу.

Но ещё обиднее было видеть, как уходит Чурка, съёжившись, пристыжённый.

Я сказал Вальку:

— Давай рубль, я пойду...

Он, посмеиваясь и пугая меня, отдал рубль Евсеенковой, но женщина строго сказала:

— Не хочу, не возьму!

И сердито ушла. Людмила тоже не решилась взять бумажку, это ещё более усилило насмешки Валька. Я уже хотел итти, не требуя с парня денег, но подошла бабушка и, узнав, в чём дело, взяла рубль, а мне спокойно сказала:

— Пальтишко надень да одеяло возьми, а то к утру холодно станет...

Её слова внушили мне надежду, что ничего страшного не случится со мною.

Валёк поставил условием, что я должен до света лежать или сидеть на гробе, не сходя с него, что́ бы ни случилось, если даже гроб закачается, когда старик Калинин начнёт вылезать из могилы. Спрыгнув на землю, я проиграю.

— Гляди же, — предупредил Валёк, — я за тобой всю ночь следить буду!

Когда я пошёл на кладбище, бабушка, перекрестив меня, посоветовала:

— Ежели что́ померещится — не шевелись, а только читай богородицу[1] дево радуйся...

---

[1] Читай богородицу — читай молитву.

Я шёл быстро, хотелось поскорее начать и кончить всё это. Меня сопровождали Валёк, Кострома и ещё какие-то парни. Перелезая через кирпичную ограду, я запутался в одеяле, упал и тотчас вскочил на ноги, словно подброшенный песком. За оградой хохотали. Что-то ёкнуло в груди, по коже спины пробежал неприятный холодок.

Спотыкаясь, я дошёл до чёрного гроба. С одной стороны он был занесён песком, с другой — его коротенькие, толстые ножки обнажились, точно кто-то пытался приподнять его и пошатнул. Я сел на край гроба, в ногах его, оглянулся: бугроватое кладбище тесно заставлено серыми крестами, тени, размахнувшись, легли на могилы, обняли их щетинистые холмы. Кое-где, заплутавшись среди крестов, торчат тонкие, тощие берёзки, связывая ветвями разъединённые могилы; сквозь кружево их теней торчат былинки — эта серая щетина самое жуткое! Снежным сугробом поднялась в небо церковь, среди неподвижных облаков светит маленькая, истаявшая луна.

Язёв отец — «Дрянной мужик» — лениво бьёт в сторожевой колокол; каждый раз, когда он дёргает верёвку, она, задевая за железный лист крыши, жалобно поскрипывает, потом раздаётся сухой удар маленького колокола, — он звучит кратко, скучно.

— Не дай господь бессонницу, — вспоминается мне поговорка сторожа.

Жутко. И почему-то — душно, я обливаюсь пóтом, хотя ночь свежая. Успею ли я добежать до сторожки, в случае если старик Калинин начнёт вылезать из могилы?

Кладбище хорошо знакомо мне, десятки раз я играл среди могил с Язём и другими товарищами. Вон там, около церкви, похоронена мать...

Ещё не всё уснуло, со слободы доносятся всплески смеха, обрывки песен. На буграх, в железнодорожном

карьере[1], где берут песок, или где-то в деревне Катызовке верещит, захлёбываясь, гармоника, за оградою идёт всегда пьяный кузнец Мячов и поёт, — я узнаю его по песне:

— А у нашей маменьки
И грехи-то маленьки, —
Она не любя никого,
Только тятю одново...

Приятно слышать последние вздохи жизни, но после каждого удара колокола становится тише, тишина разливается, как река по лугам, всё топит, скрывает. Душа плавает в бескрайной, бездонной пустоте и гаснет, подобно огню спички во тьме, растворяясь бесследно среди океана этой пустоты, где живут, сверкая, только недосягаемые звёзды, а всё на земле исчезло, ненужно и мертвó.

Закутавшись в одеяло, я сидел, подобрав ноги, на гробнице, лицом к церкви, и когда шевелился, гробница поскрипывала, песок под нею хрустел.

Что-то ударило о землю сзади меня раз и два, потом близко упал кусок кирпича, — это было страшно, но я тотчас догадался, что швыряют из-за ограды Валёк и его компания, хотят испугать меня. Но от близости людей мне стало лучше...

В песке много кусочков слюды, она тускло блестела в лунном свете, и это напомнило мне, как однажды я, лёжа на плотах на Оке, смотрел в воду, — вдруг почти к самому лицу моему всплыл подлещик, повернулся боком и стал похож на человечью щёку, потом взглянул на меня круглым птичьим глазом, нырнул и пошёл в глубину, колеблясь, как падающий лист клёна.

Память работала всё напряжённее, воскрешая[2] раз-

---

[1] Карьере (карьер) — месте выемки песка, камня.

[2] Воскрешая (воскресить) — снова оживляя забытое.

личные случаи жизни, точно защищаясь ими против воображения, упрямо создававшего страшное.

Вот катится ёж, стуча по песку твёрдыми лапками; он напоминает домового[1] — такой же маленький, встрёпанный.

Вспоминаю, как бабушка, сидя на корточках перед подпечкой, приговаривала:

— Ласковый хозяин, выведи тараканов...

Далеко над городом — не видным мне — становилось светлее, утренний холодок сжимал щёки, слипались глаза. Я свернулся калачиком, окутав голову одеялом: будь, что́ будет!

Разбудила меня бабушка — стоит рядом со мной и, стаскивая одеяло, говорит:

— Вставай! Не озяб ли? Ну что́ — страшно?

— Страшно, только ты не говори никому про это, ребятишкам не говори!

— А почто молчать? — удивилась она. — Коли не страшно, так и хвалиться нечем...

Пошли домой, и дорогой она ласково говорила:

— Всё надо самому испытать, голуба́-душа, всё надо самому знать... Сам не поучишься — никто не научит...

К вечеру я стал «героем» улицы, все спрашивали меня:

— Да неужто не страшно?

И когда я говорил:

— Страшно!

Качая головами, восклицали:

— Ага! Вот видишь?

Лавочница же громко и убеждённо заявила:

— Стало быть, врали, что Калинин встаёт. Кабы

[1] Домового (домовой) — сверхъестественного существа, которое, по суеверным представлениям, обитает в каждом доме, являясь его таинственным хозяином.

вставал, — разве испугался бы мальчишки? Да он бы его смахнул с кладбища и не видать куда.

Людмила смотрела на меня с ласковым удивлением, даже дед был, видимо, доволен мною, всё ухмылялся. Только Чурка сказал угрюмо:

— Ему — легко, у него бабушка — ведьма!

III

Незаметно, как маленькая звезда на утренней заре, погас брат Коля. Бабушка, он и я спали в маленьком сарайчике на дровах, прикрытых разным тряпьём; рядом с нами, за щелевой стеной[1] из горбушин[2], был хозяйский курятник; с вечера мы слышали, как встряхивались и клохтали, засыпая, сытые куры; утром нас будил золотой горластый петух.

— О, чтоб тебя разорвало! — ворчала бабушка, просыпаясь.

Я уже не спал, наблюдая, как сквозь щели дровяника пробиваются ко мне на постель лучи солнца, а в них пляшет какая-то серебряная пыль, — эти пылинки, точно слова в сказке. В дровах шуршат мыши, бегают красненькие букашки с чёрными точками на крыльях.

Иногда, уходя от душных испарений куриного помёта, я вылезал из дровяника, забирался на крышу его и следил, как в доме просыпались безглазые люди, огромные, распухшие во сне.

Вот высунулась из окна волосатая башка лодочника Ферманова, угрюмого пьяницы; он смотрит на солнце крошечными щёлками заплывших глаз и хрюкает, точно кабан. Выбежал на двор дед, обеими руками приглажи-

---

[1] За щелевой стеной (щелевая стена) — за стеной, которая вся в щелях.

[2] Из горбушин (горбушина) — из досок, с одной стороны выпуклых.

вая рыженькие волосёнки — спешит в баню обливаться холодной водой. Болтливая кухарка домохозяина, остроносая, густо обрызганная веснушками, похожа на кукушку, сам хозяин — на старого, ожиревшего голубя, и все люди напоминают птиц, животных и зверей.

Утро такое милое, ясное, но мне немножко грустно и хочется уйти в поле, где никого нет, — я уж знаю, что люди, как всегда, запачкают светлый день.

Однажды, когда я лежал на крыше, бабушка позвала меня и негромко сказала, кивнув головой на свою постель:

— Помер Коля-то...

Мальчик съехал с кумача подушки и лежал на войлоке, синеватый, голенький, рубашка сбилась к шее, обнажив вздутый живот и кривые ножки в язвах, руки странно подложены под поясницу, точно он хотел приподнять себя. Голова чуть склонилась набок.

— Слава богу, отошёл [1], — говорила бабушка, расчёсывая волосы свои. — Что́ бы он жил, убогонький-то?.. [2]

Через несколько дней после смерти брата дед сказал мне:

— Ложись сегодня раньше, на свету разбужу, в лес пойдём за дровами...

— А я — травок пособираю, — заявила бабушка.

Лес, еловый и берёзовый, стоял на болоте, верстах в трёх от слободы. Обилен сухостоем и валежником [3], он размахнулся в одну сторону до Оки, в другую — шёл до шоссейной дороги на Москву и дальше, за дорогу. Над его мягкой щетиной чёрным шатром высоко поднималась сосновая чаща — «Савёлова грива».

Всё это богатство принадлежало графу Шувалову и

---

[1] Отошёл (отойти) — здесь: умер.

[2] Убогонький — увечный, калека.

[3] Сухостоем и валежником (сухостой, валежник) — высохшими деревьями и сухими сучьями, упавшими на землю.

охранялось плохо; кунавинское мещанство смотрело на него, как на своё, собирало валежник, рубило сухостой, не брезгуя при случае и живым деревом. По осени, запасая дрова на зиму, в лес снаряжались десятки людей с топорами и верёвками за поясом.

Вот и мы трое идём на рассвете по зелёно-серебряному росному[1] полю; слева от нас, за Окою, над рыжими боками Дятловых гор, над белым Нижним Новгородом, в холмах зелёных садов, в золотых главах церквей встаёт, не торопясь, русское лениВенькое солнце. Тихий ветер сонно веет с тихой, мутной Оки; качаются золотые лютики, отягчённые росою лиловые колокольчики немотно опустились к земле, разноцветные бессмертники[2] сухо торчат на малоплодном дёрне[3], раскрывает алые звёзды «ночная красавица» — гвоздика.

Тёмною ратью двигается лес встречу нам. Крылатые ели, как большие птицы; берёзы точно девушки. Кислый запах болота течёт по полю. Рядом со мною идёт собака, высунув розовый язык, останавливается и, принюхавшись, недоуменно качает лисьей головой.

Дед, в бабушкиной кацавейке[4], в старом картузе без козырька, щурится, чему-то улыбается, шагает тонкими ногами осторожно, точно крадётся. Бабушка, в синей кофте, в чёрной юбке и белом платке на голове, катится по земле споро — за нею трудно поспеть.

Чем ближе лес, тем оживлённее дед; потягивая воздух носом, покрякивая, он говорит вначале отрывисто, невнятно, потом, словно пьянея, весело и красиво:

— Леса — господни сады. Никто их не сеял, один ветер божий, святое дыхание уст его... Бывало, в молодо-

---

[1] По росному (росный, росистый) — покрытому росой.

[2] Бессмертники — растения с сухими невянущими цветами.

[3] На малоплодном дёрне (малоплодный дёрн) — на невспаханном поле, поросшем травою.

[4] В кацавейке (кацавейка) — в короткой кофте на меху.

сти, в Жегулях, когда я бурлаком[1] ходил... Эх, Лексей, не доведётся тебе видеть-испытать, что́ мною испытано! На Оке леса — от Касимова до Мурома, али — за Волгой лес, до Урала идёт, да! Всё это безмерно и пречудесно...

Бабушка смотрит на него искоса и подмигивает мне, а он, спотыкаясь о кочки, дробно сыплет сухонькие слова, засевая ими мою память...

На сухом месте бабушка говорит:

— Надо закусить, сядемте-ко!

В лукошке у неё ржаной хлеб, зелёный лук, огурцы, соль и творог в тряпицах; дед смотрит на всё это конфузливо и мигает.

— А я ничего не взял еды-то, ох, мать честная...

— Хватит на всех...

Сидим, прислонясь к медному стволу мачтовой[2] сосны; воздух насыщен смолистым запахом, с поля веет тихий ветер, качаются хвощи[3]; тёмной рукою бабушка срывает травы и рассказывает мне о целебных свойствах зверобоя, буквицы, подорожника, о таинственной силе папоротника, клейкого иван-чая, пыльной травы-плавуна.

Дед рубит валежник, я должен сносить нарубленное в одно место, но я незаметно ухожу в чащу вслед за бабушкой — она тихонько плавает среди могучих стволов и, точно ныряя, всё склоняется к земле, осыпанной хвоей. Ходит и говорит сама с собою:

— Рано опята[4] пошли — мало будет гриба! Плохо

---

[1] Бурлаком; бурлаки — артели рабочих, которые, идя по берегу, тянули вручную с помощью бечевы (каната) нагруженные суда против течения по Волге и другим большим рекам.

[2] Мачтовой (мачтовая) — высокой, стройной, идущей на мачты.

[3] Хвощи — растения с зелёным стеблем и мелкими листьями.

[4] Опята, опёнки — съедобные грибы, растущие осенью у корней деревьев.

ты, господи, о бедных заботишься, бедному и гриб — лакомство!

Я иду за нею молча, осторожно, заботясь, чтобы она не замечала меня: мне не хочется мешать её беседе с богом, травами, лягушками...

Но она видит меня.

— Сбежал от деда-то?..

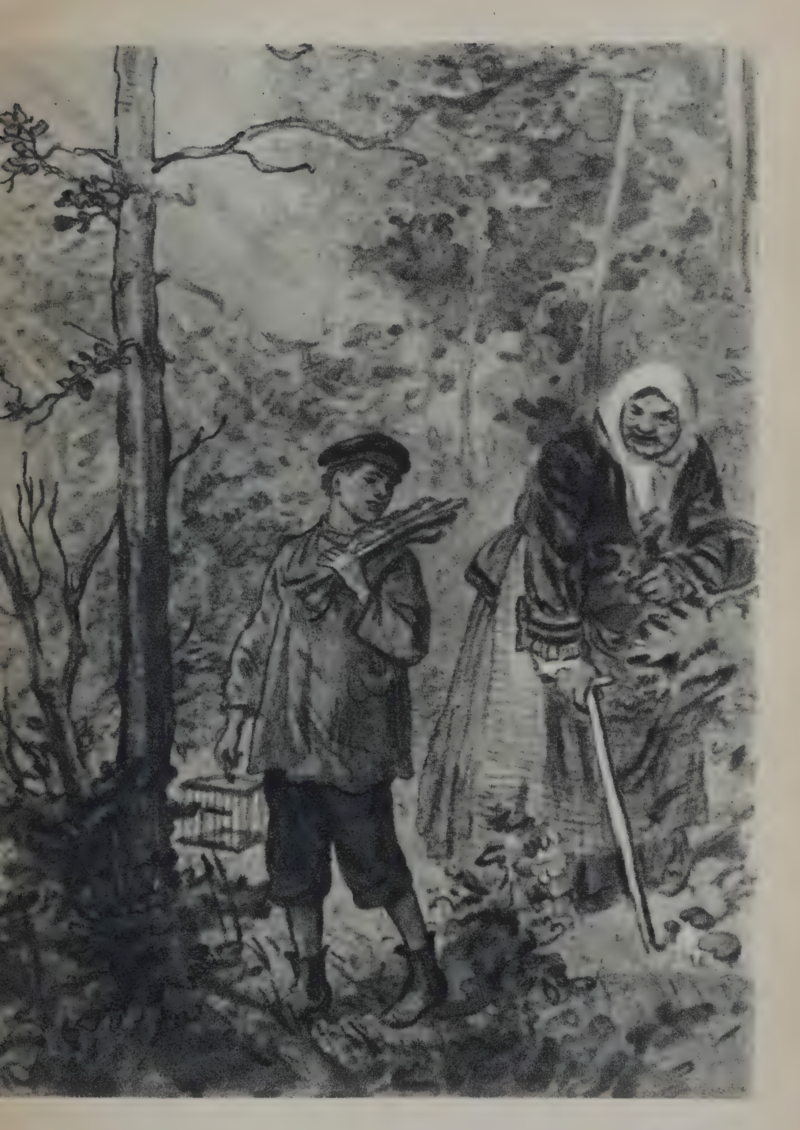
Уходим всё дальше в лес, в синеватую мглу, изрезанную золотыми лучами солнца. В тепле и уюте леса тихонько дышит какой-то особенный шум, мечтательный и возбуждающий мечты. Скрипят клесты, звенят синицы, смеётся кукушка, свистит иволга, немолчно звучит ревнивая песня зяблика, задумчиво поёт странная птица — щур. Изумрудные лягушата прыгают под ногами; между корней, подняв золотую головку, лежит уж и стережёт их. Щёлкает белка, в лапах сосен мелькает её пушистый хвост; видишь невероятно много, хочется видеть всё больше, итти всё дальше.

Между стволов сосен являются прозрачные, воздушные фигуры огромных людей и исчезают в зелёной густоте; сквозь неё просвечивает голубое, в серебре, небо. Под ногами пышным ковром лежит мох, расшитый брусничником и сухими нитями клюквы, костяника сверкает в траве каплями крови, грибы дразнят крепким запахом.

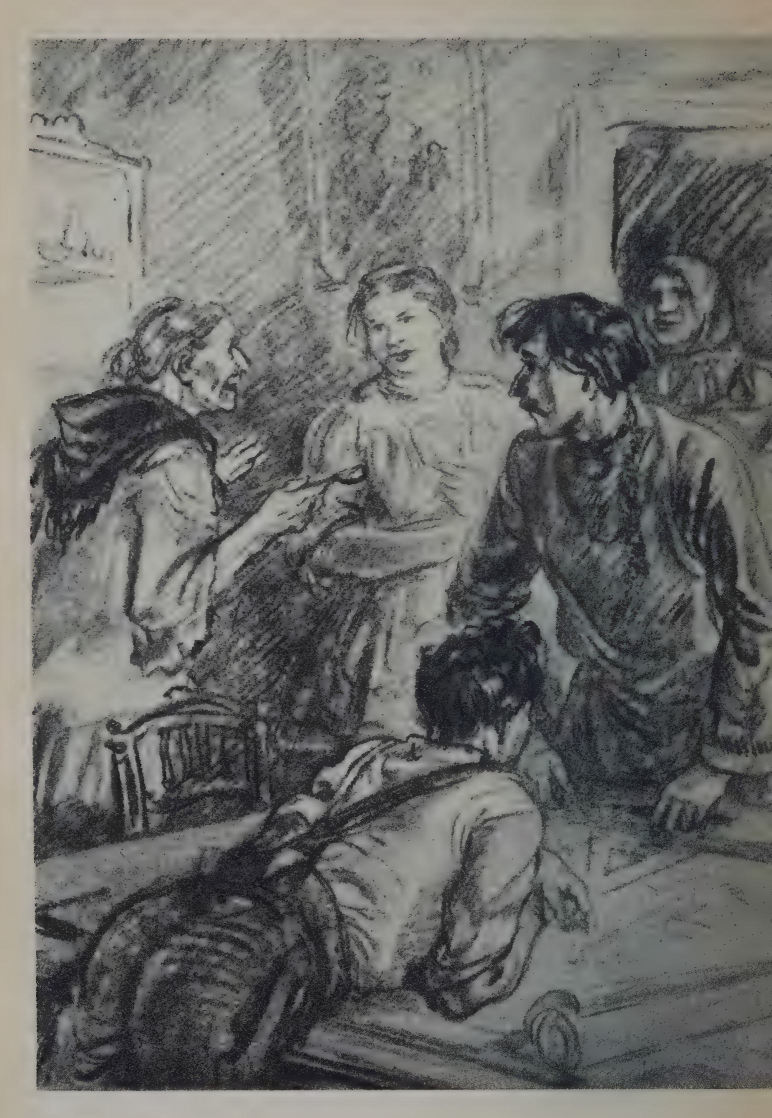
— Пресвятая богородица, ясный свет земной, — вздыхая, молится бабушка.

Она в лесу точно хозяйка и родная всему вокруг — она ходит медведицей, всё видит, всё хвалит и благодарит. От неё — точно тепло течёт по лесу, и когда мох, примятый её ногой, расправляется и встаёт — мне особенно приятно это видеть...

Однажды, ослеплённый думами, я провалился в глубокую яму, распоров себе сучком бок и разорвав кожу на затылке. Сидел на дне, в холодной грязи, липкой, как смола, и с великим стыдом чувствовал, что сам я не вы-



К стр. 48



К стр. 63

лезу, а пугать криком бабушку было неловко. Однако я позвал её.

Она живо вытащила меня и, крестясь, говорила:

— Слава те, господи! Ну, ладно, что пустая берлога, а кабы там да хозяин [1] лежал?

И заплакала сквозь смех. Потом повела меня к ручью, вымыла, перевязала раны своей рубашкой, приложив каких-то листьев, утоливших боль, и отвела в железнодорожную будку, — до дому я не мог дойти, сильно ослабев

Я стал почти каждый день просить бабушку:

— Пойдём в лес!

Она охотно соглашалась, и так мы прожили всё лето, до поздней осени, собирая травы, ягоды, грибы и орехи. Собранное бабушка продавала, и этим кормились.

— Дармоеды! — скрипел дед, хотя мы совершенно не пользовались его хлебом.

Лес вызвал у меня чувство душевного покоя и уюта; в этом чувстве исчезали все мои огорчения, забывалось неприятное, и в то же время у меня росла особенная настороженность ощущений: слух и зрение становились острее, память — более чуткой, вместилище впечатлений — глубже.

И всё более удивляла меня бабушка; я привык считать её существом высшим из всех людей, самым добрым и мудрым на земле, а она неустанно укрепляла это убеждение. Как-то вечером, набрав белых грибов, мы, по дороге домой, вышли на опушку леса, бабушка присела отдохнуть, а я зашёл за деревья — нет ли ещё гриба?

Вдруг слышу её голос и вижу: сидя на тропе, она спокойно срезает корни грибов, а около неё, вывесив язык, стоит серая поджарая собака.

---

[1] Хозяин — здесь: медведь.

— А ты иди, иди прочь! — говорит бабушка. — Иди с богом!

Незадолго перед этим Валёк отравил мою собаку, мне очень захотелось приманить эту, новую. Я выбежал на тропу, собака странно изогнулась, не ворочая шеей, взглянула на меня зелёным взглядом голодных глаз и прыгнула в лес, поджав хвост. Осанка[1] у неё была не собачья, и когда я свистнул, она дико бросилась в кусты.

— Видал? — улыбаясь, спросила бабушка. — А я вначале опозналась, думала — собака, гляжу — ан клыки-то волчьи, да и шея тоже! Испугалась даже: ну, говорю, коли ты волк, так иди прочь! Хорошо, что летом волки смиренны...

Она никогда не плутала в лесу, безошибочно определяя дорогу к дому. По запахам трав она знала, какие грибы должны быть в этом месте, какие — в ином, и часто экзаменовала меня:

— А какое дерево рыжик любит? А как ты отличишь хорошую сыроежку от ядовитой? А какой гриб любит папоротник?

По незаметным царапинкам на коре дерева она указывала мне беличьи дупла, я влезал на дерево и опустошал гнездо зверька, выбирая из него запасы орехов на зиму; иногда в гнезде их было фунтов до десяти.

И однажды, когда я занимался этим делом, какой-то охотник всадил мне в правую сторону тела двадцать семь штук бекасинной дроби; одиннадцать бабушка выковыряла иглой, а остальные сидели в моей коже долгие годы, постепенно выходя.

Бабушке нравилось, что я терпеливо отношусь к боли.

— Молодец, — хвалила она, — есть терпенье, будет и уменье!

Каждый раз, когда у неё скоплялось немножко денег

[1] Осанка — внешность, манера держать свою фигуру.

от продажи грибов и орехов, она раскладывала их под окнами «тихой милостыней», а сама даже по праздникам ходила в отрепье[1], в заплатах.

— Хуже нищей ходишь, срамишь меня, — ворчал дед.

— Ничего, я тебе — не дочь, я ведь не в невестах...

Их ссоры становились всё более частыми.

— Я не более других грешен, — обиженно кричал дед, — а наказан больше!

Бабушка поддразнивала его:

— Черти знают, кто чего сто́ит.

И говорила мне с глазу на глаз:

— Боится старик мой чортушек-то! Вон как стареет быстро, со страху-то... Эх, бедный человек...

Я очень окреп за лето и одичал в лесу, утратив интерес к жизни сверстников, к Людмиле, — она казалась мне скучно-умной...

Однажды дед пришёл из города мокрый весь — была осень, и шли дожди, — встряхнулся у порога, как воробей, и торжественно сказал:

— Ну, шалыган[2], завтра сбирайся на место!

— Куда ещё? — сердито спросила бабушка.

— К сестре твоей Матрёне, к сыну её...

— Ох, отец, худо ты выдумал!

— Молчи, дура! Может, его чертёжником сделают.

Бабушка молча опустила голову.

Вечером я сказал Людмиле, что ухожу в город, там буду жить.

— И меня скоро повезут туда, — сообщила она задумчиво. — Папа хочет, чтобы мне вовсе отрезали ногу, без ноги я буду здоровая.

За лето она похудела, кожа лица её стала голубоватой, а глаза выросли.

— Боишься? — спросил я.

---

[1] В отрепье (отрепье) — в поношенной одежде, в лохмотьях.

[2] Шалыган — бездельник.



— Боюсь, — сказала она, беззвучно заплакав.

Нечем было утешить её — я сам боялся жизни в городе. Мы долго сидели в унылом молчании, прижавшись друг ко другу.

Будь лето, я уговорил бы бабушку пойти по́ миру, как она ходила, будучи девочкой. Можно бы и Людмилу взять с собой, — я бы возил её в тележке...

Но была осень, по улице летел сырой ветер, небо окутано неиссякаемыми облаками, земля сморщилась, стала грязной и несчастной...

IV

Я снова в городе, в двухэтажном белом доме, похожем на гроб, общий для множества людей. Дом — новый, но какой-то худосочный, вспухший, точно нищий, который внезапно разбогател и тотчас объелся до ожирения. Он стоит боком на улицу, в каждом этаже его по восемь окон, а там, где должно бы находиться лицо дома, — по четыре окна; нижние смотрят в узенький проезд, на двор, верхние — через забор, на маленький домик прачки и в грязный овраг.

Улицы, как я привык понимать её, — нет; перед домом распластался[1] грязный овраг, в двух местах его перерезали узкие дамбы[2]. Налево овраг выходит к арестантским ротам[3], в него сваливают мусор со дворов, и на дне его стоит лужа густой, темнозелёной грязи; направо, в конце оврага, киснет илистый Звездин пруд, а центр оврага — как раз против дома; половина засыпана сором, заросла крапивой, лопухами, конским щавелём, в другой половине священник Доримедонт Покровский

---

[1] Распластался (распластаться) — раскинулся.

[2] Дамбы (дамба) — насыпи на берегу реки, на плотине для предохранения от затопления.

[3] К арестантским ротам — к тюрьме.

развёл сад; в саду — беседка из тонких дранок, окрашенных зелёною краскою. Если в эту беседку бросать камни, — дранки с треском лопаются.

Место донельзя скучное, нахально-грязное; осень жестоко изуродовала сорную глинистую землю, претворив её в рыжую смолу, цепко хватающую за ноги. Я никогда ещё не видал так много грязи на пространстве столь небольшом, и, после привычки к чистоте поля, леса, этот угол города возбуждал у меня тоску.

За оврагом тянутся серые, ветхие заборы, и далеко среди них я вижу бурый домишко, в котором жил зимою, будучи мальчиком в магазине. Близость этого дома ещё более угнетает меня. Почему мне снова пришлось жить на этой улице?

Хозяина моего я знаю, он бывал в гостях у матери моей вместе с братом своим, который смешно пищал:

— Андрей-папа́, Андрей-папа́.

Они оба такие же, как были: старший, горбоносый, с длинными волосами, приятен и, кажется, добрый; младший, Виктор, остался с тем же лошадиным лицом и в таких же веснушках. Их мать — сестра моей бабушки — очень сердита и криклива. Старший — женат, жена у него пышная, белая, как пшеничный хлеб, у неё большие глаза, очень тёмные.

В первые же дни она раза два сказала мне:

— Я подарила матери твоей шёлковую тальму [1], со стеклярусом... [2]

Мне почему-то не хотелось верить, что она подарила, а мать приняла подарок. Когда же она напомнила мне об этой тальме ещё раз, я посоветовал ей:

— Подарила, так уж не хвастайся.

---

[1] Тальму (тальма) — длинную накидку без рукавов.

[2] Со стеклярусом (стеклярус) — с маленькими короткими трубочками из белого и цветного стекла (нанизываются на нитку и служат для украшения).

Она испуганно отскочила от меня.

— Что-о? Ты с кем говоришь?

Лицо её покрылось красными пятнами, глаза выкатились, она позвала мужа.

Он пришёл в кухню с циркулем в руках, с карандашом за ухом, выслушал жену и сказал мне:

— Ей и всем надо говорить — вы. А дерзостей не надо говорить!

Потом нетерпеливо сказал жене:

— Не беспокой ты меня пустяками!

— Как — пустяки? Если твоя родня...

— Чорт её возьми, родню! — закричал хозяин и убежал.

Мне тоже не нравилось, что эти люди — родня бабушке; по моим наблюдениям, родственники относятся друг ко другу хуже чужих: больше чужих зная друг о друге худого и смешного, они злее сплетничают, чаще ссорятся и дерутся.

Хозяин понравился мне, он красиво встряхивал волосами, заправляя их за уши, и напоминал мне чем-то «Хорошее дело». Часто, с удовольствием смеялся, серые глаза смотрели добродушно, около ястребиного носа забавно играли смешные морщинки.

— Довольно вам ругаться, звери-курицы! — говорил он жене и матери, обнажая мягкой улыбкой мелкие, плотные зубы.

Свекровь и сноха ругались каждый день; меня очень удивляло, как легко и быстро они ссорятся. С утра, обе нечёсаные, расстёгнутые, они начинали метаться по комнатам, точно в доме случился пожар; суетились целый день, отдыхая только за столом во время обеда, вечернего чая и ужина. Пили и ели много, до опьянения, до усталости, за обедом говорили о кушаньях и лениво перуругивались, готовясь к большой ссоре. Что́ бы ни изготовила свекровь, сноха непременно говорила:

— А моя мамаша делает это не так.

— Не так, значит — хуже!

— Нет — лучше!

— Ну и ступай к своей мамаше!

— Я здесь — хозяйка!

— А я кто?

Вмешивался хозяин:

— Довольно, звери-курицы! Что́ вы — с ума сошли?

В доме всё было необъяснимо странно и смешно: ход из кухни в столовую лежал через единственный в квартире маленький, узкий клозет [1]; через него вносили в столовую самовары и кушанье, он был предметом весёлых шуток и — часто — источником смешных недоразумений. На моей обязанности лежало наливать воду в бак клозета, а спал я в кухне, против его двери и у двери на парадное крыльцо: голове было жарко от кухонной печи, в ноги дуло с крыльца; ложась спать, я собирал все половики и складывал их на ноги себе.

В большой зале, с двумя зеркалами в простенках, картинами-премиями «Нивы» [2] в золотом багете [3], с парой карточных столов и дюжиной венских стульев [4], было пустынно и скучно. Маленькая гостиная тесно набита пёстрой мягкой мебелью, горками [5] с «приданым» [6], серебром и чайной посудой; её украшали три лампы, одна другой больше. В тёмной, без окон, спальне, кроме широкой кровати, стояли сундуки, шкапы, от них исходил

---

[1] Клозет — уборная, отхожее место.

[2] Картинами-премиями «Нивы» — картинками, полученными как бесплатное приложение к журналу «Нива».

[3] В золотом багете (багет) — в раме, сделанной из пленок, покрытых золотой краской.

[4] Венских стульев (венские стулья) — жестких стульев с ножками и спинкой из гнутого дерева.

[5] Горками (горка) — этажерками для дорогой посуды.

[6] С «приданым» (приданое) — с вещами, которые получила невеста от родителей или родных при выходе замуж.

запах листового табаку и персидской ромашки. Эти три комнаты всегда были пусты, а хозяева теснились в маленькой столовой, мешая друг другу. Тотчас после утреннего чая, в восемь часов, хозяин с братом раздвигали стол, раскладывали на нём листы белой бумаги, готовальни, карандаши, блюдца с тушью и принимались за работу, один на конце стола, другой против него. Стол качался. Он загромождал всю комнату, и когда из детской выходила нянька с хозяйкой, они задевали углы стола.

— Да не шляйтесь вы тут! — кричал Виктор.

Хозяйка обиженно просила мужа:

— Вася, скажи ему, чтоб он на меня не орал!

— А ты не тряси стол, — миролюбиво советовал хозяин.

— Я — беременная, тут — тесно.

— Ну, мы уйдём работать в залу.

Но хозяйка кричала, негодуя:

— Господи, кто же в зале работает?

Из двери клозета высовывается злое, раскалённое огнем печи лицо старухи Матрёны Ивановны, она кричит:

— Вот, Вася, гляди: ты работаешь, а она в четверых комнатах отелиться не может. Дворянка с Гребешка, умишка ни вершка!..

Виктор ехидно смеётся, а хозяин кричит:

— Довольно!

Но сноха, облив свекровь ручьями ядовитейшего красноречия, валится на стол и стонет:

— Уйду! Умру!

— Не мешайте мне работать, чорт вас возьми! — орёт хозяин, бледный с натуги. — Сумасшедший дом — ведь для вас же спину ломаю, вам на корм! О, звери-курицы...

Сначала эти ссоры пугали меня, особенно я был испуган, когда хозяйка, схватив столовый нож, убежала в

клозет и, заперев обе двери, начала дико рычать там. На минуту в доме стало тихо, потом хозяин упёрся руками в дверь, согнулся и крикнул мне:

— Лезь, разбей стекло, сними крючок с пробоя!

Я живо вскочил на спину его, вышиб стекло над дверью, но когда нагнулся вниз — хозяйка усердно начала колотить меня по голове черенком ножа. Я всё-таки успел отпереть дверь, и хозяин, с боем вытащив супругу в столовую, отнял у неё нож. Сидя в кухне и потирая избитую голову, я быстро догадался, что пострадал зря: нож был тупой, им даже хлеба кусок трудно отрезать, а уж кожу — никак не прорежешь; мне не нужно было влезать на спину хозяина, я мог бы разбить стекло со стула, и, наконец, удобнее было снять крючок взрослому — руки у него длиннее. После этой истории — ссоры в доме больше уже не пугали меня.

Братья пели в церковном хоре; случалось, что они начинали тихонько напевать за работой, старший пел баритоном:

— Кольцо души-девицы
Я в мо-ре ур-ронил...

Младший вступал тенором:

— И с тем кольцом я счастье
Земное погубил.

Из детской раздавался тихий возглас хозяйки:

— Вы с ума сошли? Ребёнок спит...

Или:

— Ты, Вася, женат, можно и не петь о девицах, к чему это? Да скоро и ко всенощной ударят...

— Ну, так мы — церковное...

Но хозяйка внушала, что церковное вообще неуместно петь где-либо, а тут ещё... — и она красноречиво показала рукой на маленькую дверь.

— Надо будет переменить квартиру, а то — чорт знает что́! — говорил хозяин.

Не менее часто он говорил, что надо переменить стол, но он говорил это на протяжении трёх лет.

Слушая беседы хозяев о людях, я всегда вспоминал магазин обуви — там говорили так же. Мне было ясно, что хозяева тоже считают себя лучшими в городе, они знают самые точные правила поведения и, опираясь на эти правила, неясные мне, судят всех людей безжалостно и беспощадно. Суд этот вызывал у меня лютую тоску и досаду против законов хозяев, нарушать законы — стало источником удовольствия для меня.

Работы у меня было много: я исполнял обязанности горничной, по средам мыл пол в кухне, чистил самовар и медную посуду, по субботам — мыл полы всей квартиры и обе лестницы. Колол и носил дрова для печей, мыл посуду, чистил овощи, ходил с хозяйкой по базару, таская за нею корзину с покупками, бегал в лавочку, в аптеку.

Моё ближайшее начальство — сестра бабушки, шумная, неукротимо-гневная старуха, вставала рано, часов в шесть утра; наскоро умывшись, она, в одной рубахе, становилась на колени перед образом и долго жаловалась богу на свою жизнь, на детей, на сноху.

— Господи! — со слезами в голосе восклицает она, прижав ко лбу пальцы, сложенные щепотью. — Господи, ничего я не прошу, ничего мне не надо, — дай только отдохнуть, успокой меня, господи, силой твоею!

Её вопли будили меня; проснувшись, я смотрел из-под одеяла и со страхом слушал жаркую молитву. Осеннее утро мутно заглядывает в окно кухни сквозь стёкла, облитые дождём; на полу, в холодном сумраке, качается серая фигура, тревожно размахивая рукою; с её маленькой головы из-под сбитого платка осыпа́лись на шею и плечи жиденькие светлые волосы, платок всё время спа-

дал с головы; старуха, резко поправляя его левой рукой, бормочет:

— А, чтоб те разорвало!

С размаха бьёт себя по лбу, по животу, плечам и шипит:

— А сноху накажи, господи, меня ради; зачти ей все, все обиды мои! И открой глаза сыну моему, — на неё открой и на Викторушку! Господи, помоги Викторушке, подай ему милостей твоих...

Викторушка спит тут же в кухне, на полатях; разбуженный стонами матери, он кричит сонным голосом:

— Мамаша, опять вы орёте спозаранку![1] Это просто беда!

— Ну, ну, спи себе, — виновато шепчет старуха. Минуту, две качается молча и вдруг снова мстительно возглашает: — И чтоб пострелило их в кости и ни дна бы им, ни покрышки, господи...

Так страшно даже дедушка мой не молился.

Помолясь, она будила меня:

— Вставай, будет дрыхнуть, не за тем живёшь!.. Ставь самовар, дров неси, — лучины-то не приготовил с вечера? У!

Я стараюсь делать всё быстро, только бы не слышать шипучего шопота старухи, но угодить ей — невозможно; она носится по кухне, как зимняя вьюга, и шипит, завывая:

— Тише, бес! Викторушку разбудишь, я те задам! Беги в лавочку...

По будням к утреннему чаю покупали два фунта пшеничного хлеба и на две копейки грошовых булочек для молодой хозяйки. Когда я приносил хлеб, женщины подозрительно осматривали его и, взвешивая на ладони, спрашивали:

— А привеска не было? Нет? Ну-ка, открой рот! —

[1] Спозаранку — с раннего утра.

и торжествующе кричали: — Сожрал привесок, вон крошки-то в зубах!

...Работал я охотно, — мне нравилось уничтожать грязь в доме, мыть полы, чистить медную посуду, отдушники, ручки дверей; я не однажды слышал, как в мирные часы женщины говорили про меня:

— Усердный.

— Чистоплотен.

— Только дерзок очень.

— Ну, матушка, кто же его воспитывал!

И обе старались воспитывать во мне почтение к ним, но я считал их полоумными, не любил, не слушал и разговаривал с ними зуб за́ зуб. Молодая хозяйка, должно быть, замечала, как плохо действуют на меня некоторые речи, и поэтому всё чаще говорила:

— Ты должен помнить, что взят из нищей семьи! Я твоей матери шёлковую тальму подарила. Со стеклярусом!

Однажды я сказал ей:

— Что же, мне за эту тальму шкуру снять с себя для вас?

— Батюшки, да он поджечь может! — испуганно вскричала хозяйка.

Я был крайне удивлён: почему — поджечь?

Они обе то и дело жаловались на меня хозяину, а хозяин говорил мне строго:

— Ты, брат, смотри у меня!

Но однажды он равнодушно сказал жене и матери:

— Тоже и вы хороши! Ездите на мальчишке, как на мерине, — другой бы давно убежал али издох от такой работы...

Это рассердило женщин до слёз; жена, топая ногою, кричала исступлённо:

— Да разве можно при нём так говорить, дурак ты

длинноволосый! Что же я для него после этих слов? Я женщина беременная.

Мать выла плачевно:

— Бог тебя прости, Василий, только — помяни моё слово — испортишь ты мальчишку!

Когда они ушли, в гневе, хозяин строго сказал:

— Видишь, чортушка, какой шум из-за тебя? Вот я отправлю тебя к дедушке — и будешь снова тряпичником!

Не стерпев обиды, я сказал:

— Тряпичником-то лучше жить, чем у вас! Приняли в ученики, а чему учите? Помои выносить...

Хозяин взял меня за волосы, без боли, осторожно, и, заглядывая в глаза мне, сказал удивлённо:

— Однако, ты ёрш! Это, брат, мне не годится, не-ет...

Я думал — меня прогонят, но через день он пришёл в кухню с трубкой толстой бумаги в руках, с карандашом, угольником и линейкой.

— Кончишь чистить ножи — нарисуй вот это!

На листе бумаги был изображён фасад [1] двухэтажного дома со множеством окон и лепных украшений.

— Вот тебе циркуль! Смеряй все линии, нанеси концы их на бумагу точками, потом проведи по линейке карандашом от точки до точки. Сначала вдоль — это будут горизонтальные, потом поперёк — это вертикальные. Валяй!

Я очень обрадовался чистой работе и началу ученья, но смотрел на бумагу и инструменты с благоговейным страхом [2], ничего не понимая.

Однако тотчас же, вымыв руки, сел учиться. Провёл на листе все горизонтальные, сверил — хорошо! Хотя три оказались лишними. Провёл все вертикальные и с

---

[1] Фасад — передняя сторона дома.

[2] С благоговейным (благоговейный) страхом — с глубоким почтением, уважением.

изумлением увидал, что лицо дома нелепо исказилось: окна перебрались на места простенков, а одно, выехав за стену, висело в воздухе, по соседству с домом. Парадное крыльцо тоже поднялось на воздух до высоты второго этажа, карниз очутился посредине крыши, слуховое окно — на трубе.

Я долго, чуть не со слезами, смотрел на эти непоправимые чудеса, пытаясь понять, как они совершились. И, не поняв, решил исправить дело помощью фантазии: нарисовал по фасаду дома на всех карнизах и на гребне крыши ворон, голубей, воробьёв, а на земле перед окном — кривоногих людей под зонтиками, не совсем прикрывшими их уродства. Затем исчертил всё это наискось полосками и отнёс работу учителю.

Он высоко поднял брови, взбил волосы и угрюмо осведомился:

— Это что́ же такое?

— Дождик идёт, — объяснил я. — При дожде все дома кажутся кривыми, потому что дождик — сам кривой всегда. Птицы — вот это всё птицы — спрятались на карнизах. Так всегда бывает в дождь. А это — люди бегут домой, вот барыня упала, а это разносчик с лимонами...

— Покорно благодарю, — сказал хозяин и, склонясь над столом, сметая бумагу волосами, захохотал, закричал: — Ох, чтоб тебя вдребезги разнесло, зверь-воробей!

Пришла хозяйка, покачивая животом, как бочонком, посмотрела на мой труд и сказала мужу:

— Ты его выпори!

Но хозяин миролюбиво заметил:

— Ничего, я сам начинал не лучше...

Отметив красным карандашом разрушение фасада, он дал мне ещё бумаги.

— Валяй ещё раз! Будешь чертить это, пока не добьёшься толку...

Вторая копия у меня вышла лучше, только окно ока-

залось на двери крыльца. Но мне не понравилось, что дом пустой, и я населил его разными жителями: в окнах сидели барыни с веерами в руках, кавалеры с папиросами, а один из них, некурящий, показывал всем длинный нос. У крыльца стоял извозчик и лежала собака.

— Зачем же ты опять напачкал? — сердито спросил хозяин.

Я объяснил ему, что без людей — скучно очень, но он стал ругаться.

— К чорту всё это! Если хочешь учиться — учись! А это — озорство...

Когда мне наконец удалось сделать копию фасада похожей на оригинал, это ему понравилось.

— Вот видишь, сумел же! Этак, пожалуй, мы с тобой дойдём до дела скоро...

И задал мне урок:

— Сделай план квартиры: как расположены комнаты, где двери, окна, где что стоит. Я указывать ничего не буду — делай сам.

Я пошёл в кухню и задумался — с чего начать?

Но на этой точке и остановилось моё изучение чертёжного искусства.

Подошла ко мне старуха-хозяйка и зловеще спросила:

— Чертить хочешь?

Схватив за волосы, она ткнула меня лицом в стол так, что я разбил себе нос и губы, а она, подпрыгивая, изорвала чертёж, сошвырнула со стола инструменты и, уперев руки в бока, победоносно закричала:

— На, черти! Нет, это не сойдётся! Чтобы чужой работал, а брата единого, родную кровь — прочь?

Прибежал хозяин, приплыла его жена, и начался дикий скандал: все трое наскакивали друг на друга, плевались, выли, а кончилось это тем, что, когда бабы разошлись плакать, хозяин сказал мне:

— Ты покуда брось всё это, не учись — сам видишь, вон что выходит!

Мне было жалко его — такой он измятый, беззащитный и навеки оглушён криками баб.

Я и раньше понимал, что старуха не хочет, чтобы я учился, нарочно мешает мне в этом. Прежде чем сесть за чертёж, я всегда спрашивал её:

— Делать нечего?

Она хмуро отвечала:

— Когда будет — скажу, торчи, знай, за столом, балуйся...

И через некоторое время посылала меня куда-нибудь или говорила:

— Как у тебя парадная лестница выметена? В углах — сорьё, пыль! Иди, мети...

Я шёл, смотрел — пыли не было.

— Ты спорить против меня? — кричала она.

Однажды она облила мне все чертежи квасом, другой раз опрокинула на них лампаду масла от икон, — она озорничала, точно девчонка, с детской хитростью и с детским неумением скрыть хитрости. Ни прежде, ни после я не видал человека, который раздражался бы так быстро и легко, как она, и так страстно любил бы жаловаться на всех и на всё. Люди вообще и все любят жаловаться, но она делала это с наслаждением особенным, точно песню пела.

Её любовь к сыну была подобна безумию, смешила и пугала меня своей силой, которую я не могу назвать иначе, как яростной силой. Бывало, после утренней молитвы, она встанет на приступок печи и, положив локти на крайнюю доску полатей, горячо шипит:

— Случайный ты мой, божий, кровинушка моя горячая, чистая, алмазная, ангельское перо лёгкое! Спит, — спи, ребёнок, одень твою душеньку весёлый сон, приснись тебе невестушка, первая раскрасавица, короле-

вишна, богачка, купецкая дочь! А недругам твоим — не родясь издохнуть, а дружкам — жить им до ста лет, а девицы бы за тобой — стаями, как утки за селезнем.

Мне нестерпимо смешно: грубый и ленивый Виктор похож на дятла — такой же пёстрый, большеносый, такой же упрямый и тупой.

Шопот матери иногда будил его, и он бормотал сонно:

— Подите вы к чорту, мамаша, что вы тут фыркаете прямо в рожу мне!.. Жить нельзя!

Иногда она покорно слезала с приступка, усмехаясь:

— Ну, спи, спи... грубиян!

Но бывало и так: ноги её подгибались, шлёпнувшись на край печи, она, открыв рот, громко дышала, точно обожгла язык, и клокотали жгучие слова:

— Та-ак? Это ты мать к чорту послал, сукин сын? Ах ты, стыд мой полуночный, заноза проклятая, дьявол тебя в душу мою засадил, сгнить бы тебе до рождения!

Она говорила слова грязные, слова пьяной улицы — было жутко слышать их.

Спала она мало, беспокойно, вскакивая с печи иногда по нескольку раз в ночь, валилась на диван ко мне и будила меня...

Обижала она меня часто, но бывали дни, когда пухлое, ватное лицо её становилось грустным, глаза тонули в слезах, и она очень убедительно говорила:

— Ты думаешь — легко мне? Родила детей, нянчила, на ноги ставила — для чего? Вот — живу кухаркой у них, сладко это мне? Привёл сын чужую бабу и променял на неё свою кровь — хорошо это? Ну?

— Нехорошо, — искренно говорил я.

— Ага? То-то...

На дворе нашем стоял флигель, такой же большой, как дом; из восьми квартир двух зданий в четырёх жили офицеры, в пятой — полковой священник. Весь двор

был полон денщиками [1], вестовыми [2], к ним ходили прачки, горничные, кухарки; во всех кухнях постоянно разыгрывались романы и драмы, со слезами, бранью, дракой. Дрались солдаты друг с другом, с землекопами, рабочими домохозяина; били женщин. На дворе постоянно кипело то, что называется развратом, распутством, — звериный, неукротимый голод здоровых парней. Эта жизнь, насыщенная жестокой чувственностью, бессмысленным мучительством, грязной хвастливостью победителей, подробно и цинично обсуждалась моими хозяевами за обедом, вечерним чаем и ужином. Старуха всегда знала все истории на дворе и рассказывала их горячо, злорадно.

Молодая слушала эти рассказы, молча улыбаясь пухлыми губами, Виктор хохотал, а хозяин, морщась, говорил:

— Довольно, мамаша...

— Господи, уж и слова мне нельзя сказать! — жаловалась рассказчица.

Виктор поощрял её:

— Валяйте, мамаша, чего стесняться! Всё свои ведь...

Старший сын относился к матери с брезгливым сожалением, избегал оставаться с нею один на один, а если это случалось, мать закидывала его жалобами на жену и обязательно просила денег. Он торопливо совал ей в руку рубль, три, несколько серебряных монет.

— Напрасно вы, мамаша, берёте деньги, не жалко мне их, — а напрасно!

— Я ведь для нищих, я — на свечи, в церковь...

— Ну, какие там нищие! Испортите вы Виктора вконец.

— Не любишь ты брата, великий грех на тебе!

Он уходил, отмахиваясь от неё.

Виктор обращался с матерью грубо, насмешливо. Он

---

[1] Денщиками (денщик) — солдатами, находящимися в услужении у офицеров.

[2] Вестовыми (вестовые) — посыльными на военной службе.

был очень прожорлив, всегда голодал. По воскресеньям мать пекла оладьи и всегда прятала несколько штук в горшок, ставя его под диван, на котором я спал; приходя от обедни, Виктор доставал горшок и ворчал:

— Не могла больше-то, гвозди-козыри!

— А ты жри скорее, чтобы не увидали...

— Я нарочно скажу, как ты для меня оладьи воруешь, вилки в затылке!

Однажды я достал горшок и съел пару оладий, — Виктор избил меня за это. Он не любил меня так же, как я его, издевался надо мною, заставлял по три раза в день чистить его сапоги, а ложась спать на полати, раздвигал доски и плевал в щели, стараясь попасть мне на голову.

Должно быть, подражая брату, который часто говорил «звери-курицы», Виктор тоже употреблял поговорки, но все они были удивительно нелепы и бессмысленны.

— Мамаша — кругом направо! — где мои носки?

Он преследовал меня глупыми вопросами:

— Алёшка, отвечай: почему пишется — синенький, а говорится — финики? Почему говорят — колокола, а не — около кола? Почему — к дереву, а не — где пла́чу?

Мне не нравилось, как все они говорят; воспитанный на красивом языке бабушки и деда, я вначале не понимал такие соединения несоединимых слов, как «ужасно смешно», «досмерти хочу есть», «страшно весело»; мне казалось, что смешное не может быть ужасным, весёлое — не страшно и все люди едят вплоть до дня смерти.

Я спрашивал их:

— Разве можно так говорить?

Они ругались:

— Какой учитель, скажите! Вот — нарвать уши...

Но и «нарвать уши» казалось мне неправильным: нарвать можно травы, цветов, орехов.

Они пытались доказать мне, что уши тоже можно рвать, но это не убеждало меня, и я с торжеством говорил:

— А всё-таки уши-то не оторваны!..

Плохо мне жилось, но ещё хуже чувствовал я себя, когда приходила в гости ко мне бабушка. Она являлась с чёрного крыльца, входя в кухню, крестилась на образа, потом в пояс кланялась младшей сестре, и этот поклон, точно многопудовая тяжесть, сгибал меня, душил.

— А, это ты, Акулина, — небрежно и холодно встречала бабушку моя хозяйка.

Я не узнавал бабушки: скромно поджав губы, незнакомо изменив всё лицо, она тихонько садилась на скамью у двери, около лохани с помоями, и молчала, как виноватая, отвечая на вопросы сестры тихо, покорно.

Это мучило меня, и я сердито говорил:

— Что ты где села?

Ласково подмигнув мне, она отзывалась внушительно:

— А ты помалкивай, ты здесь не хозяин!

— Он всегда суётся не в своё дело, хоть бей его, хоть ругай, — начинала хозяйка свои жалобы.

Нередко она злорадно спрашивала сестру:

— Что, Акулина, нищенкой живёшь?

— Эка беда...

— И всё — не беда, коли нет стыда.

— Говорят — Христос тоже милостыней жил...

— Болваны это говорят, еретики[1], а ты, старая дура, слушаешь! Христос — не нищий, а сын божий, он придёт, сказано, со славою судить живых и мёртвых — и мёртвых, помни! От него не спрячешься, матушка, хоть в пепел сожгись... Он тебе с Василием отплатит за гордость вашу, за меня, как я бывало помощи просила у вас, богатых...

— Я ведь посильно помогала тебе, — равнодушно говорила бабушка. — А господь нам отплатил, ты знаешь...

— Мало вам! Мало...

---

[1] Еретики — последователи религиозного учения (ереси), противоречащего учению господствующей церкви.

Сестра долго пилила и скребла бабушку своим неутомимым языком, а я слушал её злой визг и тоскливо недоумевал: как может бабушка терпеть это? И не любил её в такие минуты.

Выходила из комнат молодая хозяйка, благосклонно кивала головой бабушке.

— Идите в столовую, ничего, идите!

Сестра кричала вослед бабушке:

— Ноги оботри, деревня еловая, на болоте строена!

Хозяин встречал бабушку весело:

— А, премудрая Акулина, как живёшь? Старичок Каширин дышит?

Бабушка улыбалась ему своей улыбкой из души.

— Всё гнёшься, работаешь?

— Всё работаю! Как арестант.

С ним бабушка говорила ласково и хорошо, но — как старшая. Иногда он вспоминал мою мать:

— Да-а, Варвара Васильевна... Какая женщина была — богатырь, а?

Жена его обращалась к бабушке и вставляла слово:

— Помните, я ей тальму подарила, чёрную, шёлковую, со стеклярусом?

— Как же...

— Совсем ещё хорошая тальма была...

— Д-да, — бормотал хозяин, — тальма, пальма, а жизнь — шельма!

— Что это ты говоришь? — подозрительно спрашивала его жена.

— Я? Так себе... Дни весёлые проходят, люди хорошие проходят...

— Не понимаю я, к чему это у тебя? — беспокоилась хозяйка.

Потом бабушку уводят смотреть новорожденного, я собираю со стола грязную чайную посуду, а хозяин говорит мне негромко и задумчиво:

— Хороша старуха, бабушка твоя...

Я глубоко благодарен ему за эти слова, а оставшись глаз-на-глаз с бабушкой, говорю ей с болью в душе:

— Зачем ты ходишь сюда, зачем? Ведь ты видишь, какие они...

— Эх, Олёша, я всё вижу, — отвечает она, глядя на меня с доброй усмешкой на чудесном лице, и мне становится совестно: ну, разумеется, она всё видит, всё знает, знает и то, что́ живёт в моей душе этой минутою.

Осторожно оглянувшись, не идёт ли кто, она обнимает меня, задушевно говоря:

— Не пришла бы я сюда, кабы не ты здесь, — зачем они мне? Да дедушка захворал, провозилась я с ним, не работала, денег нету у меня... А сын, Михайла, Сашу прогнал, поить-кормить надо его. Они обещали за тебя шесть рублей в год давать, вот я и думаю — не дадут ли хоть целковый? Ты ведь около полугода прожил уж... — И шепчет на ухо мне: — Они велели пожурить тебя, поругать, не слушаешься никого, говорят. Уж ты бы, голуба́-душа, пожил у них, потерпел годочка два, пока окрепнешь! Потерпи, а?

Я обещал терпеть. Это очень трудно. Меня давит эта жизнь — нищая, скучная, вся в суете ради еды, и я живу, как во сне.

Иногда мне думается — надо убежать. Но стоит окаянная зима, по ночам воют вьюги, на чердаке возится ветер, трещат стропила [1], сжатые морозом, — куда убежишь?

Гулять меня не пускали, да и времени не было гулять: короткий зимний день истлевал в суете домашней работы неуловимо быстро.

Но я обязан был ходить в церковь; по субботам — ко всенощной, по праздникам — к поздней обедне...

[1] Стропила — брёвна, служащие основой кровли.

Тихими ночами мне больше нравилось ходить по городу, из улицы в улицу, забираясь в самые глухие углы...

Особенно интересовал меня одноэтажный, приземистый дом на углу безлюдных улиц — Тихоновской и Мартыновской. Я наткнулся на него лунною ночью, в ростепель[1], перед масленицей[2], из квадратной форточки окна вместе с тёплым паром струился на улицу необыкновенный звук, точно кто-то очень сильный и добрый пел, закрыв рот; слов не слышно было, но песня показалась мне удивительно знакомой и понятной, хотя слушать её мешал струнный звон, надоедливо перебивая течение песни. Я сел на тумбу, сообразив, что это играют на какой-то скрипке, чудесной мощности и невыносимой — потому что слушать её было почти больно. Иногда она пела с такой силой, что — казалось — весь дом дрожит и гудят стёкла в окне. Капало с крыши, из глаз у меня тоже закапали слёзы.

Незаметно подошёл ночной сторож и столкнул меня с тумбы, спрашивая:

— Ты чего тут торчишь?

— Музыка, — объяснил я.

— Мало ли что! Пошёл...

Я быстро обежал кругом квартала, снова воротился под окно, но в доме уже не играли, из форточки бурно вытекал на улицу весёлый шум, и это было так не похоже на печальную музыку, точно я слышал её во сне.

Почти каждую субботу я стал бегать к этому дому, но только однажды, весною, снова услышал там виолончель[3] — она играла почти непрерывно до полуночи; когда я воротился домой, меня отколотили.

---

[1] В ростепель (оттепель) — в тёплую погоду зимой с таянием снега.

[2] Перед масленицей; масленица — старинный праздник прóводов зимы.

[3] Виолончель — музыкальный инструмент, похожий на скрипку.

Ночные прогулки под зимними звёздами, среди пустынных улиц города, очень обогащали меня. Я нарочно выбирал улицы подальше от центра: на центральных было много фонарей, меня могли заметить знакомые хозяев, тогда хозяева узнали бы, что я прогуливаю всенощные. На дальних улицах можно было смотреть в окна нижних этажей, если они не очень замёрзли и не занавешены изнутри.

Много разных картин показали мне эти окна: видел я, как люди молятся, целуются, дерутся, играют в карты, озабоченно и беззвучно беседуют, — предо мною, точно в панораме за копейку, тянулась немая, рыбья жизнь...

Много подобных картин навсегда осталось в памяти моей, и часто, увлечённый ими, я опаздывал домой. Это возбуждало подозрение хозяев, и они допрашивали меня:

— В какой церкви был? Какой поп служил?

Они знали всех попов города, знали, когда какое евангелие читают, — знали всё — им было легко поймать меня во лжи...

Прогуливал я и обедни, особенно весною, — непоборимые силы её решительно не пускали меня в церковь. Если же мне давали семишник на свечку — это окончательно губило меня: я покупал бабок [1], всю обедню играл и неизбежно опаздывал домой. А однажды ухитрился проиграть целый гривенник, данный мне на поминание [2] и просфору [3], так что уж пришлось стащить чужую просфору с блюда, которое дьячок вынес из алтаря.

[1] Бабок; бабки — надкопытные суставы животных, которые употребляются для игры.

[2] На поминание — для уплаты за молитву о живых и умерших родственниках, близких.

[3] Просфору (просфора) — небольшой круглый белый хлебец.

Играть хотелось страстно, и я увлекался играми до неистовства[1]. Был достаточно ловок, силен и скоро заслужил славу игрока в бабки, в шар и в городки в ближних улицах.

Великим постом меня заставили говеть[2], и вот я иду исповедоваться[3] к нашему соседу, отцу Доримедонту Покровскому. Я считал его человеком суровым и был во многом грешен лично перед ним: разбивал камнями беседку в его саду, враждовал с его детьми, и вообще он мог напомнить мне немало разных поступков, неприятных ему. Это меня очень смущало, и когда я стоял в бедненькой церкви, ожидая очереди исповедоваться, — сердце моё билось трепетно.

Но отец Доримедонт встретил меня добродушно-ворчливым восклицанием:

— А, сосед... Ну, вставай на колени! В чём грешен?

Он накрыл голову мою тяжёлым бархатом, я задыхался в запахе воска и ладана, говорить было трудно и не хотелось.

— Старших слушаешься?

— Нет.

— Говори — грешен!

Неожиданно для себя, я выпалил:

— Просвиры воровал.

— Это — как же? Где? — спросил священник, подумав и не спеша.

— У Трёх Святителей, у Покрова, у Николы...

— Ну-ну, по всем церквам! Это, брат, нехорошо, грех, — понимаешь?

— Понимаю.

---

[1] До неистовства (неистовство) — безудержу, яростно.

[2] Говеть — не есть мясной и молочной пищи.

[3] Исповедоваться — каяться, признаваться священнику в своих грехах.

— Говори — грешен! Несуразный. Воровал-то, чтобы есть?

— Когда — ел, а то — проиграю деньги в бабки, а просвиру домой надо принести, я и украду...

Отец Доримедонт начал что-то шептать, невнятно и устало, потом задал ещё несколько вопросов и вдруг строго спросил:

— Не читал ли книг подпольного издания? [1]

Я, конечно, не понял вопроса и переспросил:

— Чего?

— Запрещённых книжек не читал ли?

— Нет, никаких...

— Отпускаются тебе грехи твои... Встань!

Я удивлённо взглянул в лицо ему — оно казалось задумчивым и добрым. Мне было неловко, совестно: отправляя меня на исповедь, хозяева наговорили о ней страхов и ужасов, убедив каяться честно во всех прегрешениях моих.

— Я в вашу беседку камнями кидал, — заявил я.

Священник поднял голову и сказал:

— И это нехорошо! Ступай...

— И в собаку кидал...

— Следующий! — позвал отец Доримедонт, глядя мимо меня.

Я ушёл, чувствуя себя обманутым и обиженным: так напрягался в страхе исповеди, а всё вышло не страшно и даже не интересно! Интересен был только вопрос о книгах, неведомых мне; я вспомнил гимназиста, читавшего в подвале книгу женщинам, и вспомнил «Хорошее дело», — у него тоже было много чёрных книг, толстых, с непонятными рисунками.

На другой день мне дали пятиалтынный [2] и отправили

---

[1] Книг подпольного издания — революционных книг, напечатанных нелегально, тайно.

[2] Пятиалтынный — пятнадцать копеек.

меня причащаться[1]. Пасха была поздняя, уже давно стаял снег, улицы просохли, по дорогам курилась[2] пыль; день был солнечный, радостный.

Около церковной ограды азартно играла в бабки большая компания мастеровых; я решил, что успею причаститься, и попросил игроков:

— Примите меня!

— Копейку за вход в игру, — гордо заявил рябой и рыжий человек.

Но я не менее гордо сказал:

— Три под вторую пару слева!

— Деньги на кон![3]

И началась игра!

Я разменял пятиалтынный, положил три копейки под пару бабок в длинный кон; кто собьёт эту пару — получает деньги, промахнётся — я получу с него три копейки. Мне посчастливилось: двое целились в мои деньги, и оба не попали, — я выиграл шесть копеек со взрослых, с мужиков. Это очень подняло дух мой...

Но кто-то из игроков сказал:

— Гляди за ним, ребята, а то убежит с выигрышем...

Тут я обиделся и объявил сгоряча, как в бубен ударил:

— Девять копеек под левой крайней парой!

Однако это не вызвало у игроков заметного впечатления, только какой-то мальчуган моих лет крикнул, предупреждая:

— Глядите, — он счастливый, это чертёжник со Звездинки, я его знаю!

---

[1] Причащаться — исполнять обряд причастия, состоящий в том, что священник даёт причащаемому ложечку красного вина с кусочком просфоры.

[2] Курилась (куриться) — здесь: слегка поднималась.

[3] На кон; кон — в играх место, куда кладётся ставка. «Деньги на кон» — сразу клади свою ставку.

Худощавый мастеровой, по запаху скорняк, сказал ехидно:

— Чертёнок? Хар-рошо...

Прицелившись налитком [1], он метко сбил мою ставку и спросил, нагибаясь ко мне:

— Ревёшь?

Я ответил:

— Под крайней правой — три!

— И сотру, — похвастался скорняк, но проиграл.

Больше трёх раз кряду нельзя ставить деньги на кон, — я стал бить чужие ставки и выиграл ещё копейки четыре да кучу бабок. Но когда снова дошла очередь до меня, я поставил трижды и проиграл все деньги, как раз во-время: обедня кончилась, звонили колокола, народ выходил из церкви.

— Женат? — спросил скорняк, намереваясь схватить меня за волосы, но я вывернулся, убежал и, догнав какого-то празднично одетого паренька, вежливо осведомился:

— Вы причащались?

— Ну, так что? — ответил он, осматривая меня подозрительно.

Я попросил его рассказать мне, как причащают, чтó говорит в это время священник и чтó должен был делать я.

Парень сурово избычился и устрашающим голосом зарычал:

— Прогулял причастие еретик? Ну, а я тебе ничего не скажу — пускай отец шкуру спустит с тебя!

Я побежал домой, уверенный, что начнут расспрашивать и неизбежно узнают, что я не причащался.

Но, поздравив меня, старуха спросила только об одном:

---

[1] Налитком; налиток — бабка, для тяжести налитая свинцом.

— Дьячку за теплоту [1] — много ли дал?

— Пятачок, — наобум сказал я.

— И три копейки — заглаза ему, а семишник себе оставил бы, чучело!

...Весна. Каждый день одет в новое, каждый новый день ярче и милей; хмельно пахнет молодыми травами, свежей зеленью берёз, нестерпимо тянет в поле слушать жаворонка, лёжа на тёплой земле вверх лицом. А я чищу зимнее платье, помогаю укладывать его в сундук, крошу листовой табак, выбиваю пыль из мебели, с утра до ночи вожусь с неприятными, ненужными мне вещами.

В свободные часы мне совершенно нечем жить; на убогой нашей улице — пусто, дальше — не позволено уходить, на дворе сердитые, усталые землекопы, растрёпанные кухарки и прачки, каждый вечер — собачьи свадьбы, — это противно мне и обижает до того, что хочется ослепнуть.

Я иду на чердак, взяв с собою ножницы и разноцветной бумаги, вырезаю из неё кружевные рисунки и украшаю ими стропила — всё-таки пища моей тоске. Мне тревожно хочется итти куда-то, где меньше спят, меньше ссорятся, не так назойливо одолевают бога жалобами, не так часто обижают людей сердитым судом.

...Украшая стропила чердака узорами из розовой чайной бумаги, листками свинца, листьями деревьев и всякой всячиной, я распевал на церковные мотивы всё, что приходило в голову, как это делают калмыки в дороге:

— Сижу я на чердаке
С ножницами в руке,
Режу бумагу, режу...
Скушно мне, невеже!

---

[1] За теплоту (теплота) — здесь: за тёплое красное вино, разбавленное водой, которое в церкви дают выпить после причастия.

Был бы я собакой —
Бегал бы где хотел,
А теперь орёт на меня всякой:
Сиди да молчи, пострел,
Молчи, пока цел!

Старуха, разглядывая мою работу, усмехалась, качала головой.

— Ты бы вот этак-то кухню украсил...

Однажды на чердак пришёл хозяин, осмотрел содеянное мною, вздохнул и сказал:

— Забавен ты, Пешков, чорт тебя возьми... Фокусник, что ли, выйдет из тебя? Не догадаешься даже...

Он дал мне большой николаевский пятак [1].

Я укрепил монету лапками из тонкой проволоки и повесил её, как медаль, на самом видном месте среди моих пёстрых работ.

Но через день монета исчезла вместе с лапками, — я уверен, что это старуха стащила её!

V

Весною я всё-таки убежал: пошёл утром в лавочку за хлебом к чаю, а лавочник, продолжая при мне ссору с женой, ударил её по лбу гирей; она выбежала на улицу и там упала; тотчас собрались люди, женщину посадили в пролётку [2], повезли её в больницу, я побежал за извозчиком, а потом, незаметно для себя, очутился на набережной Волги с двугривенным в руке.

Ласково сиял весенний день, Волга разлилась широко, на земле было шумно, просторно, — а я жил до этого дня, точно мышонок в погребе. И я решил, что не вернусь к хозяевам и не пойду к бабушке в Кунавино, —

---

[1] Николаевский пятак — большая медная монета в пять копеек, выпущенная в царствование Николая I.

[2] В пролётку (пролётка) — в экипаж городского извозчика.

я не сдержал слова, было стыдно видеть её, а дед стал бы злорадствовать [1] надо мной.

Дня два-три я шлялся по набережной, питаясь около добродушных крючников [2], ночуя с ними на пристанях, потом один из них сказал мне:

— Ты, мальчишко, зря треплешься тут, вижу я! Идико на «Добрый», там посудника надо...

Я пошёл; высокий, бородатый буфетчик, в чёрной шёлковой шапочке без козырька, посмотрел на меня сквозь очки мутными глазами и тихо сказал:

— Два рубля в месяц. Паспорт.

Паспорта у меня не было, буфетчик подумал и предложил:

— Мать приведи.

Я бросился к бабушке, она отнеслась к моему поступку одобрительно, уговорила деда сходить в ремесленную управу за паспортом для меня, а сама пошла со мною на пароход.

— Хорошо, — сказал буфетчик, взглянув на нас. — Идём.

Привёл меня на корму парохода, где за столиком сидел, распивая чай и одновременно куря толстую папиросу, огромный повар в белой куртке, в белом колпаке. Буфетчик толкнул меня к нему.

— Посудник.

И тотчас пошёл прочь, а повар, фыркнув, ощетинил чёрные усы и сказал вслед ему:

— Нанимаете всякого беса, або дешевле...

Сердито вскинул большую голову в чёрных, коротко остриженных волосах, вытаращил тёмные глаза, напрягся, надулся и закричал зычно:

— Кто ты такой?

---

[1] Злорадствовать — злобно радоваться чужому горю.

[2] Крючников (крючники) — грузчиков, которые переносят тяжести на спине, поддерживая их железным крюком.

Мне очень не понравился этот человек, — весь в белом, он всё-таки казался чумазым, на пальцах у него росла шерсть, из больших ушей торчали волосы.

— Я хочу есть, — сказал я ему.

Он мигнул, и вдруг его свирепое лицо изменилось от широкой улыбки, толстые калёные[1] щёки волною отошли к ушам, открыв большие лошадиные зубы, усы мягко опустились — он стал похож на толстую, добрую бабу.

Выплеснув за борт чай из своего стакана, налил свежего, подвинул мне непочатую французскую булку, большой кусок колбасы.

— Лопай! Отец-мать есть? Воровать умеешь? Ну, не бойся, здесь все воры — научат!

Говорил он, точно лаял. Его огромное, досиня выбритое лицо было покрыто около носа сплошной сетью красных жилок, пухлый багровый нос опускался на усы, нижняя губа тяжело и брезгливо отвисла, в углу рта приклеилась, дымясь, папироса. Он, видимо, только что пришёл из бани — от него пахло берёзовым веником и перцовкой, на висках и на шее блестел обильный пот.

Когда я напился чаю, он сунул мне рублёвую бумажку:

— Ступай, купи себе два фартука с нагрудниками. Стой, — я сам куплю!

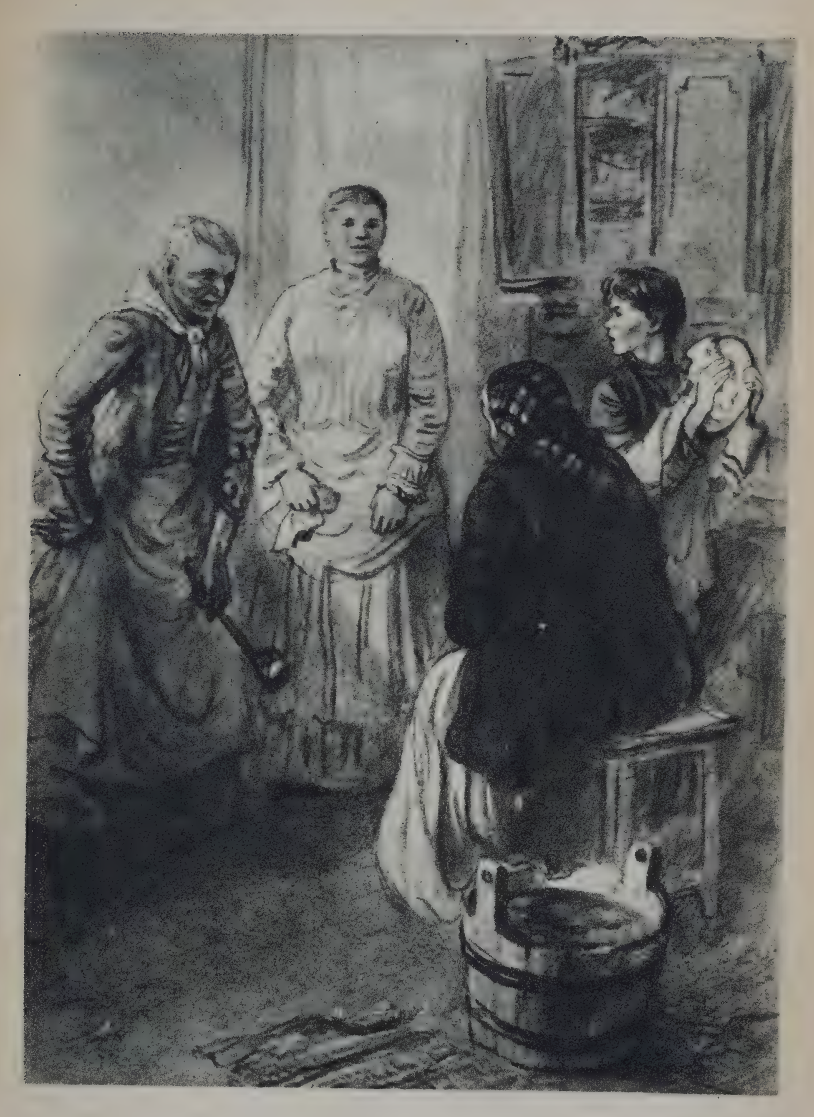
Поправил колпак и пошёл, тяжело покачиваясь, щупая ногами палубу, точно медведь.

...Ночь, ярко светит луна, убегая от парохода влево, в луга. Старенький рыжий пароход, с белой полосой на трубе, не торопясь и неровно шлёпает плицами[2] по серебряной воде, встречу ему тихонько плывут тёмные берега, положив на воду тени, над ними красно́ светятся окна

[1] Калёные — здесь: красные.

[2] Плицами (плицы) — лопастями колеса.

3



К стр. 68



К стр. 86

изб, в селе поют — девки водят хоровод, и припев «ай-люли» звучит, как аллилуия...[1]

За пароходом на длинном буксире[2] тянется баржа, тоже рыжая; она прикрыта по палубе железной клеткой, в клетке — арестанты, осуждённые на поселение[3] и в каторгу. На носу баржи, как свеча, блестит штык часового; мелкие звёзды в синем небе тоже горят, как свечи. На барже тихо, её богато облил лунный свет, за чёрной сеткой железной решётки смутно видны круглые серые пятна, — это арестанты смотрят на Волгу. Всхлипывает вода, не то плачет, не то смеётся робко. Всё вокруг какое-то церковное, и маслом пахнет так же крепко, как в церкви.

Смотрю на баржу и вспоминаю раннее детство, путь из Астрахани в Нижний, железное лицо матери и бабушку — человека, который ввел меня в эту интересную, хотя и трудную жизнь, — в люди. А когда я вспоминаю бабушку, всё дурное, обидное уходит от меня, изменяется, всё становится интереснее, приятнее, люди — лучше и милей...

Меня почти до слёз волнует красота ночи, волнует эта баржа — она похожа на гроб и такая лишняя на просторе широко разлившейся реки, в задумчивой тишине тёплой ночи. Неровная линия берега, то поднимаясь, то опускаясь, приятно тревожит сердце, — мне хочется быть добрым, нужным для людей.

Люди на пароходе нашем — особенные, все они — старые и молодые, мужчины и женщины — кажутся мне одинаковыми. Наш пароход идёт медленно, деловые лю-

---

[1] Аллилуия — слово, которое часто повторяется в церковных молитвах и означает: хвалите господа.

[2] На длинном буксире (буксир) — на длинном канате, которым буксирный пароход тянет баржу, грузовое судно.

[3] На поселение (поселение)— на принудительное жительство в отдалённом месте, большей частью в Сибири.

ди садятся на почтовые, а к нам собираются всё какие-то тихие бездельники. С утра до вечера они пьют, едят и пачкают множество посуды, ножей, вилок, ложек; моя работа — мыть посуду, чистить вилки и ножи, я занимаюсь этим с шести часов утра и почти вплоть до полуночи. Днём, между двумя и шестью часами, и вечером, от десяти до полуночи, работы у меня меньше, — пассажиры, отдыхая от еды, только пьют чай, пиво, водку. В эти часы свободна вся буфетная прислуга — моё начальство. За столом около отвода[1] пьют чай повар Смурый, его помощник Яков Иваныч, кухонный посудник Максим и официант для палубных пассажиров Сергей, горбун со скуластым лицом, изрытым оспой, с маслеными глазами. Яков Иваныч рассказывает разные мерзости, посмеиваясь рыдающим смешком, показывая зелёные, гнилые зубы. Сергей растягивает до ушей свой лягушечий рот, хмурый Максим молчит, глядя на них строгими глазами неуловимого цвета.

— Аз-зияты! Мор-рдва! — изредка гулким голосом произносит старший повар.

Эти люди не нравятся мне. Толстый, лысенький Яков Иваныч говорит только о женщинах и всегда — грязно. Лицо у него пустое, в сизых пятнах, на одной щеке бородавка с кустиком рыжих волос, он их закручивает в иголку. Когда на пароход является податливая, разбитная пассажирка, он ходит около неё как-то особенно робко и пугливо, точно нищий, говорит с нею слащаво и жалобно, на губах у него появляется мыльная пена, он то и дело слизывает её быстрым движением поганого языка. Мне почему-то кажется, что вот такими жирненькими должны быть палачи.

---

[1] Около отвода (отвод) — около бруса, проходящего по бокам корпуса парохода для предохранения колёс от поломок при ударах парохода о пристань. На отводах устраивались каюты для пароходных служащих.

— Бабу надо уметь накалить, — учит он Сергея и Максима; они слушают его внимательно и надуваются, краснеют.

— Азияты, — брезгливо бухает Смурый, тяжело встаёт и командует мне: — Пешко́в — марш!

В каюте у себя он суёт мне книжку в кожаном переплёте и ложится на койку, у стены ледника.

— Читай!

Я сажусь на ящик макарон и добросовестно читаю:

— «Умбракул, распещрённый звёздами, значит удобное сообщение с небом, которое имеют они освобождением себя от профанов и пороков...»

Смурый, закурив папироску, фыркает дымом и ворчит:

— Верблюды! Написали...

— «Оголение левой груди означает невинность сердца...»

— У кого — оголение?

— Не сказано.

— То значит — у баб... Э, распутники.

Он закрывает глаза и лежит, закинув руки за голову, папироса чуть дымится, прилепившись к углу губ, он поправляет её языком, затягивается так, что в груди у него что-то свистит, и огромное лицо тонет в облаке дыма. Иногда мне кажется, что он уснул, я перестаю читать и разглядываю проклятую книгу — надоела она мне до тошноты.

Но он хрипит:

— Читай!

— «Венерабль отвечает: посмотри, любезный мой фрер Сюверьян...»

— Северьян...

— Напечатано — Сюверьян...

— Ну? Вот чертовщина! Там в конце стихами написано, катай оттуда...

Я катаю:

— Профаны, любопытствующие знать наши дела, —
Никогда слабые ваши очи не узрят оных.
Вы и того не узнаете, как поют фреры.

— Стой, — говорит Смурый, — да это ж не стихи! Дай книгу...

Он сердито перелистывает толстые синие страницы и сует книгу под тюфяк.

— Возьми другую...

На моё горе, у него в чёрном сундуке, окованном железом, много книг, тут: «Омировы наставления», «Мемории артиллерийские», «Письма лорда Седенгали», «О клопе, насекомом зловредном, а также об уничтожении оного, с приложением советов против сопутствующих ему»; были книги без начала и конца. Иногда повар заставлял меня перебирать эти книги, называть все титулы [1] их, — я читал, а он сердито ворчал:

— Сочиняют, ракалии...[2] Как по зубам бьют, а за что — нельзя понять. Гервасий! А на чорта он мне сдался, Гервасий этот! Умбракул...

Странные слова, незнакомые имена надоедливо запоминались, щекотали язык, хотелось ежеминутно повторять их — может быть, в звуках откроется смысл? А за окном неустанно пела и плескала вода. Хорошо бы уйти на корму, — там, среди ящиков товара, собираются матросы, кочегары, обыгрывают пассажиров в карты, поют песни, рассказывают интересные истории. Хорошо сидеть с ними и, слушая простое, понятное, смотреть на берега Камы, на сосны, вытянутые как медные струны, на луга, где от половодья остались маленькие озёра и лежат, как куски разбитого зеркала, отражая синее небо. Наш пароход отъединён от земли, убегает прочь от неё, а с берега в тишине уставшего дня доносится звон невидимой ко-

[1] Титулы — здесь: первые страницы книг, на которых помещено заглавие, имя автора и так далее.

[2] Ракалии — негодяи.

локольни, напоминая о сёлах, о людях. На волне качается лодка рыбака, похожая на краюху хлеба; вот на берегу явилась деревенька, куча мальчишек полощется в реке, по жёлтой ленте песка идёт мужик в красной рубахе. Издали, с реки всё кажется приятным, всё — точно игрушечное, забавно мелко и пестро́. Хочется крикнуть на берег какие-то ласковые, добрые слова — на берег и на баржу.

Эта рыжая баржа очень занимала меня, я целый час мог, не отрываясь, смотреть, как она роет тупым носом мутную воду. Пароход тащил её, точно свинью, ослабевая, буксир хлестал по воде, потом снова натягивался, роняя обильные капли, и дёргал баржу за нос. Мне очень хотелось видеть лица людей, зверями сидевших в железной клетке. В Перми, когда их сводили на берег, я пробирался по сходням баржи; мимо меня шли десятки серых человечков, гулко топая ногами, звякая кольцами кандалов, согнувшись под тяжестью котомок; шли женщины и мужчины, старые и молодые, красивые и уродливые, но совсем такие же, как все люди, только иначе одетые и обезображенные бритьём. Конечно, это — разбойники, но бабушка так много говорила хорошего о разбойниках.

Смурый, более других похожий на свирепого разбойника, угрюмо поглядывая на баржу, ворчал:

— Избави боже такой судьбины!

Как-то раз я спросил его:

— Почему это — вы стряпаете, а другие убивают, грабят?

— Я не стряпаю, а готовлю, стряпают — бабы, — сказал он, усмехаясь; подумав, прибавил: — Разница меж людьми — в глупости. Один — умнее, другой — меньше, третий — совсем дурак. А чтобы поумнеть, надо читать правильные книги, чёрную магию [1] и — что́ там ещё? Все книги надо читать, тогда найдёшь правильные...

[1] Чёрную магию (чёрная магия) — книгу о колдовстве, чародействе.

Он постоянно внушал мне:

— Ты — читай! Не поймёшь книгу — семь раз прочитай, семь не поймёшь — прочитай двенадцать...

Со всеми на пароходе, не исключая молчаливого буфетчика, Смурый говорил отрывисто, брезгливо распуская нижнюю губу, ощетинив усы, — точно камнями швырял в людей. Ко мне он относился мягко и внимательно, но в этом внимании было что-то пугавшее меня немножко; иногда повар казался мне полоумным, как сестра бабушки.

Иногда он говорил мне:

— Подожди читать...

И долго лежит, закрыв глаза, посапывая носом; колышется его большой живот, шевелятся сложенные на груди, точно у покойника, обожжённые, волосатые пальцы рук, — вяжут невидимыми спицами невидимый чулок.

И вдруг начнёт ворчать:

— Да. Вот тебе — разум, иди и живи! А разума скупо дано и не ровно. Коли бы все были одинаково разумны, а то — нет... Один понимает, другой не понимает, и есть такие, что вовсе уж не хотят понять, а!

Спотыкаясь на словах, он рассказывал истории из своей солдатской жизни, — смысла этих историй я не мог уловить, они казались мне неинтересными, да и рассказывал он не с начала, а что на память приходило...

Жарко. Всё вокруг тихонько трясётся, гудит, за железной стенкой каюты плещет водой и бухает колесо парохода, мимо иллюминатора[1] широкой полосой течёт река, вдали видна полоска лугового берега, маячат[2] деревья. Слух привык ко всем звукам, — кажется, что вокруг тихо, хотя на носу парохода матрос заунывно воет:

— Се-емь, се-емь...

Не хочется принимать участия ни в чём, не хочется

[1] Иллюминатора (иллюминатор) — окна́ на корабле.

[2] Маячат (маячить) — виднеются вдали.

слушать, работать, только бы сидеть где-либо в тени, где нет жирного, горячего запаха кухни, сидеть и смотреть полусонно, как скользит по воде эта тихонькая, уставшая жизнь.

— Читай! — сердито приказывает повар.

Его боятся даже классные официанты, да и смиренный, скупой на слова буфетчик, похожий на судака, тоже, видимо, боится Смурого.

— Эй, ты, свинья! — кричит он на буфетную прислугу. — Поди сюда, вор! Азияты... Умбракул...

Матросы и кочегары относятся к нему почтительно, заискивающе [1], — он давал им вываренное бульонное мясо, расспрашивал о деревне, о семьях. Масленые и копчёные кочегары-белорусы считались на пароходе низшими людьми, их звали одним именем — ягуты, и дразнили:

— Ягу, бягу, на берягу...

Когда Смурый слышал это, он, ощетинясь, налившись кровью, орал кочегару:

— Ты что позволяешь смеяться над собой, лыковая харя? Бей кацапа в морду!

Как-то раз боцман, красивый и злой мужик, сказал ему:

— Ягут да хохол — одна вера!

Повар схватил его за шиворот, за пояс, поднял на воздух и начал трясти, спрашивая:

— Хошь — расшибу?

Ссорились часто, иногда до драки, но Смурого не били, — он обладал нечеловеческой силищей, а кроме этого, с ним часто и ласково беседовала жена капитана, высокая, дородная женщина с мужским лицом и гладко, как у мальчика, остриженными волосами.

Он жестоко пил водку, но никогда не пьянел. Начинал пить с утра, выпивая бутылку в четыре приёма, и

[1] Заискивающе — стараясь угодить.

вплоть до вечера сосал пиво. Лицо у него постепенно бурело, тёмные глаза изумлённо расширялись.

Бывало, вечером, сядет он на отводе, огромный, белый, и часами сидит молча, хмуро глядя в текучую даль. В этот час все особенно боялись его, а я — жалел...

Я всё-таки спросил его в один из таких часов:

— Зачем вы пугаете всех, ведь вы — добрый?

Против ожидания, он не рассердился.

— Это я только к тебе добрый.

Но тотчас же добавил, простодушно и задумчиво:

— А, пожалуй, верно, я ко всем добрый. Только не показываю этого, нельзя это показывать людям, а то они замордуют [1]. На доброго всякий лезет, как бы на кочку в болоте... И затопчут. Иди, принеси пива...

Выпив бутылку, стакан за стаканом, он обсосал усы и сказал:

— Будь ты, птица, побольше, то я бы многому тебя научил. Мне есть что́ сказать человеку, я не дурак... Ты читай книги, в них должно быть всё, что надо. Это не пустяки, книги! Хочешь пива?

— Я не люблю.

— Добре. И не пей. Пьянство — это горе. Водка — чортово дело. Будь я богатый, погнал бы я тебя учиться. Неучёный человек — бык, его хоть в ярмо [2], хоть на мясо, а он только хвостом мотае... [3]

Капитанша дала ему том Гоголя, я прочитал «Страшную месть», мне это очень понравилось, но Смурый сердито крикнул:

— Ерунда, сказка! Я знаю — есть другие книги...

Отнял у меня книгу, принёс от капитанши другую и угрюмо приказал:

— Читай Тараса... как его? Найди. Она говорит —

---

[1] Замордуют (замордовать) — забьют, замучают.

[2] Ярмо — деревянный хомут для упряжки рабочего скота.

[3] Мотае — мотает.

хорошо... Кому — хорошо? Ей хорошо, а мне, може, и нехорошо? Волосы остригла себе, на! А что ж уши не остригла?

Когда Тарас вызвал Остапа драться, повар густо засмеялся.

— Это — так! А что ж? Ты — учён, а я — силён! Что печатают! Верблюды...

Он слушал внимательно, но часто ворчал:

— А, ерунда! Нельзя же человека разрубить с плеча до сиденья, нельзя! И на пику нельзя поднять — переломится пика! Я ж сам солдат...

Измена Андрия вызвала у него отвращение.

— Подлое чадо, а? Из-за бабы! Тьфу...

Но когда Тарас пристрелил сына, повар, спустив ноги с койки, упёрся в неё руками, согнулся и заплакал, — медленно потекли по щекам слёзы, капая на палубу; он сопел и бормотал:

— А, боже мой... боже мой...

И вдруг заорал на меня:

— Да читай же, чортова кость!

Он снова заплакал и — ещё сильнее и горше, когда Остап перед смертью крикнул: «Батько! Слышишь ли ты?»

— Всё погибло, — всхлипывал Смурый, — всё, а! Уже — конец? Эх, проклятое дело! А были люди. Тарас этот — а? Д-а, это — люди...

Взял у меня из рук книгу и внимательно рассмотрел её, окапав переплёт слезами.

— Хорошая книга! Просто — праздник!

Потом мы читали «Ивангоэ»[1], — Смурому очень понравился Ричард Плантагенет[2].

---

[1] «Ивангоэ» — так озаглавлен старый перевод романа английского писателя Вальтер Скотта (1771—1832) «Айвенго».

[2] Ричард Плантагенет — герой этого романа, английский король Ричард I, Львиное Сердце (1157—1199).

— Это настоящий король! — внушительно говорил он.

Мне книга показалась скучной.

Вообще, мы не сходились во вкусах,—меня очень увлекала «Повесть о Томасе Ионесе» — старинный перевод «Истории Тома Джонса, найдёныша» [1], а Смурый ворчал:

— Хлупость! [2] Что́ мне до него, до Томася? На что он мне сдался? Должны быть иные книги...

Однажды я сказал ему, что мне известно — есть другие книги, подпольные, запрещённые; их можно читать только ночью, в подвалах.

Он вытаращил глаза, ощетинился.

— Ш-шю такое? Шо ты врёшь?

— Я не вру, меня про них поп на исповеди спрашивал, а до того я сам видел, как их читают и плачут...

Повар, угрюмо глядя в лицо мне, спросил:

— Кто плачет?

— Барыня, которая слушала. А другая убежала даже со страху...

— Проснись, бредишь, — сказал Смурый, медленно прикрывая глаза, а помолчав, забормотал:

— Конечно, где-нибудь есть... что-нибудь скрытое. Не быть его — не может... Не таковы мои годы, да и характер мой тож... Ну, а однакож...

Он мог говорить столь красноречиво целый час...

Незаметно для себя, я привык читать и брал книгу с удовольствием; то, о чём рассказывали книги, приятно отличалось от жизни, — она становилась всё тяжелее.

Смурый, тоже увлекаясь чтением всё больше, часто отрывал меня от работы.

— Пешко́в, иди читать.

— У меня немытой посуды много.

— Максим вымоет.

---

[1] «История Тома Джонса, найдёныша» — роман английского писателя Генри Фильдинга (1707—1754).

[2] Хлупость — глупость.

Он грубо гнал старшего посудника на мою работу, тот со зла бил стаканы, а буфетчик смиренно предупреждал меня:

— Ссажу с парохода.

Однажды Максим нарочно положил в таз с грязной водой и спитым чаем несколько стаканов, а я выплеснул воду за борт, и стаканы полетели туда же.

— Это моя вина! — сказал Смурый буфетчику. — Запишите мне.

Буфетная прислуга стала смотреть на меня исподлобья, мне говорили:

— Эй, ты, книгочей![1] Ты за что деньги получаешь?

И старались дать мне работы возможно больше, зря пачкая посуду. Я понимал, что всё это плохо кончится для меня, и не ошибся.

Под вечер с какой-то маленькой пристани к нам на пароход села краснорожая баба с девицей в жёлтом платке и розовой новой кофте. Обе они были выпивши, — баба улыбалась, кланялась всем и говорила на о́, точно дьякон:

— Простите, родные, выпила я немножко! Судили меня, оправдали, вот я на радостях и выпила...

Девушка тоже смеялась, глядя на людей мутными глазами, и толкала бабу:

— А ты иди, чумовая, иди, знай...

Они поместились около рубки[2] второго класса, против каюты, где спал Яков Иванович и Сергей. Баба скоро куда-то исчезла, а к девушке подсел Сергей, жадно растягивая лягушечий рот.

Ночью, когда я, кончив работу, ложился спать на столе, Сергей подошёл ко мне и схватил за руку.

— Иди, мы тебя женим...

---

[1] Книгочей — читающий много книг.

[2] Около рубки (рубка) — около каюты на верхней палубе, где помещается столовая для пассажиров.

Он был пьян. Я попытался вырвать руку, но он ударил меня.

— Иди-и!

Подбежал Максим, тоже пьяный, и вдвоём они потащили меня по палубе к своей каюте, мимо спящих пассажиров. Но у дверей каюты стоял Смурый, в двери, держась за косяки — Яков Иваныч, а девица колотила его по спине кулаками и пьяным голосом кричала:

— Пуститя...

Смурый выдернул меня из рук Сергея и Максима, схватил их за волосы и, стукнув головами, отшвырнул, — они оба упали.

— Азият! — сказал он Якову, захлопнув дверь на нос ему, и загудел, толкая меня:

— Ступай прочь!

Я убежал на корму. Ночь была облачная, река — чёрная; за кормою кипели две серые дорожки, расходясь к невидимым берегам; между этих дорожек тащилась баржа. То справа, то слева являются красные пятна огней и, ничего не осветив, исчезают за неожиданными поворотами берега; после них становится ещё более темно и обидно.

Пришёл повар, сел рядом со мною, вздохнул тяжко и закурил папиросу.

— Они тебя к этой тащили? Эт, поганцы! Я же слышал, как они посягали...

— Вы отняли её у них?

— Её? — Он грубо обругал девицу и продолжал тяжёлым голосом: — Тут все гады. Пароходишко этот — хуже деревни. В деревне жил?

— Нет.

— Деревня — насквозь беда! Особенно зимой...

Бросив окурок за борт, он помолчал и заговорил снова:

— Пропадёшь ты в свином стаде, жалко мне тебя,

кутёнок. И всех жалко. Иной раз не знаю, что сделал бы... даже на колени бы встал и спросил: что ж вы делаете, сукины сыны, а? Что вы, слепые? Верблюды...

Пароход протяжно загудел, буксир шлёпнулся в воду; в густой темноте закачался огонь фонаря, указывая, где пристань, из тьмы спускались ещё огни.

— Пьяный Бор, — ворчал повар. — И река есть — Пьяная. Был каптенармус[1] — Пьянков. И писарь — Запивохин... Пойду на берег...

Крупные камские бабы и девки таскали с берега дрова на длинных носилках. Изгибаясь под лямками, упруго пританцовывая, пара за парой они шли к трюму кочегарни и сбрасывали полсажени поленьев в чёрную яму, звонко выкрикивая:

— Трушша!

Когда они шли с дровами, матросы хватали их за груди, за ноги, бабы визжали, плевали на мужиков; возвращаясь назад, они оборонялись от щипков и толчков ударами носилок. Я видел это десятки раз — каждый рейс[2]: на всех пристанях, где грузили дрова, было то же самое.

Мне казалось, что я старый, живу на этом пароходе много лет и знаю всё, что может случиться на нём завтра, через неделю, осенью, в будущем году.

Уже светало. На песчаном обрыве выше пристани обозначился мощный сосновый лес. В гору, к лесу, шли бабы, смеялись и пели, подвывая; вооружённые длинными носилками, они были похожи на солдат.

Хотелось плакать, слёзы кипели в груди, сердце точно варилось в них; это было больно.

Но плакать — стыдно, и я стал помогать матросу Бляхину мыть палубу.

---

[1] Каптенармус — человек, заведующий всем хозяйством в воинской части.

[2] Рейс — заранее намеченный, определённый путь.

Это был незаметный человечек, Бляхин. Весь какой-то линючий, блёклый, он всё прятался по углам, поблёскивая оттуда маленькими глазками.

— По-настоящему прозвище мне не Бляхин, а... Потому, видишь ты, — мать у меня была распутной жизни. Сестра есть, так и сестра тоже. Такая, стало быть, назначена судьба обеим им. Судьба, братаня, всем нам — якорь. Ты б пошёл, ан — погоди...

И теперь, шаркая шваброй[1] по палубе, он говорил мне тихонько:

— Видал, как бабов забижают? То-то вот! И сырое полено долго поджигать — загорится! Не люблю я этого, братаня, не уважаю. И родись я бабой — утопился бы в чёрном омуте, вот тебе Христос святой порукой!.. И так воли нет никому, а тут ещё зажигают!

Мимо нас прошла по лужам капитанша, высоко подбирая юбки; она всегда вставала рано. Высокая, стройная, и такое простое, ясное лицо у неё... Захотелось побежать за нею и просить всей душой:

— Скажите мне что-нибудь, скажите!..

Пароход медленно отвалил от пристани, а Бляхин сказал, крестясь:

— Поехали...

VI

В Сарапуле Максим ушёл с парохода — ушёл молча, ни с кем не простясь, серьёзный и спокойный. За ним, усмехаясь, сошла весёлая баба, а за нею — девица, измятая, с опухшими глазами. Сергей же долго стоял на коленях перед каютой капитана, целовал филёнку[2] двери, стукался в неё лбом и взывал:

---

[1] Шваброй (швабра) — метлой из мочалы.

[2] Филёнку (филёнка) — тонкую доску или фанеру, вставленную в раму двери.

— Простите меня, я не виноват! Это — Максимка...

Матросы, буфетная прислуга, даже некоторые пассажиры знали, что он врёт, но поощрительно советовали:

— Валяй, валяй — простит!

Капитан гнал его прочь, даже толкнул ногой, так что Сергей опрокинулся, но всё-таки простил. И Сергей тотчас же забегал по палубе, разнося подносы с посудой для чая, по-собачьи искательно заглядывая людям в глаза.

На место Максима взяли с берега вятского солдатика, костлявого, с маленькой головкой и рыжими глазами. Помощник повара тотчас послал его резать кур; солдатик зарезал пару, а остальных распустил по палубе; пассажиры начали ловить их, — три курицы перелетели за борт. Тогда солдатик сел на дрова около кухни и горько заплакал.

— Ты что, дурак? — изумлённо спросил его Смурый. — Разве солдаты плачут?

— Я — нестроевой роты, — тихонько сказал солдат.

Это погубило его, — через полчаса все люди на пароходе хохотали над ним; подойдут вплоть к нему, уставятся глазами прямо в лицо, спросят:

— Этот?

И затрясутся в судорогах обидного, нелепого смеха.

Солдат сначала не видел людей, не слышал смеха; собирая слёзы с лица рукавом ситцевой старенькой рубахи, он словно прятал их в рукав. Но скоро его рыжие глазки гневно разгорелись, и он заговорил вятской сорочьей скороговоркой:

— Што вылупили шары-те на меня? Ой, да чтоб вас разорвало на кусочки...

Это ещё более развеселило публику, солдата начали тыкать пальцами, дёргать за рубаху, за фартук, играя с ним, точно с козлом, и так травили его до обеда, а пообедав, кто-то надел на ручку деревянной ложки кусок

выжатого лимона и привязал за спиной солдата к тесёмкам его фартука; солдат идёт, ложка болтается сзади него, все хохочут, а он — суетится, как пойманный мышонок, не понимая, что вызывает смех.

Смурый следит за ним молча, серьёзно, лицо у повара сделалось бабьим.

Мне стало жалко солдата, я спросил повара:

— Можно сказать ему про ложку?

Он молча кивнул головой.

Когда я объяснил солдату, над чем смеются, он быстро нащупал ложку, оторвал её, бросил на пол, раздавил ногой и вцепился в мои волосы обеими руками; мы начали драться, к великому удовольствию публики, тотчас окружившей нас.

Смурый расшвырял зрителей, рознял нас и, натрепав уши сначала мне, схватил за ухо солдата. Когда публика увидала, как этот маленький человек трясёт головой и танцует под рукою повара, она неистово заорала, засвистала, затопала ногами, раскалываясь от хохота.

— Ура, гарнизон! Дай повару головой в брюхо!

Эта дикая радость стада людей возбуждала у меня желание броситься на них и колотить по грязным башкам поленом.

Смурый выпустил солдата и, спрятав руки за спину, пошёл на публику кабаном, ощетинившись, страшно оскалив зубы.

— По местам — марш! Аз-зияты...

Солдат снова бросился на меня, но Смурый одной рукой схватил его в охапку, снёс на отвод и начал качать воду, поливая голову солдата, повёртывая его тщедушное тело, точно куклу из тряпок.

Прибежали матросы, боцман, помощник капитана, снова собралась толпа людей; на голову выше всех стоял буфетчик, тихий и немой, как всегда.

Солдат, присев на дрова около кухни, дрожащими

руками снял сапоги и начал отжимать онучи, но они были сухи, а с его жиденьких волос капала вода, — это снова рассмешило публику.

— Всё едино, — сказал солдат тонко и высоко, — убью мальчишку!

Придерживая меня за плечо, Смурый что-то говорил помощнику капитана, матросы разгоняли публику, и когда все разошлись, повар спросил солдата:

— Что же с тобой делать?

Тот промолчал, глядя на меня дикими глазами и весь странно дёргаясь.

— Смир-рно, кликуша! — сказал Смурый.

Солдат ответил:

— Дудочки, это тебе не в роте.

Я видел, что повар сконфузился, его надутые щёки дрябло опустились, он плюнул и пошёл прочь, уводя меня с собою; ошалевший, я шагал за ним и всё оглядывался на солдата, а Смурый недоуменно бормотал:

— Эт, цаца [1] какая, а? Извольте вам...

Нас догнал Сергей и почему-то шопотом сказал:

— Он зарезаться хочет!

— Где? — рявкнул Смурый и побежал.

Солдат стоял в двери каюты для прислуги с большим ножом в руках, — этим ножом отрубали головы курам, кололи дрова на растопку, он был тупой и выщерблен, как пила. Перед каютой стояла публика, разглядывая маленького смешного человечка с мокрой головой; курносое лицо его дрожало, как студень, рот устало открылся, губы прыгали. Он мычал:

— Мучители... му-учители...

Вскочив на что-то, я смотрел через головы людей в их лица, — люди улыбались, хихикали, говорили друг другу:

— Гляди, гляди...

[1] Цаца — недотрога, слишком важничающий.

Когда он стал сухонькой детской ручкой заправлять в штаны выбившуюся рубаху, благообразный мужчина рядом со мною сказал, вздохнув:

— Умирать собрался, а штаны поправляет...

Публика засмеялась громче. Было ясно: никто не верит, что солдат может зарезаться, — не верил и я, а Смурый, мельком взглянув на него, стал толкать людей своим животом, приговаривая:

— Пошёл прочь, дурак!

Он называл дураком многих сразу, — подойдёт к целой кучке людей и кричит на них:

— По местам, дурак!

Это было тоже смешно, однако казалось верным: сегодня с утра все люди — один большой дурак.

Разогнав публику, он подошёл к солдату, протянул руку.

— Дай сюда нож...

— Всё едино, — сказал солдат, протягивая нож остриём; повар сунул нож мне и толкнул солдата в каюту.

— Ляг и спи! Ты что́ такое, а?

Солдат молча сел на койку.

— Он тебе есть принесёт и водки, — пьёшь водку?

— Немножко пью...

— Ты, смотри, не трогай его — это не он посмеялся над тобой, слышишь? Я говорю — не он...

— А зачем меня мучили? — тихонько спросил солдат.

Смурый не сразу и угрюмо отозвался:

— Ну, а я знаю?

Идя со мною в кухню, он бормотал:

— Н-на... действительно, привязались к убогому! Видишь — как? То-то! Люди, брат, могут с ума свести, могут... Привяжутся, как клопы, и — шабаш! Даже куда там клопы! Злее клопов...

Когда я принёс солдату хлеба, мяса и водки, он сидел на койке, покачивался взад и вперёд и плакал тихонько,

всхлипывая, как баба. Поставив тарелку на столик, я сказал:

— Ешь...

— Затвори дверь.

— Темно будет.

— Затвори, а то они опять прилезут...

Я ушёл. Солдат был неприятен мне, он не возбуждал сострадания и жалости у меня. Это было неловко, — бабушка многократно поучала меня:

— Людей надо жалеть, все несчастны, всем трудно...

— Отнёс? — спросил меня повар. — Ну, что он там?

— Плачет.

— Эт... мешок! Какой он солдат?

— Мне его не жалко.

— Ну? Что́ такое?

— Людей надо жалеть...

Смурый взял меня за руку, подтянул к себе и внушительно сказал:

— Насильно не пожалеешь, а врать не годится, — понял? Ты не привыкай кисели разводить [1], знай сам себя...

И, оттолкнув, прибавил угрюмо:

— Не место тебе здесь! На, покури...

Я был глубоко взволнован, весь измят поведением пассажиров, чувствуя нечто невыразимо оскорбительное и подавляющее в том, как они травили солдата, как радостно хохотали, когда Смурый трепал его за ухо. Как могло нравиться им всё это противное, жалкое, что́ тут смешило их столь радостно?

Вот они снова расселись, разлеглись под низким тентом [2], — пьют, жуют, играют в карты, мирно и солидно беседуя, смотрят на реку, точно это не они свистели и

---

[1] Кисели разводить — здесь: быть бесхарактерным.

[2] Под низким тентом (тент) — под низким парусиновым навесом, устроенным для защиты от солнца, дождя.

улюлюкали[1] час тому назад. Все они такие же тихие, ленивые, как всегда; с утра до вечера они медленно толкутся на пароходе, как мошки или пылинки в лучах солнца. Вот десяток людей, толкаясь у сходен[2] и крестясь, уходит с парохода на пристань, а с пристани прямо на них лезут ещё такие же люди, так же согнули спины под тяжестью котомок и сундуков, так же одеты...

Эта постоянная смена людей ничего не изменяет в жизни парохода, — новые пассажиры будут говорить о том же, о чём говорили ушедшие: о земле, о работе, о боге, о бабах, и теми же словами.

— Положено господом богом терпеть, и терпи, человек! Ничего не поделаешь, такая наша судьба...

Эти слова скучно слушать, и они раздражают: я не терплю грязи, я не хочу терпеть злое, несправедливое, обидное отношение ко мне; я твёрдо знаю, чувствую, что не заслужил такого отношения. И солдат не заслужил. Может быть — он сам хочет быть смешным...

Прогнали с парохода Максима — это был серьёзный, добрый парень, а Сергея, человека подлого, оставили. Всё это — не так. А почему эти люди, способные затравить человека, довести его почти до безумия, всегда покорно подчиняются сердитым окрикам матросов, безобидно выслушивают ругательства?..

И много было такого, что, горячо волнуя, не позволяло понять людей — злые они или добрые? смирные или озорники? И почему именно так жестоко, жадно злы, так постыдно смирны?

Я спрашивал об этом повара, но он, окружая лицо своё дымом папиросы, говорил нередко с досадой:

— Эх, что́ тебя щекотит! Люди, ну, и люди... Один —

---

[1] Улюлюкали (улюлюкать) — кричали «улюлю», как при травле зверя.

[2] У сходен (сходни) — у мостков из досок, устроенных для спуска пассажиров с парохода на берег.

умный, другой — дурак. Ты читай книжки, а не бормочи. В книжках, когда они правильные, должно быть всё сказано...

Церковных книг и житий он не любил.

— Ну, это для попов, для поповых сынов...

Мне захотелось сделать ему приятное — подарить книгу. В Казани на пристани я купил за пятачок «Предание о том, как солдат спас Петра Великого», но в тот час повар был пьян, сердит, я не решился отдать ему подарок и сначала сам прочитал «Предание». Оно мне очень понравилось, — всё так просто, понятно, интересно и кратко. Я был уверен, что эта книга доставит удовольствие моему учителю.

Но когда я поднёс ему книгу, он молча смял её ладонями в круглый ком и швырнул за борт.

— Вот как твою книгу, дурень! — сказал он угрюмо. — Я ж тебя учу, как собаку, а ты всё хочешь дичь жрать, а?

Топнул ногой и заорал:

— Это какая книга? Я глупости все уж читал! Что в ней написано — правда? Ну, говори!

— Не знаю.

— Так я знаю! Когда человеку отрубить голову, он упадёт с лестницы вниз, и другие уж не полезут на сеновал — солдаты не дураки! Они бы подожгли сено и — шабаш! Понял?

— Понял.

— То-то ж! Я знаю про царя Петра — этого с ним не было! Пошёл прочь...

Я понимал, что повар прав, но книжка всё-таки нравилась мне; купив ещё раз «Предание», я прочитал его вторично и с удивлением убедился, что книжка, действительно, плохая. Это смутило меня, и я стал относиться к повару ещё более внимательно и доверчиво, а он почему-то всё чаще, с большей досадой говорил:

— Эх, как бы надо учить тебя! Не место тебе здесь...

Я тоже чувствовал — не место. Сергей относился ко мне отвратительно; я несколько раз замечал, что он таскает у меня со стола чайные приборы и подаёт их пассажирам потихоньку от буфетчика. Я знал, что это считается воровством, — Смурый не однажды предупреждал меня:

— Смотри, не давай официантам чайной посуды со своего стола!

Было и ещё много плохого для меня, часто мне хотелось убежать с парохода на первой же пристани, уйти в лес. Но удерживал Смурый: он относился ко мне всё мягче, — и меня страшно пленяло непрерывное движение парохода. Было неприятно, когда он останавливается у пристани, и я всё ждал — вот случится что-то, и мы поплывём из Камы в Белую, в Вятку, а то — по Волге, я увижу новые берега, города, новых людей.

Но этого не случилось — моя жизнь на пароходе оборвалась неожиданно и постыдно для меня. Вечером, когда мы ехали из Казани к Нижнему, буфетчик позвал меня к себе, я вошёл, он притворил дверь за мною и сказал Смурому, который угрюмо сидел на ковровой табуретке:

— Вот.

Смурый грубо спросил меня:

— Ты даёшь Серёжке приборы?

— Он сам берёт, когда я не вижу.

Буфетчик тихонько сказал:

— Не видит, а знает.

Смурый ударил себя по колену кулаком, потом почесал колено, говоря:

— Постойте, успеете...

И задумался. Я смотрел на буфетчика, он — на меня, но казалось, что за очками у него нет глаз.

Он жил тихо, ходил бесшумно, говорил пониженным голосом. Иногда его выцветшая борода и пустые глаза высовывались откуда-то из-за угла и тотчас исчезали. Перед сном он долго стоял в буфете на коленях у образа с неугасимой лампадой, — я видел его сквозь глазок двери, похожий на червонного туза[1], но мне не удалось видеть, как молится буфетчик: он просто стоял и смотрел на икону и лампаду, вздыхая, поглаживая бороду.

Помолчав, Смурый спросил:

— Серёжка давал тебе денег?

— Нет.

— Никогда?

— Никогда.

— Он не соврёт, — сказал Смурый буфетчику, а тот негромко ответил:

— Всё равно. Пожалуйста.

— Идём! — крикнул мне повар, подошёл к моему столу и легонько щёлкнул меня пальцем в темя. — Дурак! И я — дурак! Мне надо было следить за тобой...

В Нижнем буфетчик рассчитал меня: я получил около восьми рублей — первые крупные деньги, заработанные мною.

Смурый, прощаясь со мною, угрюмо говорил:

— Н-ну, вот... Теперь гляди в оба, — понимаешь? Рот разевать нельзя...

Он сунул мне в руку пёстрый бисерный кисет.

— На-ко, вот тебе! Это хорошее рукоделье, это мне крестница вышила... Ну, прощай! Читай книги — это самое лучшее!

Взял меня подмышки, приподнял, поцеловал и крепко поставил на палубу пристани. Мне было жалко и его и себя; я едва не заревел, глядя, как он возвращается на

---

[1] Похож на червонного туза — на очко в виде красного сердечка, изображённое на игральной карте.

пароход, расталкивая крючников, большой, тяжёлый, одинокий...

Сколько потом встретил я подобных ему добрых, одиноких, отломившихся от жизни людей...

VII

Дед и бабушка снова переехали в город. Я пришёл к ним настроенный сердито и воинственно, на сердце было тяжело, — за что меня сочли вором?

Бабушка встретила меня ласково и тотчас ушла ставить самовар; дед насмешливо, как всегда, спросил:

— Много ли золота накопил?

— Сколько есть — всё моё, — ответил я, садясь у окна. Торжественно вынул из кармана коробку папирос и важно закурил.

— Та-ак, — сказал дед, пристально всматриваясь в мои действия, — вот оно что! Чортово зелье куришь? Не рано ли?

— Мне вот даже кисет подарили, — похвастал я.

— Кисет! — завизжал дедушка. — Ты что́, дразнишь меня?

Он бросился ко мне, вытянув тонкие, крепкие руки, сверкая зелёными глазами; я вскочил, ткнул ему головой в живот, — старик сел на пол и несколько тяжёлых секунд смотрел на меня, изумлённо мигая, открыв тёмный рот, потом спросил спокойно:

— Это ты меня толкнул, деда? Матери твоей родного отца?

— Довольно уж вы меня били, — пробормотал я, поняв, что сделал отвратительно.

Сухонький и лёгкий, дед встал с пола, сел рядом со мною, ловко вырвал папиросу у меня, бросил её за окно и сказал испуганным голосом:

— Дикая башка, понимаешь ли ты, что это тебе никогда богом не простится, во всю твою жизнь? Мать, — обратился он к бабушке, — ты гляди-ка, он меня ударил ведь? Он! Ударил. Спроси-ка его!

Она не стала спрашивать, а просто подошла ко мне и схватила за волосы, начала трепать, приговаривая:

— А за это — вот как его, вот как...

Было не больно, но нестерпимо обидно, и особенно обижал ехидный смех деда, — он подпрыгивал на стуле, хлопая себя ладонями по коленям, и каркал сквозь смех:

— Та-ак, та-ак...

Я вырвался, выскочил в сени, лёг там в углу, подавленный, опустошённый, слушая, как гудит самовар.

Подошла бабушка, наклонилась надо мной и чуть слышно шепнула:

— Ты меня прости, ведь я не больно потрепала тебя, я ведь нарочно! Иначе нельзя, — дедушка-то старик, его надо уважить, у него тоже косточки наломаны [1], ведь он тоже горя хлебнул полным сердцем [2], — обижать его не надо. Ты не маленький, ты поймёшь это... Надо понимать, Олёша! Он — тот же ребёнок, не боле того...

Слова её омывали меня, точно горячей водой, от этого дружеского шопота становилось и стыдно и легко, я крепко обнял её, мы поцеловались.

— Иди к нему, иди, ничего! Только не кури при нём сразу-то, дай привыкнуть...

Я вошёл в комнату, взглянул на деда и едва удержался от смеха — он действительно был доволен как ребёнок, весь сиял, сучил ногами [3] и колотил лапками в рыжей шерсти по столу.

---

[1] Косточки наломаны — измучен, устал.

[2] Горя хлебнул полным сердцем — узнал много горя.

[3] Сучил (сучить) ногами — перебирал ногами, задевая одной другую.

— Что, козёл? Опять бодаться пришёл? Ах ты, разбойник! Весь в отца! Фармазон [1], вошёл в дом — не перекрестился, сейчас табак курить, ах ты, Бонапарт [2], цена-копейка!

Я молчал. Он истёк словами [3] и тоже замолчал устало, но за чаем начал поучать меня:

— Страх пред богом человеку нужен, как узда коню. Нет у нас друга, кроме господа! Человек человеку — лютый враг!

Что люди — враги, в этом я чувствовал какую-то правду, а всё остальное не трогало меня.

— Теперь опять иди к тётке Матрёне, а весной — на пароход. Зиму-то проживи у них. А не сказывай, что весной уйдёшь от них...

— Ну, зачем же обманывать людей? — сказала бабушка, только что обманув деда притворной трёпкой, данной мне.

— Без обмана не проживёшь, — настаивал дед, — ну-ка, скажи — кто живёт без обману?

Вечером, когда дед сел читать Псалтирь, я с бабушкой вышел за ворота, в поле; маленькая, в два окна, хибарка [4], в которой жил дед, стояла на окраине города, «на задах» [5] Канатной улицы, где когда-то у деда был свой дом.

---

[1] Фармазон — искажённое слово «франкмасон» — член тайной религиозно-политической организации, возникшей в XVIII веке; в быту фармазонами называли безбожников, вольнодумцев; в просторечии слово это получило бранное значение.

[2] Бонапарт — фамилия Наполеона I. Употребляется как бранное слово; такое словоупотребление возникло в эпоху Отечественной войны 1812 года, когда имя французского императора вызывало в русском народе чувство ненависти и презрения.

[3] Истёк словами — выговорился, сказал всё, что хотел, и замолчал.

[4] Хибарка — избёнка, лачуга.

[5] На задах; зады — часть селения позади домов, задворки.

— Вот куда заехали! — посмеиваясь, говорила бабушка. — Не может старик места по душе себе найти, всё переезжает. И здесь не хорошо ему, а мне — хорошо!

Перед нами раскинулось версты на три скудное дерновое поле, изрезанное оврагами, ограниченное гребнем леса, линией берёз казанского тракта [1]. Из оврагов высунулись розгами ветки кустарника, лучи холодного заката окрасили их кровью. Тихий вечерний ветер качал серые былинки; за ближним оврагом, — тоже как былинки, — маячили тёмные фигуры мещанских парней и девиц. Вдали, направо, стояла красная стена старообрядческого кладбища [2], его звали «Бугровский скит», налево, над оврагом, поднималась с поля тёмная группа деревьев, там — еврейское кладбище. Всё вокруг бедно, всё безмолвно прижималось к израненной земле. Маленькие домики окраины города робко смотрели окнами на пыльную дорогу, по дороге бродят мелкие, плохо кормленные куры. У Девичьего монастыря идёт стадо, мычат коровы; из лагеря доносится военная музыка — ревут и ухают медные трубы.

Идёт пьяный, жестоко растягивая гармонику, спотыкается и бормочет:

— Я дойду до тебя... обязательно...

— Дурачок, — щурясь на красное солнце, говорит бабушка, — куда тебе дойти? Упадёшь скоро, уснёшь, а во сне тебя оберут... И гармония, утеха твоя, пропадёт...

Я рассказываю ей, как жил на пароходе, и смотрю вокруг. После того, что я видел, здесь мне грустно, я чувствую себя ершом на сковороде. Бабушка слушает молча и внимательно, так же, как я люблю слушать её,

---

[1] Казанского тракта (казанский тракт) — большой дороги на Казань.

[2] Старообрядческого кладбища (кладбище) — кладбища старообрядцев, староверов, соблюдавших старые обряды.

и когда я рассказал о Смуром, она, истово перекрестясь, говорит:

— Хороший человек, помоги ему богородица, хороший! Ты, гляди, не забывай про него! Ты всегда хорошее крепко помни, а что плохо — просто забывай...

Мне очень трудно было рассказать ей, почему меня рассчитали, но скрепя сердце я рассказал. Это не произвело на неё никакого впечатления, она только заметила равнодушно:

— Мал ты ещё, не умеешь жить...

— Вот, все говорят друг другу: не умеешь жить, — мужики, матросы, — тётка Матрёна — сыну; а что́ надо уметь?

Поджав губы, она покачала головой.

— Уж этого я не знаю!

— А тоже говоришь!

— Отчего не сказать? — спокойно молвила бабушка. — Ты не обижайся, ты еще маленький, тебе и не должно уметь. Да и кто умеет? Одни жулики. Вон, дедушка-то и умён и грамотен, а тоже ничего не сумел...

— Ты сама-то хорошо жила?

— Я? Хорошо. И плохо жила — всяко...

Мимо нас, не спеша, проходили люди, влача за собою длинные тени, дымом вставала пыль из-под ног, хороня эти тени. Вечерняя грусть становилась всё тяжелей, из окон изливался ворчливый голос деда:

— Господи, да не яростию твоею обличиши мене, ниже гневом твоим накажеши мене...

Бабушка сказала, улыбаясь:

— Надоел же он богу-то, поди! Каждый вечер скулит, а о чём? Ведь уж старенький, ничего не надо, а всё жалуется, всё топорщится... Бог-от, чай, прислушается к вечерним голосам, да и усмехнётся: опять Василий Каширин бубнит!.. Пойдём-ка спать...

Я решил заняться ловлей певчих птиц; мне казалось, что это хорошо прокормит: я буду ловить, а бабушка — продавать. Купил сеть, круг, западни, наделал клеток, и вот, на рассвете, я сижу в овраге, в кустах, а бабушка с корзинкой и мешком ходит по лесу, собирая последние грибы, калину, орехи.

Только что поднялось усталое сентябрьское солнце; его белые лучи то гаснут в облаках, то серебряным веером падают в овраг ко мне. На дне оврага ещё сумрачно, оттуда поднимается белесый туман; крутой глинистый бок оврага тёмен и гол, а другая сторона, более пологая, прикрыта жухлой травой, густым кустарником в жёлтых, рыжих и красных листьях; свежий ветер срывает их и мечет по оврагу.

На дне, в репьях, кричат щеглята, я вижу в серых отрепьях бурьяна[1] алые чепчики на бойких головках птиц. Вокруг меня щёлкают любопытные синицы; смешно надувая белые щёки, они шумят и суетятся, точно молодые кунавинские мещанки в праздник; быстрые, умненькие, злые, они хотят всё знать, всё потрогать — и попадают в западню одна за другою. Жалко видеть, как они бьются, но моё дело торговое, суровое; я пересаживаю птиц в запасные клетки и прячу в мешок, — во тьме они сидят смирно.

На куст боярышника опустилась стая чижей, куст облит солнцем, чижи рады солнцу и щебечут ещё веселей; по ухваткам они похожи на мальчишек-школьников. Жадный, домовитый сорокопут запоздал улететь в тёплые края, сидит на гибкой ветке шиповника, чистит носом перья крыла и зорко высматривает добычу чёрными глазами. Вспорхнул вверх жаворонком, поймал шмеля, заботливо насадил его на шип и снова сидит, вращая се-

---

[1] В серых отрепьях (отрепья) бурьяна — здесь: в серых и грязных листьях сорной травы.

рой, вороватой головкой. Бесшумно пролетела вещая птица щур, предмет жадных мечтаний моих, — вот бы поймать! Снегирь, отбившийся от стаи, сидит на ольхе, красный, важный, как генерал, и сердито поскрипывает, качая чёрным носом.

Чем выше солнце, тем больше птиц и веселее их щебет. Весь овраг наполняется музыкой, её основной тон — непрерывный шелест кустарника под ветром; задорные голоса птиц не могут заглушить этот тихий, сладкогрустный шум, — я слышу в нём прощальную песнь лета, он нашёптывает мне какие-то особенные слова, и они сами собою складываются в песню. А в то же время память, помимо воли моей, восстановляет картины прожитого.

Откуда-то сверху кричит бабушка:

— Ты — где?

Она сидит на краю оврага, разостлала платок, разложила на нём хлеб, огурцы, репу, яблоки; среди всей этой благостыни стоит, блестя на солнце, маленький, очень красивый гранёный графин с хрустальной пробкой — головой Наполеона, в графине — шкалик водки, настоенной на зверобое.

— Хорошо-то как, господи! — благодарно говорит бабушка.

— А я песню сложил!

— Да ну?

Я говорю ей что-то похожее на стихи:

— Всё ближе зима, всё заметнее,
Прощай, моё солнышко летнее!..

Но она, не дослушав меня, перебивает:

— Такая песня — есть, только она — лучше!

И нараспев говорит:

— Ой, уходит солнце летнее
В тёмны ночи, за далёкие леса!

Эх, осталася я, девушка,
Без весенней моей радости, одна...
Выйду ль утром за околицу,
Вспомню майские гулянки мои, —
Поле чистое нерадостно глядит, —
Потеряла я в нём молодость свою.
Ой, подруженьки, любезные мои!
Уж как выпадет да первый лёгкий снег, —
Выньте сердце из белой моей груди,
Схороните моё сердце во снегу!

Моё авторское самолюбие нимало не страдает, мне очень нравится песня и очень жалко девушку.

А бабушка говорит:

— Вот как горе поётся! Это, видишь, девица сложила, погуляла она с весны-то, а к зиме мил-любовник бросил её, может, к другой отошёл, и восплакала она от сердечной обиды... Чего сам не испытаешь — про то хорошо-верно не скажешь, а она, видишь, как хорошо составила песню!

Когда она впервые продала птиц на сорок копеек, это очень удивило её.

— Гляди-ко ты! Я думала — пустое дело, мальчишья забава, а оно вон как обернулось!

— Дёшево ещё продала...

— Да ну?

В базарные дни она продавала на рубль и более, и всё удивлялась: как много можно заработать пустяками!

— А женщина целый день стирает бельё или полы моет по четвертаку в день, вот и пойми! А ведь нехорошо это! И птиц держать в клетках нехорошо. Брось-ка ты это, Олёша!

Но я очень увлёкся птицеловством, оно мне нравилось и, оставляя меня независимым, не причиняло неудобств никому, кроме птиц. Я обзавелся хорошими снастями; беседы со старыми птицеловами многому научили

меня, — я один ходил ловить птиц почти за тридцать вёрст, в Кстовский лес, на берег Волги, где в мачтовом сосняке водились клесты и ценимые любителями синицы-аполлоновки — длиннохвостые белые птички редкой красоты.

Бывало — выйдешь с вечера и всю ночь шлёпаешь по казанскому тракту, иногда — под осенним дождём, по глубокой грязи. За спиною обшитый клеёнкой мешок, в нём садки и клетки с приманочной птицей. В руке солидная ореховая палка. Холодновато и боязно в осенней тьме, очень боязно!.. Стоят по сторонам дороги старые, битые громом берёзы, простирая над головой моей мокрые сучья; слева, под горой, над чёрной Волгой, плывут, точно в бездонную пропасть уходя, редкие огоньки на мачтах последних пароходов и барж, бухают колёса по воде, гудят свистки.

С чугунной земли встают избы придорожных деревень, подкатываются под ноги сердитые, голодные собаки, сторож бьёт в било [1] и пугливо кричит:

— Кто идёт? Кого черти носят — не к ночи будь сказано?

Я очень боялся, что у меня отнимут снасти, и брал с собою для сторожей пятаки. В деревне Фокиной сторож подружился со мной и всё ахал:

— Опять идёшь? Ах ты, бесстрашный, непокойный житель ночной, а?

Звали его Нифонт, был он маленький, седенький, похожий на святого, часто он доставал из-за пазухи репу, яблоко, горсть гороху и совал мне в руки, говоря:

— На-ко, друг, я те гостинцу припас, покушай в сладость.

И провожал меня до околицы.

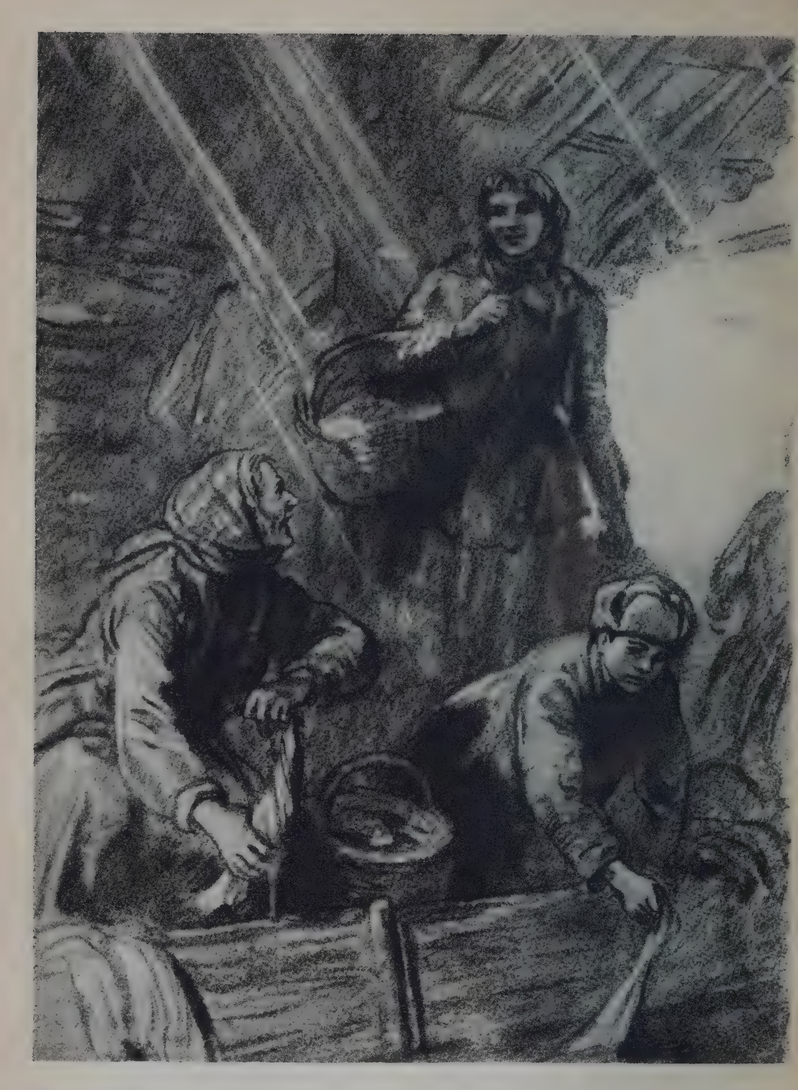
— Айда, с богом!

В лес я приходил к рассвету, налаживал снасти, раз-

[1] В било (било) — в металлическую доску.



К стр. 96



К стр. 121

вешивал манков[1], ложился на опушке леса и ждал, когда придёт день. Тихо. Всё вокруг застыло в крепком осеннем сне; сквозь сероватую мглу чуть видны под горою широкие луга; они разрезаны Волгой, перекинулись через неё и расплылись, растаяли в туманах. Далеко, за лесами луговой стороны, восходит, не торопясь, посветлевшее солнце, на чёрных гривах лесов вспыхивают огни, и начинается странное, трогающее душу движение: всё быстрее встаёт туман с лугов и серебрится в солнечном луче, а за ним поднимаются с земли кусты, деревья, стога сена, луга точно тают под солнцем и текут во все стороны, рыжевато-золотые. Вот солнце коснулось тихой воды у берега, — кажется, что вся река подвинулась, подалась туда, где окунулось солнце. Восходя всё выше, оно, радостное, благословляет, греет оголённую, озябшую землю, а земля кадит сладкими запахами осени. Прозрачный воздух показывает землю огромной, бесконечно расширяя её. Всё плывёт вдаль и манит дойти до синих краёв земли. Я видел восход солнца в том месте десятки раз, и всегда предо мною рождался новый мир, по-новому красивый...

Я как-то особенно люблю солнце, мне нравится самое имя его, сладкие звуки имени, звон, скрытый в них; люблю, закрыв глаза, подставить лицо горячему лучу, поймать его на ладонь руки, когда он проходит мечом сквозь щель забора или между ветвей. Дедушка очень почитает «князя Михаила Черниговского и болярина Феодора, не поклонившихся солнцу»[2], — эти люди кажутся мне чёрными, как цыгане, угрюмыми, злыми, и у

---

[1] Развешивал манков (манки) — развешивал клетки с птицами для приманки.

[2] Не поклонившихся солнцу. — Черниговский князь Михаил Всеволодович и его болярин (боярин) Фёдор в 1264 году были убиты татарами в Золотой Орде за отказ поклониться их божествам.

них всегда больные глаза, как у бедной мордвы. Когда солнце поднимется над лугами, я невольно улыбаюсь от радости.

Надо мною звенит хвойный лес, отряхая с зелёных лап капли росы; в тени, под деревьями, на узорных листьях папоротника сверкает серебряной парчой иней утреннего заморозка. Порыжевшая трава примята дождями, склонённые к земле стебли неподвижны, но когда на них падает светлый луч — заметен лёгкий трепет в травах, быть может последнее усилие жизни.

Проснулись птицы; серые московки пуховыми шариками падают с ветки на ветку, огненные клесты крошат кривыми носами шишки на вершинах сосен, на конце сосновой лапы качается белая аполлоновка, взмахивая длинными рулевыми перьями, чёрный бисерный глазок недоверчиво косится на сеть, растянутую мной. И как-то вдруг слышишь, что уже весь лес, за минуту важно задумчивый, налился сотнями птичьих голосов, наполнен хлопотами живых существ, чистейших на земле, — по образу их человек, отец красоты земной, создал в утешение себе эльфов[1], херувимов, серафимов и весь ангельский чин[2].

Мне немножко жалко ловить пичужек, совестно сажать их в клетки, мне больше нравится смотреть на них, но охотничья страсть и желание заработать деньги побеждают сожаление.

Птицы смешат меня своими хитростями: лазоревая синица внимательно и подробно осмотрела западню, поняла, чем она грозит ей, и, зайдя сбоку, безопасно, ловко таскает семя сквозь палочки западни. Синицы очень ум-

---

[1] Эльфов (эльфы) — чудесных воздушных существ, о которых говорится в германских и скандинавских легендах.

[2] Ангельский чин. — По представлениям христиан, ангелы, составляющие небесное воинство, делятся на девять чинов; к высшим чинам принадлежат серафимы и херувимы.

ны, но они слишком любопытны, и это губит их. Важные снегири — глуповаты: они идут в сеть целой стаей, как сытые мещане в церковь; когда их накроешь, они очень удивлены, выкатывают глаза и щиплют пальцы толстыми клювами. Клёст идёт в западню спокойно и солидно; поползень, неведомая, ни на кого не похожая птица, долго сидит перед сетью, поводя длинным носом, опираясь на толстый хвост; он бегает по стволам деревьев, как дятел, всегда сопровождая синиц. В этой дымчатой пичужке есть что-то жуткое, она кажется одинокой, никто её не любит, и она никого. Она, как сорока, любит воровать и прятать мелкие блестящие вещи.

К полудню я кончаю ловлю, иду домой лесом и полями, — если итти большой дорогой, через деревни, мальчишки и парни отнимут клетки, порвут и поломают снасть, — это уж было испытано мною.

Я прихожу к вечеру усталый, голодный, но мне кажется, что за день я вырос, узнал что-то новое, стал сильнее. Эта новая сила даёт мне возможность слушать злые насмешки деда спокойно и беззлобно; видя это, дед начинал говорить толково, серьёзно:

— Бросай пустые-то дела, брось! Через птиц никто в люди не выходил, не было такого случая, я знаю! Избери-ка ты себе место и рости на нём свой разум. Человек не для пустяков живёт, он — богово зерно, он должен дать колос зёрен добрых! Человек — вроде рубля: перевернулся в хорошем обороте — три целковых стало! Думаешь, легко жить-то? Нет, очень не легко! Мир человеку — тёмная ночь, каждый сам себе светить должен. Всем дано по десятку пальцев, а всякий хочет больше взять своими-то руками. Надо явить силу, а нет силы — хитрость; кто мал да слаб, тот — ни в рай, ни в ад! Живи будто со всеми, а помни, что — один; всякого слушай, никому не верь; наглаз поверишь, криво отмеришь. Помалкивай, — дома́ да города строят не языком, а руб-

лём да топором. Ты не башкирец, не калмык, у коих всё богатство — вши да овцы...

Он мог говорить этими словами целый вечер, и я знал их напамять. Слова нравились мне, но к смыслу их я относился недоверчиво. Из его слов было ясно, что человеку мешают жить, как он хочет, две силы: бог и люди.

Сидя у окна, бабушка сучила нитки для кружев; жужжало веретено в её ловких руках, она долго слушала дедову речь молча и вдруг говорила:

— Всё будет так, как матерь божия улыбнётся.

— Чего это? — кричал дед. — Бог! Я про бога не забыл, я бога знаю! Дура старая, чтó бог-то дураков на землю посеял, что ли?

...Мне казалось, что лучше всех живут на земле казаки и солдаты; жизнь у них — простая, весёлая. В хорошую погоду они рано утром являлись против нашего дома, за оврагом, усеяв голое поле, точно белые грибы, и начинали сложную, интересную игру: ловкие, сильные, в белых рубахах, они весело бегали по полю с ружьями в руках, исчезали в овраге и вдруг, по зову трубы, снова высыпавшись на поле, с криками «ура», под зловещий бой барабанов, бежали прямо на наш дом, ощетинившись штыками, и казалось, что сейчас они сковырнут с земли, размечут наш дом, как стог сена.

Я тоже кричал «ура» и самозабвенно бежал с ними; злая трель барабана вызывала у меня кипучее желание разрушить что-нибудь, изломать забор, бить мальчишек.

Во время отдыха солдаты угощали меня махоркой, показывали тяжёлые ружья, иногда тот или другой, направив штык в живот мне, кричал нарочито свирепо:

— Коли таракана!

Штык блестел, казалось, что он живой, извивается, как змея, и хочет ужалить, — это было немножко боязно, но больше приятно.

Мордвин-барабанщик учил меня колотить палками по коже барабана; сначала он брал кисти моих рук и, вымотав их до боли, совал мне палки в намятые пальцы.

— Стучи — рас-дува, рас-дува! Трам-та-та-там! Стучи ему — левы — тиха, правы — шибка, трам-та-та-там! — грозно кричал он, расширяя птичьи глаза.

Я бегал по полю с солдатами вплоть до конца ученья и потом провожал их через весь город до казарм, слушая громкие песни, разглядывая добрые лица, всё такие новенькие, точно пятачки, только что отчеканенные.

Плотная масса одинаковых людей весело текла по улице единою силою, возбуждавшей чувство приязни к ней, желание погрузиться в неё, как в реку, войти, как в лес. Эти люди ничего не боятся, на всё смотрят смело, всё могут победить, они достигнут всего, чего захотят, а главное, — все они простые, добрые.

Но однажды, во время отдыха, молодой унтер дал мне толстую папиросу.

— Покури! Она у меня — этакая, никому бы не дал, да уж больно ты, парень, хорош!

Я закурил. Он отодвинулся на шаг, и вдруг красное пламя ослепило меня, обожгло мне пальцы, нос, брови; серый солёный дым заставил чихать и кашлять; слепой, испуганный, я топтался на месте, а солдаты, окружив меня плотным кольцом, хохотали громко и весело. Я пошёл домой, — свист и смех катились за мной, что-то щёлкало, точно кнут пастуха. Болели обожжённые пальцы, саднило лицо, из глаз текли слёзы, но меня угнетала не боль, а тяжёлое, тупое удивление: зачем это сделано со мной? Почему это забавляет добрых парней?

Дома я залез на чердак и долго сидел там, вспоми-

ная всё необъяснимо жестокое, что так обильно встречалось на пути моём. Особенно ярко и живо вспомнился мне маленький солдатик из Сарапула, — стоит передо мной и, словно живой, спрашивает:

— Что? Понял?..

VIII

Когда выпал снег, дед снова отвёл меня к сестре бабушки.

— Это не худо для тебя, не худо, — говорил он мне.

Мне казалось, что за лето я прожил страшно много, постарел и поумнел, а у хозяев в это время скука стала гуще. Всё так же часто они хворают, расстраивая себе желудки обильной едой, так же подробно рассказывают друг другу о ходе болезней, старуха так же страшно и злобно молится богу. Молодая хозяйка после родов похудела, умалилась[1] в пространстве, но двигается столь же важно и медленно, как беременная. Когда она шьёт детям бельё, то тихонько поёт всегда одну песню:

— Спиря, Спиря, Спиридон, —
Спиря, братик мой родной;
Сама сяду в саночки,
Спирю — на запяточки...

Если войти в комнату, она тотчас перестаёт петь и сердито кричит:

— Чего тебе?

Я уверен, что она не знала ни одной песни, кроме этой.

Вечером хозяева зовут меня в комнату и приказывают:

---

[1] Умалилась (умалиться) — сделалась меньше, уменьшилась.

— Ну-ка, расскажи, как ты жил на пароходе!

Я сажусь на стул около двери уборной и говорю: мне приятно вспоминать о другой жизни в этой, куда меня сунули против моей воли. Я увлекаюсь, забываю о слушателях, но — не надолго; женщины никогда не ездили на пароходе и спрашивают меня:

— А всё-таки, поди-ка, боязно?

Я не понимаю — чего бояться?

— А вдруг он свернёт на глубокое место, да и потонет?

Хозяин хохочет, а я — хотя и знаю, что пароходы не тонут на глубоких местах — не могу убедить в этом женщин. Старуха уверена, что пароход не плавает по воде, а идёт, упираясь колёсами в дно реки, как телега по земле.

— Коли он железный, как же он плывёт? Небойсь, топор не плавает...

— А ковш ведь не тонет в воде?

— Сравнил! Ковш — маленький, пустой...

Когда я говорю о Смуром и его книгах, они смотрят на меня подозрительно; старуха говорит, что книги сочиняют дураки и еретики.

— А Псалтирь? А царь Давид?

— Псалтирь — священное писание, да и то царь Давид прощенья просил у бога за Псалтирь.

— Где это сказано?

— На ладони у меня, — я те вот хвачу по затылку, и узнаешь — где!

Она всё знает, обо всём говорит уверенно и всегда — дико.

— На Печёрке татарин помер, так душа у него горлом излилась, чёрная, как дёготь!

— Душа — дух, — говорю я, но она презрительно кричит:

— У татарина-то? Дурак!

Молодая хозяйка тоже боится книг.

— Это очень вредно книжки читать, а особенно — в молодых годах, — говорит она. — У нас на Гребешке одна девица хорошего семейства читала-читала, да — в дьякона и влюбилась. Так дьяконова жена так срамила её — ужас даже! На улице, при людях...

Иногда я употреблял слова из книг Смурого; в одной из них, без начала и конца, было сказано: «собственно говоря, никто не изобрёл пороха; как всегда, он явился в конце длинного ряда мелких наблюдений и открытий».

Не знаю почему, но мне очень запомнилась эта фраза, особенно же полюбилось сочетание двух слов «собственно говоря»; я чувствовал в них силу — много они принесли горя мне, смешного горя. Есть такое.

Однажды на предложение хозяев рассказать им ещё что-нибудь о пароходе я ответил:

— Мне уж нечего рассказывать, собственно говоря...

Это их изумило, они закаркали:

— Как? Как ты сказал?

И все четверо начали дружно хохотать, повторяя:

— Собственно говоря, а — ба-атюшки!

Даже хозяин сказал мне:

— Плохо ты выдумал, чудак!

С той поры они долго звали меня:

— Эй, собственно говоря! Иди-ка, подотри пол за ребёнком, собственно говоря...

Это бестолковое издевательство не обижало, но очень удивляло меня.

Я жил в тумане отупляющей тоски и, чтобы побороть её, старался как можно больше работать. Недостатка в работе не ощущалось, — в доме было двое младенцев, няньки не угождали хозяевам, их постоянно меняли; я должен был возиться с младенцами, каждый день мыл пелёнки и каждую неделю ходил на Жандармский ключ полоскать бельё, — там меня осмеивали прачки.

— Ты что за бабье дело взялся?

Иногда они доводили меня до того, что я шлёпал их жгутами мокрого белья, они щедро платили мне тем же, но с ними было весело, интересно.

Жандармский ключ бежал по дну глубокого оврага; спускаясь к Оке, овраг отрезал от города поле, названное именем древнего бога — Ярило [1]. На этом поле, по Семикам [2], городское мещанство устраивало гулянье; бабушка говорила мне, что в годы её молодости народ ещё веровал Яриле и приносил ему жертву: брали колесо, обвёртывали его смолёной паклей и, пустив под гору, с криками, с песнями, следили — докатится ли огненное колесо до Оки. Если докатится — бог Ярило принял жертву: лето будет солнечное и счастливое.

Прачки были, в большинстве, с Ярила, всё бойкие, зубастые бабы; они знали всю жизнь города, и было очень интересно слушать их рассказы о купцах, чиновниках, офицерах, на которых они работали. Полоскать бельё зимою, в ледяной воде ручья — каторжное дело; у всех женщин руки до того мёрзли, что трескалась кожа. Согнувшись над ручьём, запертым в деревянную колоду [3], под стареньким, щелявым навесом, который не защищал от снега и ветра, бабы полоскали бельё; лица их налиты кровью, нащипаны морозом; мороз жжёт мокрые пальцы, они не гнутся, из глаз текут слёзы, а женщины неуёмно гуторят [4], передавая друг другу разные истории, относясь ко всем и ко всему с какой-то особенной храбростью.

Лучше всех рассказывала Наталья Козловская, жен-

---

[1] Ярило — бог солнца у древних славян.

[2] По Семикам; семик — старинный народный праздник; справлялся в четверг на седьмой неделе после пасхи.

[3] Колоду (колода) — жёлоб для стекания воды, бревно с выдолбленной серединой.

[4] Гуторят (гуторить) — разговаривают.

щина лет за тридцать, свежая, крепкая, с насмешливыми глазами, с каким-то особенно гибким и острым языком. Она пользовалась вниманием всех подруг, с нею советовались о разных делах и уважали её за ловкость в работе, за аккуратную одежду, за то, что она отдала дочь учиться в гимназию. Когда она, сгибаясь под тяжестью двух корзин с мокрым бельём, спускалась с горы по скользкой тропе, её встречали весело, заботливо спрашивали:

— Как дочка-то?

— Ничего, спасибо, учится, слава богу!

— Гляди — барыней будет?

— А того ради и учу. Откуда баре, холёные хари? Всё из нас, из черноты земной, а откуда ещё-то? Чем больше науки, тем длинней руки, больше возьмут; а кем больше взято, у того дело и свято... Бог посылает нас сюда глупыми детьми, а назад требует умными стариками, значит — надо учиться!

Когда она говорила, все молчали, внимательно слушая складную, уверенную речь. Её хвалили в глаза и заглаза, удивлялись её выносливости, разуму, но — никто не подражал ей. Она обшила себе рукава кофты рыжей кожей от голенища сапога, — это позволяло ей не обнажать рук по локти, не мочить рукава. Все говорили, что она хорошо придумала, но никто не сделал этого себе, а когда сделал я — меня осмеяли.

— Эх, ты, у бабы разуму учишься!..

В свободные часы я уходил в сарай колоть дрова, желая побыть наедине с самим собою, но это редко удавалось, — приходили денщики и рассказывали о жизни на дворе.

Чаще других ко мне являлись в сарай Ермохин и Сидоров. Первый — длинный, сутулый калужанин, весь свитый из толстых и крепких жил, малоголовый, с мутными глазами. Он был ленив, досадно глуп, двигался

медленно, неловко, а когда видел женщину, то мычал и наклонялся вперёд, точно хотел упасть в ноги ей. Все на дворе удивлялись быстроте его побед над кухарками, горничными, завидовали ему, боялись его медвежьей силы. Сидоров, тощий и костлявый туляк, был всегда печален, говорил тихонько, кашлял осторожно, глаза его пугливо горели, он очень любил смотреть в тёмные углы; рассказывает ли что-нибудь вполголоса, или сидит молча, но всегда смотрит в тот угол, где темнее.

— Ты что смотришь?

— А, может, мыша выбежит... Люблю мышей, такие, катаются, тихонькие...

Я писал денщикам письма в деревни, записки возлюбленным, мне это нравилось; но было приятнее, чем для других, писать письма для Сидорова — он аккуратно каждую субботу посылал письма сестре в Тулу...

...Однажды солдаты рассказали мне историю, сильно взволновавшую меня: в одной из квартир жил закройщик лучшего портного в городе, тихий, скромный, не русский человек. У него была маленькая, бездетная жена, которая день и ночь читала книги. На шумном дворе, в домах, тесно набитых пьяными людьми, эти двое жили невидимо и безмолвно, гостей не принимали, сами никуда не ходили, только по праздникам в театр.

Муж с утра до позднего вечера был на службе, жена, похожая на девочку-подростка, раза два в неделю днём выходила в библиотеку. Я часто видел, как она, покачиваясь, словно прихрамывая, мелкими шагами идёт по дамбе, с книгами в ремнях, словно гимназистка, простенькая, приятная, новая, чистая, в перчатках на маленьких руках. Лицо у неё птичье, с быстрыми глазками, и вся она красивенькая, как фарфоровая фигурка на подзеркальнике. Солдаты говорили, что у неё нехватает ребра в правом боку, оттого она и качается так странно

на ходу, но мне это казалось приятным и сразу отличало её от других дам на дворе — офицерских жён; эти, несмотря на их громкие голоса, пёстрые наряды и высокие турнюры[1], были какие-то подержаные, точно они долго и забыто лежали в тёмном чулане, среди разных ненужных вещей.

Маленькая закройщица считалась во дворе полоумной, говорили, что она потеряла разум в книгах, дошла до того, что не может заниматься хозяйством, её муж сам ходит на базар за провизией[2], сам заказывает обед и ужин кухарке, огромной, не русской бабе, угрюмой, с одним красным глазом, всегда мокрым, и узенькой розовой щелью вместо другого. Сама же барыня — говорили о ней — не умеет отличить буженину[3] от телятины и однажды позорно купила вместо петрушки — хрен!

Вы подумайте, какой ужас!

Все трое, они были чужими в доме, как будто случайно попали в одну из клеток этого большого садка для кур, напоминая синиц, которые, спасаясь от мороза, влетают через форточку в душное и грязное жилище людей.

И вдруг денщики рассказали мне, что господа офицеры затеяли с маленькой закройщицей обидную и злую игру: они почти ежедневно, то один, то другой, передают ей записки, в которых пишут о любви к ней, о своих страданиях, о её красоте. Она отвечает им, просит оставить её в покое, сожалеет, что причинила горе, просит бога, чтобы он помог им разлюбить её. Получив такую записку, офицеры читают её все вместе, смеются над

---

[1] Турнюры — ватные подушечки, которые подкладывались под женское платье сзади ниже талии для придания пышности фигуре. (Мода конца XIX века.)

[2] За провизией (провизия) — за съестными припасами, продуктами.

[3] Буженину (буженина) — варёную свинину.

женщиной и вместе же составляют письмо к ней от лица кого-либо одного.

Рассказывая мне эту историю, денщики тоже смеялись, ругали закройщицу.

— Дура несчастная, кривуля, — говорил Ермохин басом, а Сидоров тихонько поддерживал его:

— Всякая баба хочет, чтоб её обманули. Она всё знает...

Не поверил я, что закройщица знает, как смеются над нею, и тотчас решил сказать ей об этом. Выследив, когда её кухарка пошла в погреб, я вбежал по чёрной лестнице в квартиру маленькой женщины, сунулся в кухню — там было пусто, вошёл в комнаты — закройщица сидела у стола, в одной руке у неё тяжёлая золочёная чашка, в другой — раскрытая книга; она испугалась, прижала книгу к груди и стала негромко кричать:

— Кто это? Августа! Кто ты?

Я начал быстро и сбивчиво говорить ей, ожидая, что она бросит в меня книгой или чашкой. Она сидела в большом малиновом кресле, одетая в голубой капот с бахромою по подолу, с кружевами на вороте и рукавах, по её плечам рассыпались русые волнистые волосы. Она была похожа на ангела с царских дверей. Прижимаясь к спинке кресла, она смотрела на меня круглыми глазами, сначала сердито, потом удивлённо, с улыбкой.

Когда я сказал всё, что хотел, и, потеряв храбрость, обернулся к двери, она крикнула мне:

— Постой!

Ткнула чашку на поднос, бросила книгу на стол и, сложив ладошки, заговорила густым голосом взрослого человека:

— Какой ты странный мальчик... Подойди поближе!

Я подвинулся очень осторожно, она взяла мою руку и, гладя её маленькими холодными пальцами, спросила:

— Тебя никто не научил сказать мне это, нет? Ну, хорошо, я вижу, верю — ты сам придумал...

Выпустив мою руку, она закрыла глаза и тихонько, протяжно сказала:

— Так об этом говорят грязные солдаты!

— Вы бы съехали с квартиры-то, — солидно посоветовал я.

— Зачем?

— Одолеют они вас.

Она приятно засмеялась, потом спросила:

— Ты учился? Книжки читать любишь?

— Некогда мне читать.

— Если бы любил, нашлось бы время. Ну — спасибо!

Она протянула мне щепотью сложенные пальцы и в них серебряную монету, — было стыдно взять эту холодную вещь, но я не посмел отказаться от неё и, уходя, положил её на столбик перил лестницы.

Я унёс от этой женщины впечатление глубокое, новое для меня; предо мною точно заря занялась, и несколько дней я жил в радости, вспоминая просторную комнату и в ней закройщицу в голубом, похожую на ангела. Вокруг всё было незнакомо красиво, пышный золотистый ковёр лежал под её ногами, сквозь серебряные стёкла окон смотрел, греясь около неё, зимний день.

Мне захотелось взглянуть на неё ещё раз, — что будет, если я пойду, попрошу у неё книжку?

Я сделал это и снова увидал её на том же месте, так же с книгой в руках, но щека у неё была подвязана каким-то рыжим платком, глаз запух. Давая мне книгу в чёрном переплёте, закройщица невнятно промычала что-то. Я ушёл с грустью, унося книгу, от которой пахло креозотом и анисовыми каплями. Книгу я спрятал на чердак, завернув её в чистую рубашку и бумагу, боясь, чтобы хозяева не отняли, не испортили её.

Они, получая «Ниву» ради выкроек и премий, не чи-

тали её, но, посмотрев картинки, складывали на шкап в спальне, а в конце года переплетали и прятали под кровать, где уже лежали три тома «Живописного обозрения» [1]. Когда я мыл пол в спальне, под эти книги подтекала грязная вода. Хозяин выписывал газету «Русский курьер» и вечерами, читая её, ругался:

— Чорт их поймёт, зачем они пишут всё это! Скучища же...

В субботу, развешивая на чердаке бельё, я вспомнил о книге, достал её, развернул и прочитал начальную строку: «Домá — как люди: каждый имеет свою физиономию». Это удивило меня своей правдой, — я стал читать дальше, стоя у слухового окна, и читал, пока не озяб, а вечером, когда хозяева ушли ко всенощной, снёс книгу в кухню и утонул в желтоватых, изношенных страницах, подобных осенним листьям; они легко уводили меня в иную жизнь, к новым именам и отношениям, показывая мне добрых героев, мрачных злодеев, не похожих на людей, приглядевшихся мне. Это был роман Ксавье де-Монтепэна [2], длинный, как все его романы, обильный людьми и событиями, изображавший незнакомую, стремительную жизнь. Всё в романе было удивительно просто и ясно, как будто некий свет, скрытый между строк, освещал доброе и злое, помогая любить и ненавидеть, заставляя напряжённо следить за судьбами людей, спутанных в тесный рой. Сразу возникло настойчивое желание помочь этому, помешать тому, забывалось, что вся эта неожиданно открывшаяся жизнь насквозь бумажная; всё забывалось в колебаниях борьбы, поглощалось чувством радости на одной странице, чувством огорчения на другой.

---

[1] «Живописного обозрения» («Живописное обозрение») — журнала, рассчитанного на мелкую буржуазию.

[2] Ксавье де-Монтепэна (Ксавье де-Монтепэн) — французского писателя XIX века.

Я зачитался до того, что когда услыхал звонок колокольчика на парадном крыльце, не сразу понял, кто это звонит и зачем.

Свеча почти догорела, подсвечник, только что утром вычищенный мною, был залит салом; светильня лампадки, за которою я должен был следить, выскользнула из держальца и погасла. Я заметался по кухне, стараясь скрыть следы моих преступлений, сунул книгу в подпечек и начал оправлять лампадку. Из комнат выскочила нянька.

— Оглох? Звонят!

Я бросился отпирать двери.

— Дрых? — сурово спросил хозяин, жена его, тяжело поднимаясь по лестнице, жаловалась, что я её простудил, старуха ругалась. В кухне она сразу увидала зажжённую свечу и начала допрашивать меня — что́ я делал.

Я молчал, точно свалившись откуда-то с высоты, весь разбитый, в страхе, что она найдёт книгу, а она кричала, что я сожгу дом. Пришёл хозяин с женой ужинать, старуха пожаловалась им:

— Вот, глядите, всю свечу сжёг и дом сожгёт...

Ужиная, они все четверо пилили меня своими языками, вспоминая вольные и невольные проступки мои, угрожая мне погибелью, но я уже знал, что всё это они говорят не со зла и не из добрых чувств, а только от скуки. И было странно видеть, какие они пустые и смешные по сравнению с людьми из книги.

Вот они кончили есть, отяжелели, устало разошлись спать; старуха, потревожив бога сердитыми жалобами, забралась на печь и примолкла. Тогда я встал, вынул книгу из подпечка, подошёл к окну; ночь была светлая, луна смотрела прямо в окно, но мелкий шрифт не давался зрению. А читать хотелось мучительно. Взяв с полки медную кастрюлю, я отразил ею свет луны на книгу —

стало ещё хуже, темнее. Тогда я забрался на лавку, в угол, к образам, начал читать стоя, при свете лампады, и, утомлённый, заснул, опустясь на лавку, а проснулся от крика и толчков старухи. Держа книгу в руках, она больно стучала ею по плечам моим, красная со зла, яростно вскидывая рыжей головою, босая, в одной рубахе. С полатей выл Виктор:

— Мамаша, да не орите вы! Жить нельзя...

— Пропала книга, изорвут, — думал я.

За утренним чаем меня судили. Хозяин строго спрашивал:

— Где ты взял книгу?

Женщины кричали, перебивая друг друга, Виктор подозрительно нюхал страницы и говорил:

— Духами пахнет, ей-богу...

Узнав, что книга принадлежит священнику, они все ещё раз осмотрели её, удивляясь и негодуя, что священник читает романы, но всё-таки это несколько успокоило их, хотя хозяин ещё долго внушал мне, что читать — вредно и опасно.

— Вот они, читатели-то, железную дорогу взорвали, хотели убить...

Хозяйка сердито и пугливо крикнула мужу:

— Ты с ума сошёл! Что́ ты ему говоришь?

Я отнёс Монтепэна солдату, рассказал ему, в чём дело, — Сидоров взял книгу, молча открыл маленький сундучок, вынул чистое полотенце и, завернув в него роман, спрятал в сундук, сказав мне:

— Не слушайся их — приходи ко мне и читай, я никому не скажу! А если придёшь — нет меня, ключ висит за образом, отопри сундук и читай...

Отношение хозяев к книге сразу подняло её в моих глазах на высоту важной и страшной тайны. То, что какие-то «читатели» взорвали где-то железную дорогу, желая кого-то убить, не заинтересовало меня, но я вспом-

нил вопрос священника на исповеди, чтение гимназиста в подвале, слова Смурого о «правильных книгах» и вспомнил дедовы рассказы о чернокнижниках-фармазонах:

— А при Благословенном государе Александре Павлыче дворянишки [1], совратясь [2] к чернокнижию [3] и фармазонству, затеяли предать весь российский народ римскому папе, езуиты! [4] Тут Аракчеев генерал изловил их на деле, да, невзирая на чины-звания, — всех в Сибирь, в каторгу, там они и исхизли [5], подобно тле... [6]

Вспоминался «умбракул, распещрённый звёздами», «Гервасий» и торжественные, насмешливые слова:

— «Профаны, любопытствующие знать наши дела! Никогда слабые ваши очи не узрят оных!»

Я чувствовал себя у порога каких-то великих тайн и жил, как помешанный. Хотелось дочитать книгу, было боязно, что она пропадёт у солдата или он как-нибудь испортит её. Что́ я скажу тогда закройщице?

А старуха, зорко следя, чтобы я не бегал к денщику, грызла меня:

— Книжник! Книжки-то, вон, распутству учат, вон она, книгочея, до чего дошла — на базар сама сходить не может, только с офицерами путается, днём принимает их, я зна-аю!

Мне хотелось закричать:

— Это неправда! Она не путается...

---

[1] Дворянишки (презрительно) — дворяне.

[2] Совратясь (совратиться) — сойдя с правильного пути.

[3] К чернокнижию (чернокнижие) — к колдовству, чародейству.

[4] Езуиты (иезуиты) — члены воинствующего духовного объединения; здесь: хитрецы, лицемеры.

[5] Исхизли — исчезли.

[6] Подобно тле (тля) — подобно мелкому насекомому — вредителю.

Но я боялся защищать закройщицу — вдруг старуха догадается, что книга-то её?

Несколько дней мне жилось отчаянно плохо; мною овладела рассеянность, тревожная тоска, я не мог спать, в страхе за судьбу Монтепэна, и вот однажды кухарка закройщицы, остановив меня на дворе, сказала:

— Принеси книгу!

Я выбрал время после обеда, когда хозяева улеглись отдыхать, и явился к закройщице сконфуженный, подавленный.

Она встретила меня такая же, какою я её встретил в первый раз, только одета иначе: в серой юбке, чёрной бархатной кофте, с бирюзовым крестом на открытой шее. Она была похожа на самку снегиря.

Когда я сказал ей, что не успел прочитать книгу и что мне запрещают читать, у меня от обиды и от радости видеть эту женщину глаза налились слезами.

— Ф-фу, какие глупые люди! — сказала она, сдвинув тонкие брови. — А ещё у твоего хозяина такое интересное лицо. Ты погоди огорчаться, я подумаю. Я напишу ему!

Это меня испугало, я объявил ей, что солгал хозяевам, сказал, что книга взята не у неё, а у священника.

— Не надо, не пишите! — просил я её. — Они будут смеяться над вами, ругать вас. Вас ведь никто не любит во дворе, все осмеивают, говорят, что вы дурочка и у вас нехватает ребра...

Выпалив всё это, я тотчас понял, что сказал лишнее и обидное для неё, — она закусила верхнюю губу и хлопнула себя по бедру, как будто сидела верхом на лошади. Я смущённо опустил голову, желая провалиться сквозь землю, но закройщица повалилась на стул и весело захохотала, повторяя:

— Ой, как глупо... как глупо! Но что же делать? —

спросила она сама себя, пристально разглядывая меня, а потом, вздохнув, сказала: — Ты очень странный мальчик, очень...

Взглянув в зеркало рядом с нею, я увидал скуластое, широконосое лицо с большим синяком на лбу, давно не стриженные волосы торчали во все стороны вихрами, — вот это и называется «очень странный мальчик»?.. Не похож странный мальчик на фарфоровую тонкую фигурку...

— Ты не взял тогда денежку, которую я дала. Почему?

— Мне не надо.

Она вздохнула.

— Ну, что ж делать! Если тебе позволят читать, приходи, я тебе дам книги...

На подзеркальнике лежали три книги; та, которую я принёс, была самая толстая. Я смотрел на неё с грустью. Закройщица протянула мне маленькую розовую руку.

— Ну, прощай!

Я осторожно дотронулся до её руки и быстро ушёл.

А пожалуй, верно говорят про неё, что она ничего не знает, — вот, двугривенный назвала денежкой, точно ребёнок.

Но это мне нравилось...

IX

И грустно и смешно вспоминать, сколько тяжёлых унижений, обид и тревог принесла мне быстро вспыхнувшая страсть к чтению!

Книги закройщицы казались страшно дорогими, и, боясь, что старая хозяйка сожжёт их в печи, я старался не думать об этих книгах, а стал брать маленькие разноцветные книжки в лавке, где по утрам покупал хлеб к чаю...

Я читал пустые книжонки Миши Евстигнеева [1], платя по копейке за прочтение каждой; это было дорого, а книжки не доставляли мне никакого удовольствия. «Гуак, или непреоборимая верность», «Францыль Венециан», «Битва русских с кабардинцами, или прекрасная магометанка, умирающая на гробе своего супруга» и вся литература этого рода тоже не удовлетворяла меня, часто возбуждая злую досаду: казалось, что книжка издевается надо мною, как над дурачком, рассказывая тяжёлыми словами невероятные вещи.

«Стрельцы» [2], «Юрий Милославский» [3], «Таинственный монах» [4], «Япанча, татарский наездник» и подобные книги нравились мне больше — от них что-то оставалось; но ещё более меня увлекали жития святых [5], — здесь было что-то серьёзное, чему верилось и что, порою, глубоко волновало. Все великомученики [6] почему-то напоминали мне «Хорошее дело», великомученицы — бабушку, а преподобные — деда, в его хорошие часы.

Читал я в сарае, уходя колоть дрова, или на чердаке, что было одинаково неудобно, холодно. Иногда, если книга интересовала меня или надо было прочитать её скорее, я вставал ночью и зажигал свечу, но старая хозяйка, заметив, что свечи по ночам умаляются, стала измерять их лучинкой и куда-то прятала мерки. Если ут-

---

[1] Миши Евстигнеева; Евстигнеев — автор маленьких и дешёвых книжек, издававшихся в 70—80-х годах XIX века.

[2] «Стрельцы» — исторический роман К. П. Масальского, русского писателя XIX века.

[3] «Юрий Милославский» — исторический роман М. Н. Загоскина, русского писателя XIX века.

[4] «Таинственный монах» — исторический роман Р. М. Зотова, русского писателя XIX века. В переделанном и сокращённом виде эти романы выходили в дешёвых изданиях.

[5] Жития святых — жизнеописания «святых».

[6] Великомученики — так в церковной литературе называются «святые», претерпевшие жестокие мучения во время гонения на христиан.

ром в свече недоставало вершка или если я, найдя лучинку, не обламывал её на сгоревший кусок свечи, в кухне начинался яростный крик, и однажды Викторушка возмущённо провозгласил с полатей:

— Да перестаньте же лаяться, мамаша! Жить нельзя! Конечно, он жгёт свечи, потому что книжки читает, у лавочника берёт, я знаю! Поглядите-ка у него на чердаке...

Старуха сбегала на чердак, нашла какую-то книжку и разодрала её в клочья.

Это, разумеется, огорчило меня, но желание читать ещё более окрепло. Я понимал, что если в этот дом придёт святой, — мои хозяева начнут его учить, станут переделывать на свой лад; они будут делать это от скуки. Если они перестанут судить людей, кричать, издеваться над ними, — они разучатся говорить, онемеют, им не видно будет самих себя. Для того чтобы человек чувствовал себя, необходимо, чтобы он как-то относился к людям. Мои хозяева не умели относиться к ближним иначе, как учительно[1], с осуждением, и если бы начать жить так же, как они, — так же думать, чувствовать, — всё равно — они осуждали бы и за это. Уж такие люди.

Я всячески исхитрялся читать, старуха несколько раз уничтожала книги, и вдруг я оказался в долгу у лавочника на огромную сумму в сорок семь копеек! Он требовал денег и грозил, что станет отбирать у меня за долг хозяйские, когда я приду в лавку за покупками.

— Что тогда будет? — спрашивал он меня, издеваясь.

Был он нестерпимо противен мне и, видимо, чувствуя это, мучил меня разными угрозами, с наслаждением особенным: когда я входил в лавку, его пятнистое лицо расплывалось, и он спрашивал ласково:

— Долг принёс?

— Нет.

---

[1] Учительно — с наставлениями, с поучениями.

Это его пугало, он хмурился.

— Как же? Чтó же, мне к мировому подавать на тебя, а? Чтобы тебя описали, да — в колонию?

Мне негде было взять денег — жалованье моё платили деду, я терялся, не зная — как быть? А лавочник, в ответ на мою просьбу подождать с уплатою долга, протянул ко мне масленую, пухлую, как оладья, руку и сказал:

— Поцелуй — подожду!

Но когда я схватил с прилавка гирю и замахнулся на него, он, приседая, крикнул:

— Что, что ты, что ты — я шучу!

Понимая, что он не шутит, я решил украсть деньги, чтобы разделаться с ним. По утрам, когда я чистил платье хозяина, в карманах его брюк звенели монеты, иногда они выскакивали из кармана и катились по полу; однажды какая-то провалилась в щель под лестницу, в дровяник; я позабыл сказать об этом и вспомнил лишь через несколько дней, найдя двугривенный в дровах. Когда я отдал его хозяину, жена сказала ему:

— Вот видишь? Надо считать деньги, когда оставляешь в карманах.

Но хозяин сказал, улыбаясь мне:

— Он не украдёт, я знаю!

Теперь, решив украсть, я вспомнил эти слова, его доверчивую улыбку и почувствовал, как мне трудно будет украсть. Несколько раз я вынимал из кармана серебро, считал его и не мог решиться взять. Дня три я мучился с этим, и вдруг всё разрешилось очень быстро и просто; хозяин неожиданно спросил меня:

— Ты что, Пешков, скучный стал, нездоровится, что ли?

Я откровенно рассказал ему все мои печали, он нахмурился.

— Вот видишь, к чему они ведут, книжки-то! От них — так или этак — непременно беда...

Дал полтинник и посоветовал строго:

— Смотри же, не проболтайся жене али матери — шум будет!

Потом, добродушно усмехаясь, сказал:

— Настойчив ты, чорт тебя возьми! Ничего, это хорошо. Однако — книжки брось! С Нового года я выпишу хорошую газету, вот тогда и читай...

И вот, вечерами, от чая до ужина я читаю хозяевам вслух «Московский листок» [1] — романы Вашкова, Рокшанина, Рудниковского [2] и прочую литературу для пищеварения людей, насмерть убиенных скукой.

Мне не нравится читать вслух, это мешает мне понимать читаемое; но мои хозяева слушают внимательно, с некоторою как бы благоговейною жадностью, ахают, изумляясь злодейству героев, и с гордостью говорят друг другу:

— А мы-то живём — тихо, смирно, ничего не знаем, слава те, господи!

Они путают события, приписывают поступки знаменитого разбойника Чуркина [3] ямщику Фоме Кручине, путают имена; я поправляю ошибки слушателей, — это очень изумляет их.

— Ну и память же у него!

Нередко в «Московском листке» встречаются стихи Леонида Граве [4], мне они очень нравятся, я списываю некоторые из них в тетрадку, но хозяева говорят о поэте:

---

[1] «Московский листок» — ежедневная реакционная газета, выходившая в Москве, популярная среди мещан, купечества, мелких служащих.

[2] Вашкова, Рокшанина, Рудниковского — малоизвестных писателей XIX века.

[3] Разбойника Чуркина (разбойник Чуркин) — героя одноимённого романа Пастухова, редактора и издателя «Московского листка».

[4] Леонида Граве (Леонид Граве) — незначительного поэта XIX века.

— Старик ведь, а стихи сочиняет.

— Пьяница, полоумный, ему всё равно.

Нравятся мне стихи Стружкина [1], графа Мементо-Мори [2], а женщины, и старая и молодая, утверждают, что стихи — балаганство.

— Это только петрушки да актёры стихами говорят.

Тяжелы были мне эти зимние вечера на глазах хозяев, в маленькой, тесной комнате. Мёртвая ночь за окном; изредка потрескивает мороз, люди сидят у стола и молчат, как мороженые рыбы. А то — вьюга шаркает по стёклам и по стене, гудит в трубах, стучит вьюшками; в детской плачут младенцы, — хочется сесть в тёмный угол и, съёжившись, выть волком.

В одном конце стола сидят женщины, шьют или вяжут чулки; за другим — Викторушка, выгнув спину, копирует, нехотя, чертежи и время от времени кричит:

— Да не трясите стол! Жить нельзя, гвозди-козыри, собаки на мышах...

В стороне, за огромными пяльцами, сидит хозяин, вышивая крестиками по холстине скатерть; из-под его пальцев появляются красные раки, синие рыбы, жёлтые бабочки и рыжие осенние листья. Он сам составил рисунок вышивки и третью зиму сидит над этой работой, — она очень надоела ему, и часто, днём, когда я свободен, он говорит мне:

— Ну-ко, Пешков, садись за скатерть, действуй!

Я сажусь и действую толстой иглой, — мне жалко хозяина и всегда, во всём хочется посильно помочь ему. Мне всё кажется, что однажды он бросит чертить, вышивать, играть в карты и начнёт делать что-то другое, интересное, о чём он часто думает, вдруг бросая работу

---

[1] Стружкина (Стружкин). — Под таким псевдонимом (вымышленным именем) печатался писатель XIX века Н. С. Куколевский.

[2] Графа Мементо-Мори; граф Мементо-Мори — псевдоним поэта XIX века И. И. Пальмина.

и глядя на неё неподвижно удивлёнными глазами, как на что-то незнакомое ему; волосы его спустились на лоб и щёки, он похож на послушника в монастыре.

— Ты о чём думаешь? — спрашивает его жена.

— Так, — отвечает он, принимаясь за работу.

Я молча удивляюсь: разве можно спрашивать, о чём человек думает? И нельзя ответить на этот вопрос, — всегда думается сразу о многом: обо всём, что есть перед глазами, о том, что видели они вчера и год тому назад, всё это спутано, неуловимо, всё движется, изменяется.

Фельетонов «Московского листка» нехватало на вечер, я предложил читать журналы, лежавшие в спальне под кроватью, молодая хозяйка недоверчиво сказала:

— Чего же там читать? Там только картинки...

Но под кроватью, кроме «Живописного обозрения», оказался ещё «Огонёк» [1], и вот мы читаем Салиаса [2] «Граф Тятин-Балтийский». Хозяину очень нравится придурковатый герой повести, он безжалостно и до слёз хохочет над печальными приключениями барчука и кричит:

— Нет, это забавная штука!

— Враньё, поди-ка, — говорит хозяйка, ради оказания самостоятельности своего ума.

Литература из-под кровати сослужила мне великую службу: я завоевал себе право брать журналы в кухню и получил возможность читать ночами.

На моё счастье, старуха перешла спать в детскую, — запоем запила нянька. Викторушка не мешал мне. Когда все в доме засыпали, он тихонько одевался и до утра исчезал куда-то. Огня мне не давали, унося свечку

---

[1] «Огонёк» — еженедельный журнал такого же типа, как «Нива» и «Живописное обозрение».

[2] Салиаса (Салиас Е. А.) — русского писателя XIX века, автора исторических романов.

в комнату, денег на покупку свеч у меня не было, тогда я стал тихонько собирать сало с подсвечников, складывал его в жестянку из-под сардин, подливал туда лампадного масла и, скрутив светильню из ниток, зажигал по ночам на печи дымный огонь.

Когда я перевёртывал страницу огромного тома, красный язычок светильни трепетно колебался, грозя погаснуть, светильня ежеминутно тонула в растопленной пахучей жидкости, дым ел глаза, но все эти неудобства исчезали в наслаждении, с которым я рассматривал иллюстрации и читал объяснения к ним.

Эти иллюстрации раздвигали предо мною землю всё шире и шире, украшая её сказочными городами, показывая мне высокие горы, красивые берега морей. Жизнь чудесно разрасталась, земля становилась заманчивее, богаче людьми, обильнее городами и всячески разнообразнее. Теперь, глядя в заволжские дали, я уже знал, что там нет пустоты, а прежде бывало смотришь за Волгу, становится как-то особенно скучно: плоско лежат луга в тёмных заплатах кустарника, на конце лугов зубчатая чёрная стена леса, над лугами — мутная холодная синева. Пусто на земле, одиноко. И сердце тоже пустеет, тихая грусть щекочет его, все желания исчезают, думать — не о чем, хочется закрыть глаза. Ничего не обещает унылая пустота, высасывая из сердца всё, что там есть.

Объяснения к иллюстрациям понятно рассказывали про иные страны, иных людей, говорили о разных событиях в прошлом и настоящем; я многого не могу понять, и это меня мучит. Иногда в мозг вонзаются какие-то странные слова — «метафизика», «хилиазм», «чартист», — они нестерпимо беспокоят меня, растут чудовищно, всё заслоняют, и мне кажется, что я никогда не пойму ничего, если мне не удастся открыть смысл этих слов, — именно они стоят сторожами на пороге всех

тайн. Часто целые фразы долго живут в памяти, как заноза в пальце, мешая мне думать о другом.

Помню, я прочитал странные стихи:

В сталь закован, по безлюдью,
Нем и мрачен, как могила,
Едет гуннов царь, Аттила,

за ним чёрною тучею идут воины и кричат:

— Где же Рим, где Рим могучий?

Рим — город, это я уже знал, но кто такие — гунны? Это необходимо знать.

Выбрав хорошую минуту, я спрашиваю хозяина.

— Гунны? — удивлённо повторяет он. — Чорт знает, что́ это такое! Ерунда, наверное...

И неодобрительно качает головою.

— Чепуха кипит в голове у тебя, это плохо, Пешков!

Плохо ли, хорошо ли, но я хочу знать.

Мне кажется, что полковому священнику Соловьёву должно быть известно — что́ такое гунны, и, поймав его на дворе, я спрашиваю.

Бледный, больной и всегда сердитый, с красными глазами, без бровей, с жёлтой бородкой, он говорит мне, тыкая в землю чёрным посохом:

— А тебе какое дело до этого, а?

Поручик Нестеров на мой вопрос свирепо ответил:

— Что-о?

Тогда я решил, что о гуннах нужно спросить в аптеке у провизора, он смотрит на меня всегда ласково, у него умное лицо, золотые очки на большом носу.

— Гунны, — сказал мне провизор Павел Гольдберг, — были кочевым народом, вроде киргизов. Народа этого больше нет, весь вымер.

Мне стало грустно и досадно — не потому, что гунны вымерли, а оттого, что смысл слова, которое меня так

долго мучило, оказался столь простым и ничего не дал мне.

Но я очень благодарен гуннам, — после столкновения с ними слова стали меня меньше беспокоить, и, благодаря Аттиле, я познакомился с провизором Гольдбергом.

Этот человек знал простой смысл всех мудрых слов, у него были ключи ко всем тайнам. Поправив очки двумя пальцами, он пристально смотрел сквозь толстые стёкла в глаза мне и говорил, словно мелкие гвозди вбивая в мой лоб:

— Слова, дружище, это — как листья на дереве, и, чтобы понять, почему лист таков, а не иной, нужно знать, как растёт дерево, нужно учиться! Книга, дружище, как хороший сад, где всё есть: и приятное, и полезное...

Я часто бегал к нему в аптеку за содой и магнезией для взрослых, которые постоянно страдали «изжогой», за бобковой мазью и слабительными для младенцев. Краткие поучения провизора внушали мне всё более серьёзное отношение к книгам, и незаметно они стали необходимыми для меня, как пьянице водка.

Они показывали мне иную жизнь — жизнь больших чувств и желаний, которые приводили людей к подвигам и преступлениям. Я видел, что люди, окружавшие меня, неспособны на подвиги и преступления, они живут где-то в стороне ото всего, о чём пишут книги, и трудно понять, — что́ интересного в их жизни? Я не хочу жить такой жизнью... Это мне ясно, — не хочу...

Из пояснений к рисункам я знал, что в Праге, Лондоне и Париже нет среди города оврагов и грязных дамб из мусора, там прямые, широкие улицы, иные дома и церкви. Там нет шестимесячной зимы, которая запирает людей в домах, нет Великого поста, когда можно есть только квашеную капусту, соленые грибы, толокно и

картофель с противным льняным маслом. Великим постом — нельзя читать книг, — у меня отобрали «Живописное обозрение», и эта пустая, постная жизнь снова подошла вплоть ко мне. Теперь, когда я мог сравнить её с тем, что знал из книг, она казалась мне ещё более нищей и безобразной. Читая, я чувствовал себя здоровее, сильнее, работал споро и ловко, у меня была цель: чем скорее кончу, тем больше останется времени для чтения. Лишённый книг, я стал вялым, ленивым, меня начала одолевать незнакомая мне раньше болезненная забывчивость.

Помнится, именно в эти пустые дни случилось нечто таинственное: однажды вечером, когда все ложились спать, вдруг гулко прозвучал удар соборного колокола, он сразу встряхнул всех в доме, полуодетые люди бросились к окнам, спрашивая друг друга:

— Пожар? Набат?

Было слышно, что и в других квартирах тоже суетятся, хлопают дверями; кто-то бегал по двору с лошадью в поводу. Старая хозяйка кричала, что ограбили собор, хозяин останавливал её:

— Полноте, мамаша, ведь слышно же, что это не набат!

— Ну, так архиерей помер...

Викторушка слез с полатей, одевался и бормотал:

— А я знаю, что́ случилось, знаю!

Хозяин послал меня на чердак посмотреть, нет ли зарева, я побежал, вылез через слуховое окно на крышу, — зарева не было видно; в тихом морозном воздухе бухал, не спеша, колокол; город сонно прилёг к земле; во тьме бежали, поскрипывая снегом, невидимые люди, взвизгивали полозья саней, и всё зловещее охал колокол. Я воротился в комнаты.

— Зарева нет.

— Фу ты, господи! — сказал хозяин, одетый в пальто

и шапку, приподнял воротник и стал нерешительно совать ноги в калоши.

Хозяйка умоляла его:

— Не ходи! Ну, не ходи же...

— Ерунда!

Викторушка, тоже одетый, дразнил всех:

— А я знаю...

Когда братья ушли на улицу, женщины, приказав мне ставить самовар, бросились к окнам, но почти тотчас с улицы позвонил хозяин, молча вбежал по лестнице и, отворив дверь в прихожую, густо сказал:

— Царя убили!

— Убили-таки! — воскликнула старуха.

— Убили, мне офицер сказал... Что́ ж теперь будет?

Позвонил Викторушка и, неохотно раздеваясь, сердито сказал:

— А я думал — война!

Потом все они сели пить чай, разговаривали спокойно, но — тихонько и осторожно. И на улице стало тихо, колокол уже не гудел. Два дня они таинственно шептались, ходили куда-то, к ним тоже являлись гости и что-то подробно рассказывали. Я очень старался понять — что́ случилось? Но хозяева прятали газету от меня, а когда я спросил Сидорова — за что убили царя, он тихонько ответил:

— Про то запрещено говорить...

И всё это быстро стёрлось, затянулось ежедневными пустяками, и я вскоре пережил очень неприятную историю.

В одно из воскресений, когда хозяева ушли к ранней обедне, а я, поставив самовар, отправился убирать комнаты, — старший ребёнок, забравшись в кухню, вытащил кран из самовара и уселся под стол играть краном. Углей в трубе самовара было много, и когда вода вытекла из него, он распаялся. Я ещё в комнатах услы-

хал, что самовар гудит неестественно гневно, а войдя в кухню, с ужасом увидал, что он весь посинел и трясётся, точно хочет подпрыгнуть с пола. Отпаявшаяся втулка крана уныло опустилась, крышка съехала набекрень, из-под ручек стекали капли олова, — лиловато-синий самовар казался вдребезги пьяным. Я облил его водою, он зашипел и печально развалился на полу.

Позвонили на парадном крыльце, я отпер двери и на вопрос старухи — готов ли самовар, кратко ответил:

— Готов.

Это слово, сказанное, вероятно, в смущении и страхе, было принято за насмешку и усугубило наказание. Меня избили. Старуха действовала пучком сосновой лучины, это было не очень больно, но оставило под кожею спины множество глубоких заноз; к вечеру спина у меня вспухла подушкой, а в полдень на другой день хозяин принуждён был отвезти меня в больницу.

Когда доктор, длинный и тощий до смешного, осмотрел меня, он сказал спокойно глухим басом:

— Здесь нужно составить протокол об истязании.

Хозяин покраснел, зашаркал ногами и стал что-то тихо говорить доктору, а тот, глядя через голову его, кратко отвечал:

— Не могу. Нельзя.

Но потом спросил меня:

— Жаловаться хочешь?

Мне было больно, но я сказал:

— Не хочу, лечите скорее...

Меня отвели в другую комнату, положили на стол, доктор вытаскивал занозы приятно холодными щипчиками и балагурил:

— Превосходно отделали кожу тебе, приятель, теперь ты станешь непромокаемый...

Когда он кончил работу, нестерпимо щекотавшую меня, он сказал:



К стр. 125



К стр. 152

— Сорок две щепочки вытащено, приятель, запомни, хвастаться будешь! Завтра в этот час приходи на перевязку. Часто бьют?

Я подумал и ответил:

— Раньше — чаще били...

Доктор захохотал басом.

— Всё к лучшему идёт, приятель, всё!

Когда он вывел меня к хозяину, то сказал ему:

— Извольте получить, починен! Завтра пришлите, перевяжем. На ваше счастье — комик он у вас...

Сидя на извозчике, хозяин говорил мне:

— И меня, Пешков, тоже били — что́ поделаешь? Били, брат! Тебя всё-таки хоть я жалею, а меня и жалеть некому было, некому! Людей везде — теснота, а пожалеть — нет ни одного сукина сына! Эх, звери-курицы...

Он всю дорогу ругался, мне было жалко его, и я был очень благодарен ему, что он говорит со мною по-человечески.

Дома меня встретили, как именинника; женщины заставили подробно рассказать, как доктор лечил меня, что́ он говорил, — слушали и ахали, сладостно причмокивая, морщась. Удивлял меня этот их напряжённый интерес к болезням, к боли и ко всему неприятному!

Я видел, как они довольны мною, что я отказался жаловаться на них, и воспользовался этим, испросив у них разрешение брать книги у закройщицы. Они не решились отказать мне, только старуха удивлённо воскликнула:

— Ну и бес!

Через день я стоял перед закройщицей, а она ласково говорила:

— А мне сказали, что ты болен, отвезён в больницу, — видишь, как неверно говорят?

Я промолчал. Стыдно было сказать правду — зачем

ей знать грубое и печальное? Так хорошо, что она не похожа на других людей.

Снова я читаю толстые книги Дюма-отца[1], Понсон-де-Террайля, Монтепэна, Законнэ, Габорио, Эмара, Буагобэ, — я глотаю эти книги быстро одну за другой, и мне — весело. Я чувствую себя участником жизни необыкновенной, она сладко волнует, возбуждая бодрость. Снова коптит мой самодельный светильник, я читаю ночи напролёт, до утра, у меня понемногу заболевают глаза, и старая хозяйка любезно говорит мне:

— Погоди, книгожора, лопнут зенки-то, ослепнешь!

Однако я очень скоро понял, что во всех этих интересно-запутанных книгах, несмотря на разнообразие событий, на различие стран и городов, речь всё идёт об одном: хорошие люди — несчастливы и гонимы дурными, дурные — всегда более удачливы и умны, чем хорошие, но в конце концов что-то неуловимое побеждает дурных людей, и обязательно торжествуют хорошие. Надоела «любовь», о которой все мужчины и женщины говорили одними и теми же словами. Это однообразие становилось не только скучным, но и возбуждало смутные подозрения.

Бывало уже с первых страниц начинаешь догадываться, кто победит, кто будет побеждён, и как только станет ясен узел событий, стараешься развязать его силою своей фантазии. Перестав читать книгу, думаешь о ней, как о задаче из учебника арифметики, и всё чаще удаётся правильно решить, кто из героев придёт в рай всяческого благополучия, кто будет ввергнут во узилище[2].

Но за всем этим я вижу проблески живой и значи-

---

[1] Дюма-отца (Александр Дюма-отец) — известного французского писателя XIX века, автора приключенческих романов. Далее Горьким названы различные французские писатели.

[2] Во узилище (узилище) — в тюрьму.

тельной для меня правды, черты иной жизни, иных отношений. Мне ясно, что в Париже извозчики, рабочие, солдаты и весь «чёрный народ» не таков, как в Нижнем, в Казани, в Перми, — он смелее говорит с господами, держится с ними более просто и независимо. Вот — солдат, но он не похож ни на одного из тех, кого я знаю, — ни на Сидорова, ни на вятича с парохода, ни, тем более, на Ермохина; он — больше человек, чем все они. В нём есть нечто общее со Смурым, но он не так звероват и груб. Вот лавочник, но и он также лучше всех известных мне лавочников. И священники в книгах не такие, каких я знаю, — они сердечнее, более участливо относятся к людям. Вообще, вся жизнь за границей, как рассказывают о ней книги, интереснее, легче, лучше той жизни, которую я знаю: за границею не дерутся так часто и зверски, не издеваются так мучительно над человеком, как издевались над вятским солдатом, не молятся богу так яростно, как молится старая хозяйка.

Особенно заметно, что, рассказывая о злодеях, людях жадных и подлых, книги не показывают в них той необъяснимой жестокости, того стремления издеваться над человеком, которое так знакомо мне, так часто наблюдалось мною. Книжный злодей жесток деловито, почти всегда можно понять, почему он жесток, а я вижу жестокость бесцельную, бессмысленную, ею человек только забавляется, не ожидая от неё выгод.

С каждой новой книгой эта несхожесть русской жизни с жизнью иных стран выступает предо мною всё яснее, возбуждая смутную досаду, усиливая подозрение в правдивости жёлтых, зачитанных страниц с грязными углами.

И вдруг мне попал в руки роман Гонкура[1] «Братья Земганно», я прочитал его сразу, в одну ночь, и, удив-

[1] Гонкура (Эдмон Гонкур) — известного французского писателя XIX века.

лённый чем-то, чего до этой поры не испытывал, снова начал читать простую, печальную историю. В ней не было ничего запутанного, ничего внешне интересного, с первых страниц она казалась серьёзной и сухой, как жития святых. Её язык, такой точный и лишённый прикрас, сначала неприятно удивил меня, но скупые слова, крепко построенные фразы так хорошо ложились на сердце, так внушительно рассказывали о драме братьев-акробатов, что у меня руки дрожали от наслаждения читать эту книгу. Я плакал навзрыд, читая, как несчастный артист со сломанными ногами ползёт на чердак, где его брат тайно занимается любимым искусством.

Отдавая эту славную книгу закройщице, я попросил её дать мне ещё такую же.

— Как это такую же? — спросила она, усмехаясь.

Эта усмешка смутила меня, и я не сумел объяснить, чего мне хочется, а она говорила:

— Это — скучная книга, вот, подожди, я тебе принесу другую, интереснее...

Через несколько дней она дала мне Гринвуда[1] «Подлинную историю маленького оборвыша»; заголовок книги несколько уколол меня, но первая же страница вызвала в душе улыбку восторга, — так с этою улыбкою я и читал всю книгу до конца, перечитывая иные страницы по два, по три раза.

Так вот как трудно и мучительно даже за границею живут иногда мальчики! Ну, мне вовсе не так плохо, значит — можно не унывать!

Много бодрости подарил мне Гринвуд, а вскоре после него мне попалась уже настоящая «правильная» книга — «Евгения Гранде»[2].

---

[1] Гринвуда; Гринвуд — псевдоним американской писательницы XIX века Сарры Джен Липпинкот.

[2] «Евгения Гранде» — роман знаменитого французского писателя Оноре Бальзака (1799—1850).

Старик Гранде ярко напомнил мне деда, было обидно, что книжка так мала, и удивляло, как много в ней правды. Эту правду, очень знакомую мне и надоевшую в жизни, книга показывала в освещении совершенно новом — незлобивом, спокойном. Все ранее прочитанные мною книги, кроме Гонкура, судили людей так же строго и крикливо, как мои хозяева, очень часто они вызывали симпатию к преступнику и чувство досады на добродетельных людей. Всегда было жалко видеть, что, при огромной затрате разума и воли, человек всё-таки не может достичь желаемого, — добродетельные люди стоят перед ним с первой до последней страницы незыблемо, точно каменные столбы. Хотя об эти столбы неизбежно разбиваются все злые намерения порока, но камни не возбуждают симпатии. Ведь как бы ни была красива и крепка стена, но, когда хочешь сорвать яблоко с яблони за этой стеной,— нельзя любоваться ею. А мне уже казалось, что наиболее ценное и живое спрятано где-то за добродетелью.

У Гонкура, Гринвуда, Бальзака — не было злодеев, не было добряков, были просто люди, чудесно живые; они не позволяли сомневаться, что всё сказанное и сделанное ими было сказано и сделано именно так и не могло быть сделано иначе.

Таким образом я понял, какой великий праздник «хорошая, правильная» книга. Но как найти её? Закройщица не могла помочь мне в этом.

— Вот хорошая книга, — говорила она, предлагая мне Арсена Гуссэ «Руки полны роз, золота и крови», романы Бэло, Поль де-Кока, Поль Феваля [1], но я читал их уже с напряжением.

Ей нравились романы Марриетта [2], Вернера [3], мне они

[1] Арсен Гуссэ, Бэло, Поль де-Кок, Поль Феваль— французские писатели XIX века.

[2] Марриетта (Марриетт) — английского писателя XIX века.

[3] Вернера (Вернер). — Под таким псевдонимом печаталась немецкая писательница Елизавета Бюрстенбиндер.

казались скучными. Не радовал и Шпильгаген, но очень понравились рассказы Ауэрбаха[1]. Сю[2] и Гюго[3] тоже не очень увлекали меня, я предпочитал им Вальтер Скотта. Мне хотелось книг, которые волновали бы и радовали, как чудесный Бальзак. Фарфоровая женщина тоже всё меньше нравилась мне.

Являясь к ней, я надевал чистую рубаху, причёсывался, всячески стараясь принять благообразный вид, — едва ли это удавалось мне, но я всё ждал, что она, заметив моё благообразие, заговорит со мною более просто и дружески, без этой рыбьей улыбки на чистеньком, всегда праздничном лице. Но она, улыбаясь, спрашивала усталым и сладким голосом:

— Прочитал? Понравилось?

— Нет.

Чуть приподняв тонкие брови, она смотрела на меня и, вздыхая, знакомо говорила в нос:

— Но почему же?

— Я уж читал об этом.

— О чём — об этом?

— О любви...

Прищурясь, она смеялась сахарным смешком.

— Ах, но ведь во всех книгах пишут о любви!

Сидя в большом кресле, она болтает маленькими ножками в меховых туфлях, позёвывая, кутается в голубой халатик и стучит розовыми пальцами по переплёту книги на коленях у неё.

Мне хочется спросить:

— Что же вы не съезжаете с квартиры? Ведь офицеры всё пишут записки вам, смеются над вами...

---

[1] Шпильгаген, Ауэрбах — немецкие писатели XIX века.

[2] Сю Эжен — французский писатель XIX века.

[3] Гюго Виктор — знаменитый французский писатель XIX века.

Но нехватает смелости сказать ей это, и я ухожу, унося толстую книгу о «любви» и печальное разочарование в сердце.

На дворе говорят об этой женщине всё хуже, насмешливее и злее. Мне очень обидно слышать эти россказни, грязные и, наверное, лживые; заглаза я жалею женщину, мне боязно за неё. Но когда, придя к ней, я вижу её острые глазки, кошачью гибкость маленького тела и это всегда праздничное лицо, — жалость и страх исчезают, как дым.

Весною она вдруг уехала куда-то, а через несколько дней и муж её переменил квартиру.

Когда комнаты стояли пустые, в ожидании новых насельников[1], я зашёл посмотреть на голые стены с квадратными пятнами на местах, где висели картины, с изогнутыми гвоздями и ранами от гвоздей. По крашеному полу были разбросаны разноцветные лоскутки, клочья бумаги, изломанные аптечные коробки, склянки от духов и блестела большая медная булавка.

Мне стало грустно, захотелось ещё раз увидать маленькую закройщицу, — сказать, как я благодарен ей...

X

Ещё до отъезда закройщицы под квартирою моих хозяев поселилась черноглазая молодая дама с девочкой и матерью, седенькой старушкой, непрерывно курившей папиросы из янтарного мундштука. Дама была очень красивая; властная, гордая, она говорила густым, приятным голосом, смотрела на всех, вскинув голову, чуть-чуть прищурив глаза, как будто люди очень далеко от неё и она плохо видит их. Почти каждый день к крыль-

---

[1] Насельников (насельники) — обитателей, жителей.

цу её квартиры чёрный солдат Тюфяев подводил тонконогого рыжего коня, дама выходила на крыльцо в длинном, стального цвета, бархатном платье, в белых перчатках с раструбами[1], в жёлтых сапогах. Держа в одной руке шлейф и хлыст с лиловым камнем в рукоятке, она гладила маленькой рукой ласково оскаленную морду коня, — он косился на неё огненным глазом, весь дрожал и тихонько бил копытом по утоптанной земле.

— Робэр, Ро-обэр, — негромко говорила она и крепко хлопала коня по красиво выгнутой шее.

Потом, поставив ногу на колено Тюфяева, дама ловко прыгала на седло, и конь, гордо танцуя, шёл по дамбе; она сидела на седле так ловко, точно приросла к нему.

Красива она была той редкой красотой, которая всегда кажется новой, невиданною и всегда наполняет сердце опьяняющей радостью. Глядя на неё, я думал, что вот таковы были Диана Пуатье, королева Марго, девица Ла-Вальер и другие красавицы, героини исторических романов.

Её постоянно окружали офицеры дивизии, стоявшей в городе, по вечерам у неё играли на пианино и скрипке, на гитарах, танцевали и пели. Чаще других около неё вертелся на коротеньких ножках майор Олесов, толстый, краснорожий, седой и сальный, точно машинист с парохода. Он хорошо играл на гитаре и вёл себя как покорный, преданный слуга дамы.

Так же счастливо-красива, как мать, была и пятилетняя девочка, кудрявая, полненькая. Её огромные синеватые глаза смотрели серьёзно, спокойно ожидающим взглядом, и было в этой девочке что-то недетски вдумчивое.

Бабушка с утра до вечера занята хозяйством вместе с Тюфяевым, угрюмо-немым, и толстой, косоглазой гор-

[1] С раструбами (раструбы) — с расширениями в виде воронок выше кистей рук.

ничной; няньки у ребёнка не было, девочка жила почти беспризорно, целыми днями играя на крыльце или на куче брёвен против него. Я часто по вечерам выходил играть с нею и очень полюбил девочку, а она быстро привыкла ко мне и засыпала на руках у меня, когда я рассказывал ей сказку. Заснёт, а я её отнесу в постель. Скоро дошло до того, что, ложась спать, она непременно требовала, чтобы я пришёл проститься с нею. Я приходил, она важно протягивала мне пухлую ручку и говорила:

— Прощай до завтра! Бабушка, как нужно сказать?

— Храни тебя господь, — говорила бабушка, выпуская изо рта и острого носа сизые струйки дыма.

— Храни тебя господь до завтра, а я уж буду спать, — повторяла девочка, кутаясь в одеяло, обшитое кружевом.

Бабушка внушала ей:

— Не до завтра, а — всегда!

— А разве завтра не всегда бывает?

Она любила слово «завтра» и всё, что нравилось ей, переносила в будущее; натыкает в землю сорванных цветов, сломанных веток и говорит:

— Завтра это будет сад...

— Когда-нибудь завтра я тоже куп'ю себе ошадь и поеду верхом, как мама...

Она была умненькая, но не очень весёлая, — часто во время оживлённой игры вдруг задумается и спросит неожиданно:

— Зачем у священников во'осы, как у женщинов?

Обожглась крапивой и, грозя ей пальцем, сказала:

— Смотри, я помо'юсь богу, так он сде'ает тебе очень п'охо. Бог всем может сде'ать п'охо — он даже маму может наказать...

Иногда на неё спускалась тихая, серьёзная печаль; прижимаясь ко мне, глядя в небо синими, ожидающими глазами, она говорила:

— Бабушка бывает сердитая, а мама никогда не бывает, она тойко смеётся. Её все юбят, потому что ей всегда некогда, всё приходят гости, гости и смотрят на неё, потому что она красивая. Она — ми'ая, мама. И О'есов так говорит: ми'ая мама!

Мне страшно нравилось слушать девочку, — она рассказывала о мире, незнакомом мне. Про мать свою она говорила всегда охотно и много, — предо мною тихонько открывалась новая жизнь, снова я вспоминал королеву Марго, это ещё более углубляло доверие к книгам, а также интерес к жизни.

Однажды вечером, когда я сидел на крыльце, ожидая хозяев, ушедших гулять на Откос, а девочка дремала на руках у меня, подъехала верхом её мать, легко спрыгнула на землю и, вскинув голову, спросила:

— Чтó это она — спит?

— Да.

— Вот как...

Выскочил солдат Тюфяев, принял коня, дама сунула хлыст за кушак и сказала, протянув руки:

— Дай мне её!

— Я сам отнесу!

— Но! — крикнула дама на меня, как на лошадь, и топнула ногою о ступень крыльца.

Девочка проснулась, мигая посмотрела на мать и тоже протянула к ней руки. Они ушли.

Я привык, чтобы на меня кричали, но было неприятно, что эта дама тоже кричит, — всякий послушает её, если она даже и тихо прикажет.

Через несколько минут меня позвала косоглазая горничная, — девочка капризничает, не хочет итти спать, не простясь со мною.

Я, не без гордости перед матерью, вошёл в гостиную, — девочка сидела на коленях матери, дама ловкими руками раздевала её.

— Ну вот, — сказала она, — вот он пришёл, это чудовище!

— Это не чудовище, а мой майчик...

— Вот как? Очень хорошо. Давай же подарим что-нибудь твоему мальчику. Хочешь?

— Да, хочу!

— Прекрасно, я это сделаю, а ты иди спать.

— Прощай до завтра, — сказала девочка, протянув мне руку. — Храни тебя господь до завтра...

Дама удивлённо воскликнула:

— Кто это тебя научил — бабушка?

— Да-а...

Когда она ушла, дама поманила меня пальцем.

— Что́ же тебе подарить?

Я сказал, что мне ничего не надо дарить, а не даст ли она мне какую-нибудь книжку?

Она приподняла мой подбородок горячими, душистыми пальцами, спрашивая с приятной улыбкой:

— Вот как, ты любишь читать, да? Какие же книги ты читал?

Улыбаясь, она стала ещё красивее; я смущённо назвал ей несколько романов.

— Что́ же в них нравится тебе? — спрашивала она, положив руки на стол и тихонько шевеля пальцами.

От неё исходил сладкий, крепкий запах каких-то цветов, с ним странно сливался запах лошадиного пота. Она смотрела на меня сквозь длинные ресницы задумчиво-серьёзно, — до этой минуты никто ещё не смотрел на меня так.

От множества мягкой и красивой мебели в комнате было тесно, как в птичьем гнезде; окна закрывала густая зелень цветов, в сумраке блестели снежно-белые изразцы печи, рядом с нею лоснился чёрный рояль, а со стен в тусклом золоте рам смотрели какие-то тёмные грамоты, криво усеянные крупными буквами славянской

печати, и под каждой грамотой висела на шнуре тёмная, большая печать. Все вещи смотрели на эту женщину так же покорно и робко, как я.

Я объяснил ей, как умел, что жить очень трудно и скучно, а читая книги, забываешь об этом.

— Да-а, вот как? — сказала она, вставая. — Это — недурно, это, пожалуй, верно... Ну, что ж? Я стану давать тебе книги, но сейчас у меня нет... А впрочем, возьми вот это...

Она взяла с дивана истрёпанную книжку в жёлтой обложке.

— Прочитаешь — дам вторую часть, их четыре...

Я ушёл, унося с собой «Тайны Петербурга» князя Мещерского [1], и начал читать эту книгу с большим вниманием, но с первых же страниц мне стало ясно, что петербургские «тайны» значительно скучнее мадридских, лондонских и парижских. Забавною показалась мне только басня о Свободе и Палке.

«Я выше тебя, — сказала Свобода, — потому что умнее».

Но Палка ответила ей:

«Нет, я выше тебя, потому что я — сильней тебя».

Спорили, спорили и подрались; Палка избила Свободу, и Свобода — помнится мне — умерла в больнице от побоев.

В книге шла речь о нигилисте. Помню, что — по князю Мещерскому — нигилист есть человек настолько ядовитый, что от взгляда его издыхают курицы. Слово нигилист показалось мне обидным и неприличным, но больше я ничего не понял и впал в уныние: очевидно, я не умею понимать хорошие книги! А что книга хорошая, в этом я был убеждён: ведь не станет же такая важная и красивая дама читать плохие!

---

[1] Князя Мещерского (Мещерский В. П.) — реакционного писателя и журналиста конца XIX — начала XX века.

— Ну, что же, понравилось? — спросила она, когда я возвратил ей жёлтый роман Мещерского.

Мне было очень трудно ответить — нет, я думал, что это её рассердит.

Но она только рассмеялась, уходя за портьеру, где была её спальня, и вынесла оттуда маленький томик в переплёте синего сафьяна.

— Это тебе понравится, только не пачкай!

Это были поэмы Пушкина. Я прочитал их все сразу, охваченный тем жадным чувством, которое испытываешь, попадая в невиданно красивое место, — всегда стремишься обежать его сразу. Так бывает после того, когда долго ходишь по моховым кочкам болотистого леса и неожиданно развернётся пред тобою сухая поляна, вся в цветах и солнце. Минуту смотришь на неё очарованный, а потом счастливо обежишь всю, и каждое прикосновение ноги к мягким травам плодородной земли тихо радует.

Пушкин до того удивил меня простотой и музыкой стиха, что долгое время проза казалась мне неестественной, и читать её было неловко. Пролог к «Руслану» напоминал мне лучшие сказки бабушки, чудесно сжав их в одну, а некоторые строки изумляли меня своей чеканной правдой.

— Там, на неведомых дорожках,
Следы невиданных зверей, —

мысленно повторял я чудесные строки и видел эти, очень знакомые мне, едва заметные тропы, видел таинственные следы, которыми примята трава, ещё не стряхнувшая капель росы, тяжёлых, как ртуть. Полнозвучные строки стихов запоминались удивительно легко, украшая празднично всё, о чем говорили они; это делало меня счастливым, жизнь мою — лёгкой и приятной, стихи звучали, как благовест новой жизни. Какое это счастье — быть грамотным!

Великолепные сказки Пушкина были всего ближе и понятнее мне; прочитав их несколько раз, я уже знал их напамять; лягу спать и шепчу стихи, закрыв глаза, пока не усну. Нередко я пересказывал эти сказки денщикам; они, слушая, хохочут, ласково ругаются, Сидоров гладит меня по голове и тихонько говорит:

— Вот славно, а? Ах, господи...

Возбуждение, охватившее меня, было замечено хозяевами, старуха ругалась:

— Зачитался, пострел, а самовар четвёртый день не чищен! Как возьму скалку...

Чтó — скалка? Я оборонялся против неё стихами:

— Душою чёрной зло любя,
Колдунья старая...

Дама ещё выше выросла в моих глазах, — вот какие книги читает она! Это — не фарфоровая закройщица...

Когда я принёс ей книгу и с грустью отдал, она уверенно сказала:

— Это тебе понравилось! Ты слыхал о Пушкине?

Я что-то уже читал о поэте в одном из журналов, но мне хотелось, чтобы она сама рассказала о нём, и я сказал, что не слыхал.

Кратко рассказав мне о жизни и смерти Пушкина, она спросила, улыбаясь, точно весенний день:

— Видишь, как опасно любить женщин?

По всем книжкам, прочитанным мною, я знал, что это действительно — опасно, но — и хорошо. Я сказал:

— Опасно, а все любят! И женщины тоже ведь мучаются от этого...

Она взглянула на меня, как смотрела на всё, сквозь ресницы, и сказала серьёзно:

— Вот как? Ты это понимаешь? Тогда я желаю тебе — не забывай об этом!

И начала спрашивать, какие стихи понравились мне.

Я стал что-то говорить ей, размахивая руками, читая напамять. Она слушала меня молча и серьёзно, потом встала и прошлась по комнате, задумчиво говоря:

— Тебе, милейший зверь, нужно бы учиться! Я подумаю об этом... Твои хозяева — родственники тебе?

И когда я ответил утвердительно, она воскликнула: — О! — как будто осуждая меня.

Она дала мне «Песни Беранже» [1], превосходное издание, с гравюрами, в золотом обрезе и красном кожаном переплёте. Эти песни окончательно свели меня с ума странно тесною связью едкого горя с буйным весельем.

С холодом в груди я читал горькие слова «Старого нищего»:

Червь зловредный — я вас беспокою?
Раздавите гадину ногою!
Что жалеть? Приплюсните скорей!
Отчего меня вы не учили,
Не дали исхода дикой силе?
Вышел бы из червя — муравей!
Я бы умер, братьев обнимая.
А бродягой старым умирая, —
Призываю мщенье на людей!

А вслед за этим я до слёз хохотал, читая «Плачущего мужа». И особенно запомнились мне слова Беранже:

Жизни весёлой наука —
Не тяжела для простых!..

Беранже возбудил у меня неукротимое веселье, желание озорничать, говорить всем людям дерзкие, острые слова, и я, в краткий срок, очень преуспел в этом. Его стихи я тоже заучил напамять и с великим увлечением

[1] «Песни Беранже» — стихотворения французского поэта-песенника Беранже Пьера-Жана (1780—1857).

читал денщикам, забегая в кухни к ним на несколько минут.

Но скоро я должен был отказаться от этого, потому что строки:

А девушке в семнадцать лет
Какая шапка не пристанет!

вызвали отвратительную беседу о девушках, — это оскорбило меня до бешенства, и я ударил солдата Ермохина кастрюлей по голове. Сидоров и другие денщики вырвали меня из неловких рук его, но с той поры я не решался бегать по офицерским кухням.

Гулять на улицу меня не пускали, да и некогда было гулять, — работа всё росла; теперь, кроме обычного труда за горничную, дворника и «мальчика на посылках», я должен был ежедневно набивать гвоздями на широкие доски коленкор, наклеивать на него чертежи, переписывать сметы строительных работ хозяина, проверять счета подрядчиков, — хозяин работал с утра до ночи, как машина.

В те годы казённые здания Ярмарки отходили в частную собственность торговцев; торговые ряды торопливо перестраивались, мой хозяин брал подряды на ремонт лавок и на постройку новых. Он составлял чертежи «на переделку перемычек, пробить в крыше слуховое окно» и т. п.; я носил эти чертежи к старенькому архитектору вместе с конвертом, куда пряталась двадцатипятирублёвая бумажка, — архитектор брал деньги и подписывал: «Чертёж с натурою верен, и надзор за работами принял Имярек»[1]. Разумеется, натуры он не видал, а надзор за работами не мог принять, ибо по болезни вовсе не выходил из дома.

Я же разносил взятки смотрителю Ярмарки и ещё каким-то нужным людям, получая от них «разрешительные

[1] Имярек — такой-то (подписав своё имя и фамилию).

бумажки на всякое беззаконие», как именовал хозяин эти документы. За всё это я получил право дожидаться хозяев у двери, на крыльце, когда они вечерами уходили в гости. Это случалось не часто, но они возвращались домой после полуночи, и несколько часов я сидел на площадке крыльца или на куче брёвен против него, глядя в окна квартиры моей дамы, жадно слушая весёлый говор и музыку.

Окна открыты. Сквозь занавеси и сети цветов я видел, как по комнатам двигаются стройные фигуры офицеров, катается круглый майор, плавает она, одетая удивительно просто и красиво.

Я назвал её про себя — Королева Марго.

— Вот та самая весёлая жизнь, о которой пишут во французских книгах, — думал я, глядя в окна. И всегда мне было немножко печально: детской ревности моей больно видеть вокруг Королевы Марго мужчин, — они вились около неё, как осы над цветком.

Реже других к ней приходил высокий, невесёлый офицер с разрубленным лбом и глубоко спрятанными глазами; он всегда приносил с собою скрипку и чудесно играл, — так играл, что под окнами останавливались прохожие, на брёвнах собирался народ со всей улицы, даже мои хозяева — если они были дома — открывали окна и, слушая, хвалили музыканта. Не помню, чтобы они хвалили ещё кого-нибудь, кроме соборного протодьякона, и знаю, что пирог с рыбьими жирами нравился им всё-таки больше, чем музыка.

Иногда офицер пел и читал стихи глуховатым голосом, странно задыхаясь, прижимая ладонь ко лбу. Однажды, когда я играл под окном с девочкой и Королева Марго просила его петь, он долго отказывался, потом чётко сказал:

— Только песне нужна красота,
Красоте же — и песни не надо...

Мне очень понравились эти стихи, и почему-то стало жалко офицера.

Мне было приятнее смотреть на мою даму, когда она сидела у рояля, играя одна в комнате. Музыка опьяняла меня, я ничего не видел, кроме окна, и за ним, в жёлтом свете лампы, стройную фигуру женщины, гордый профиль её лица и белые руки, птицами летавшие по клавиатуре.

Смотрел я на неё, слушал грустную музыку и бредил: найду где-то клад и весь отдам ей, — пусть она будет богата! Если б я был Скобелевым[1], я снова объявил бы войну туркам, взял бы выкуп, построил бы на Откосе — лучшем месте города — дом и подарил бы ей, — пусть только она уедет из этой улицы, из этого дома, где все говорят про неё обидно и гадко.

И соседи, и вся челядь нашего двора, — а мои хозяева в особенности, — все говорили о Королеве Марго так же плохо и злобно, как о закройщице, но говорили более осторожно, понижая голоса и оглядываясь.

Боялись её, может быть, потому, что она была вдовою очень знатного человека, — грамоты на стенах комнаты её были жалованы дедам её мужа старыми русскими царями: Годуновым, Алексеем и Петром Великим, — это сказал мне солдат Тюфяев, человек грамотный, всегда читавший евангелие. Может быть, люди боялись, как бы она не избила своим хлыстом с лиловым камнем в ручке, — говорили, что она уже избила им какого-то важного чиновника.

Но слова вполголоса были не лучше громко сказанных слов; моя дама жила в облаке вражды к ней, вражды, непонятной мне и мучившей меня. Викторушка рассказывал, что, возвращаясь домой после полуночи, он посмотрел в окно спальни Королевы Марго и увидел, что

[1] Скобелевым (Скобелев М. Д.) — генералом, прославившимся в русско-турецкую войну 1877—1878 годов.

она в одной рубашке сидит на кушетке, а майор, стоя на коленях, стрижет ногти на её ногах и вытирает их губкой.

Старуха, ругаясь, плевалась, молодая хозяйка визжала, покраснев:

— Виктор, фу! Какой бесстыжий! Ах, какие пакостники эти господа!

Хозяин молчал, улыбался, — я был очень благодарен ему за то, что он молчит, но со страхом ждал, что и он вступится сочувственно в шум и вой. Взвизгивая, ахая, женщины подробно расспрашивали Викторушку, как именно сидела дама, как стоял на коленях майор, — Виктор прибавлял всё новые подробности:

— Рожа красная, язык высунул...

Я не видел ничего зазорного в том, что майор стрижёт ногти даме, но я не верил, что он высунул язык, это мне показалось обидною ложью, и я сказал Викторушке:

— Если это нехорошо, так зачем вы в окошко-то смотрели? Вы — не маленький...

Меня изругали, конечно, но ругань не обижала меня, мне только одного хотелось — бежать вниз, встать на колени перед дамой, как стоял майор, и просить её:

— Пожалуйста, уезжайте из этого дома!

Теперь, когда я знал, что есть другая жизнь, иные люди, чувства, мысли, этот дом, со всеми его жителями, возбуждал во мне отвращение всё более тяжёлое. Весь он был оплетён грязною сетью позорных сплетен, в нём не было ни одного человека, о котором не говорили бы злостно...

Когда о Королеве Марго говорили пакости, я переживал судорожные припадки чувств не детских, сердце мое набухало ненавистью к сплетникам, мною овладевало неукротимое желание злить всех, озорничать, а иногда я испытывал мучительные приливы жалости к себе

и ко всем людям, — эта немая жалость была ещё тяжелее ненависти.

Я знал о Королеве больше, чем знали они, и я боялся, чтобы им не стало известно то, что́ я знаю.

По праздникам, когда хозяева уходили в собор к поздней обедне, я приходил к ней утром, она звала меня в спальню к себе, я садился на маленькое, обитое золотистым шёлком кресло, девочка влезала мне на колени, я рассказывал матери о прочитанных книгах. Она лежала на широкой кровати, положив под щёку маленькие ладошки, сложенные вместе, тело её спрятано под покрывалом, таким же золотистым, как и всё в спальне, тёмные волосы, заплетённые в косу, перекинувшись через смуглое плечо, лежали впереди её, иногда свешиваясь с кровати на пол.

Слушая меня, она смотрит в лицо моё мягкими глазами и, улыбаясь чуть заметно, говорит:

— Вот как?

Даже благожелательная улыбка её была, в моих глазах, только снисходительной улыбкой королевы. Она говорила густым ласкающим голосом, и мне казалось, что она говорит всегда одно:

— Я знаю, что я неизмеримо лучше, чище всех людей, и никто из них не нужен мне.

Иногда я заставал её перед зеркалом, — она сидела на низеньком кресле, причёсывая волосы; концы их лежали на коленях её, на ручках кресла, спускались через спинку его почти до полу, — волосы у неё были так же длинны и густы, как у бабушки. Я видел в зеркале её смуглые, крепкие груди, она надевала при мне лиф, чулки, но её чистая нагота не будила у меня ощущений стыдных, а только радостное чувство гордости за неё. Всегда от неё исходил запах цветов, защищавший её от дурных мыслей о ней...

...Однажды я буйно и слепо наозорничал, и когда

пришёл к даме за книжкой, она сказала мне очень строго:

— Однако, ты отчаянный шалун, как я слышала! Не думала я этого...

Я не стерпел и начал рассказывать, как мне тошно жить, как тяжело слушать, когда о ней говорят плохо. Стоя против меня, положив руку на плечо мне, она сначала слушала мою речь внимательно, серьёзно, но скоро засмеялась и оттолкнула меня тихонько.

— Довольно, я всё это знаю — понимаешь? Знаю!

Потом взяла меня за обе руки и сказала очень ласково:

— Чем меньше ты будешь обращать внимания на все эти гадости, тем лучше для тебя... А руки ты плохо моешь...

Ну, этого она могла бы и не говорить: если б она чистила медь, мыла полы и стирала пелёнки, и у неё руки были бы не лучше моих, я думаю.

— Умеет жить человек — на него злятся, ему завидуют; не умеет — его презирают, — задумчиво говорила она, подняв меня, привлекая к себе и с улыбкой глядя в глаза мои. — Ты меня любишь?

— Да.

— Очень?

— Да.

— А — как?

— Не знаю.

— Спасибо, ты — славный! Я люблю, когда меня любят...

Она усмехнулась, хотела что-то сказать, но, вздохнув, долго молчала, не выпуская меня из рук своих.

— Ты чаще приходи ко мне; как можешь, так и приходи...

Я воспользовался этим и много получил доброго от неё. После обеда мои хозяева ложились спать, а я сбегал

вниз и, если она была дома, сидел у неё по часу, даже больше.

— Читать нужно русские книги, нужно знать свою, русскую жизнь, — поучала она меня, втыкая ловкими розовыми пальцами шпильки в свои душистые волосы.

И, перечисляя имена русских писателей, спрашивала:

— Ты запомнишь?

Она часто говорила задумчиво и с лёгкой досадой:

— Тебе нужно учиться, учиться, а я всё забываю об этом! Ах, боже мой...

Посидев у неё, я бежал наверх с новой книгой в руках и словно вымытый изнутри.

Я уже прочитал «Семейную хронику» Аксакова [1], славную русскую поэму — «В лесах» [2], удивительные «Записки охотника» [3], несколько томиков Гребёнки [4] и Соллогуба [5], стихи Веневитинова [6], Одоевского [7], Тютчева [8]. Эти книги вымыли мне душу, очистив её от шелухи впечатлений нищей и горькой действительности; я почувствовал, что́ такое хорошая книга, и понял её необходимость для меня. От этих книг в душе спокойно сложи-

---

[1] «Семейную хронику» («Семейная хроника»). — В этой книге автор С. Т. Аксаков (1791—1859) описал старинный помещичий быт.

[2] «В лесах» — роман П. И. Мельникова-Печерского (1819—1883), изображающий быт и нравы зажиточных волжских купцов-старообрядцев.

[3] «Записки охотника» — произведение И. С. Тургенева.

[4] Гребёнки (Гребёнка Е. П.) — украинского писателя XIX века, прозаические произведения которого написаны на русском языке.

[5] Соллогуба (Соллогуб В. А.) — русского писателя XIX века.

[6] Веневитинова (Веневитинов Д. В.) — русского поэта XIX века.

[7] Одоевского (Одоевский А. И., 1802—1839) — русского поэта-декабриста.

[8] Тютчева (Тютчев Ф. И., 1803—1873) — выдающегося русского поэта.

лась стойкая уверенность: я не один на земле и — не пропаду!

Приходила бабушка, я с восторгом рассказывал ей о Королеве Марго, — бабушка, вкусно понюхивая табачок, говорила уверенно:

— Ну, ну, вот и хорошо! Хороших-то людей много ведь, только поищи — найдёшь!

И однажды предложила:

— Может, сходить к ней, сказать спасибо за тебя?

— Нет, не надо...

— Ну и не надо... Господи, господи, хорошо-то всё как! Жить я согласна — веки вечные!

Королеве Марго не удалось позаботиться о том, чтобы я учился, — на Троицу[1] разыгралась противная история и едва не погубила меня.

Незадолго перед праздниками у меня страшно вспухли веки и совсем закрылись глаза, хозяева испугались, что я ослепну, да и сам я испугался. Меня отвели к знакомому доктору-акушеру Генриху Родзевич, он прорезал мне веки изнутри; несколько дней я лежал с повязкой на глазах, в мучительной, чёрной скуке. Накануне Троицы повязку сняли, и я снова встал на ноги, точно поднялся из могилы, куда был положен живым. Ничего не может быть страшнее, как потерять зрение; это невыразимая обида, она отнимает у человека девять десятых мира.

В весёлый день Троицы я, на положении больного, с полудня был освобождён от всех моих обязанностей и ходил по кухням, навещая денщиков. Все, кроме строгого Тюфяева, были пьяны; перед вечером Ермохин ударил Сидорова поленом по голове, Сидоров без памяти упал в сенях, а испуганный Ермохин убежал в овраг.

По двору быстро разбежался тревожный говор, что Сидоров убит. Около крыльца собрались люди, смотрели

[1] На Троицу — в церковный праздник.

на солдата, неподвижно растянувшегося через порог из кухни в сени головой; шептали, что надо позвать полицию, но никто не звал и никто не решался дотронуться до солдата.

Явилась прачка Наталья Козловская, в новом сиреневом платье, с белым платком на плечах, сердито растолкала людей, вошла в сени, присела на корточки и сказала громко:

— Дураки — он жив! Воды давайте...

Её стали уговаривать:

— Не совалась бы не в своё дело-то!

— Воды, говорю! — крикнула она, как на пожаре; деловито приподняв новое своё платье выше колен, одёрнула нижнюю юбку и положила окровавленную голову солдата на колено себе.

Публика неодобрительно и боязливо разошлась; в сумраке сеней я видел, как сердито сверкают на круглом белом лице прачки глаза, налитые слезами. Я принёс ведро воды, она велела лить воду на голову Сидорова, на грудь и предупредила:

— Меня не облей, — мне в гости итти...

Солдат очнулся, открыл тупые глаза, застонал.

— Поднимай, — сказала Наталья, взяв его подмышки и держа на вытянутых руках, на весу, чтобы не запачкать платья. Мы внесли солдата в кухню, положили на постель, она вытерла его лицо мокрой тряпкой, а сама ушла, сказав:

— Смачивай тряпку водой и держи на голове, а я пойду, поищу того дурака. Черти, так и жди, что до каторги допьются!..

На другой день утром, спустившись в сарай за дровами, я нашёл у квадратной прорези для кошек в двери сарая пустой кошелёк; я десятки раз видел его в руках Сидорова и тотчас же отнёс ему.

— А где же деньги? — спросил он, исследуя паль-

цем внутренность кошелька. — Рубль тридцать. Давай сюда!

Голова у него была в чалме из полотенца[1]; жёлтый, похудевший, он сердито мигал опухшими глазами и не верил, что я нашёл кошелёк пустым.

Пришёл Ермохин и начал убеждать его, кивая на меня:

— Это он украл, он, веди его к хозяевам! Солдат у солдата не украдёт!

Эти слова подсказали мне, что украл именно он, он же и подбросил кошелёк в сарай ко мне, — я тотчас крикнул ему в глаза:

— Врёшь, ты украл!

И окончательно убедился, что я прав в своей догадке, — его дубовое лицо исказилось страхом и гневом, он завертелся и завыл тонко:

— Докажи!

Чем бы я доказал? Ермохин с криком вытащил меня на двор, Сидоров шёл за нами и тоже что-то кричал, из окон высунулись головы разных людей; спокойно покуривая, смотрела мать Королевы Марго. Я понял, что пропал в глазах моей дамы, и — ошалел.

Помню — солдаты держали меня за руки, а хозяева стоят против них, сочувственно поддакивая друг другу, слушают жалобы, и хозяйка говорит уверенно:

— Конечно, это его дело! То-то он вчера с прачкой у ворот любезничал: значит, были деньги, от неё без денег ничего не возьмёшь...

— Так точно! — кричал Ермохин.

Подо мною пол заходил, меня опалила дикая злоба, я заорал на хозяйку и был усердно избит.

Но не столько побои мучили меня, сколько мысль о

---

[1] В чалме из полотенца; чалма — мужской головной убор у арабов и некоторых других восточных народов из длинного куска белой ткани, обёртываемой вокруг головы.

том, чтó теперь думает обо мне Королева Марго. Как оправдаюсь я перед ней? Солоно мне было в эти сквернейшие часы.

На моё счастье, солдаты быстро разнесли эту историю по всему двору, по всей улице, и вечером, лёжа на чердаке, я услыхал внизу крик Натальи Козловской:

— Нет, зачем я буду молчать! Нет, голубчик, иди-ка, иди! Я говорю — иди! А то я к барину пойду, он тебя заставит...

Я сразу почувствовал, что этот шум касается меня. Кричала она около нашего крыльца, голос её звучал всё более громко и торжествующе.

— Ты вчера сколько мне показывал денег? Откуда они у тебя — расскажи.

Задыхаясь от радости, я слышал, как Сидоров уныло тянет:

— Ай-яй, Ермохин...

— А мальчишку ославили, избили, а?

Мне хотелось сбежать вниз во двор, плясать от радости, благодарно целовать прачку, но в это время, — должно быть, из окна, — закричала моя хозяйка:

— Мальчишку за то били, что он ругается, а что он вор — никто этого не думал, кроме тебя, халда!

— Вы сами, сударыня, халда, корова вы эдакая, позвольте вам сказать.

Я слушал эту брань, как музыку, сердце больно жгли горячие слёзы обиды и благодарности Наталье, я задыхался в усилиях сдержать их.

Потом на чердак медленно поднялся по лестнице хозяин, сел на связь стропил около меня и сказал, оправляя волосы:

— Что, брат, Пешков, не везёт тебе?

Я молча отвернулся от него.

— А всё-таки ругаешься ты безобразно, — продолжал он, а я тихо объявил ему:

— Когда встану — уйду от вас...

Он посидел, помолчал, куря папироску, и, внимательно разглядывая конец её, сказал негромко:

— Что же, твоё дело! Ты уж не маленький, сам гляди, как будет лучше для тебя...

И ушёл. Как всегда — было жалко его.

На четвёртые сутки после этого — я ушёл из дома. Мне нестерпимо хотелось проститься с Королевой Марго, но у меня нехватило смелости пойти к ней, и, признаться, я ждал, что она сама позовёт меня.

Прощаясь с девочкой, я попросил:

— Скажи маме, что я очень благодарю её, очень! Скажешь?

— Скажу, — обещала она, ласково и нежно улыбаясь. — Прощай до завтра, да?

Я встретил её лет через двадцать, замужем за офицером, жандармом...

XI

Я снова посудником на пароходе «Пермь», белом, как лебедь, просторном и быстром. Теперь я «чёрный» посудник или «кухонный мужик», я получаю семь рублей в месяц, моя обязанность — помогать поварам.

Буфетчик, круглый и надутый спесью [1], лыс, как мяч; заложив руки за спину, он целые дни тяжело ходит по палубе, точно боров в знойный день ищет тенистый угол. В буфете красуется его жена, дама лет за сорок, красивая, но измятая, напудренная до того, что со щёк её осыпается на яркое платье белая липкая пыль.

В кухне воеводит [2] дорогой повар Иван Иванович, по прозвищу Медвежонок, маленький, полненький, с ястре-

---

[1] Надутый спесью — надменный, высокомерный.

[2] Воеводит (воеводить) — командует.

биным носом и насмешливыми глазами. Он — щёголь, носит крахмальные воротнички, ежедневно бреется, щёчки у него синие, тёмные усы подкручены вверх; в свободные минуты он непрерывно беспокоит усы, поправляя печёными красными пальцами, и всё смотрит на них в круглое ручное зеркальце.

Самый интересный человек на пароходе — кочегар Яков Шумов, широкогрудый, квадратный мужик. Курносое лицо его плоско, точно лопата, медвежьи глазки спрятаны под густыми бровями, щёки — в мелких колечках волос, похожих на болотный мох, на голове эти волосы свалялись плотной шапкой, он с трудом просовывает в них кривые пальцы.

Он ловко играл в карты на деньги и удивлял своим обжорством; как голодная собака, он постоянно тёрся около кухни, выпрашивая куски мяса, кости, а по вечерам пил чай с Медвежонком и рассказывал про себя удивительные истории.

Смолоду он был подпаском [1] у городского пастуха в Рязани, потом прохожий монах сманил его в монастырь; там он четыре года послушничал [2].

— И быть бы мне монахом, чёрной божьей звездой, — скороговоркой балагурил он, — только пришла к нам в обитель богомолочка из Пензы — забавная такая, да и сомутила [3] меня: экой ты ладной, экой крепкой, а я, бает, честная вдова, одинокая, и шёл бы ты ко мне в дворники, у меня, бает, домик свой, а торгую я птичьим пухом и пером...

— Ладно-о, она меня — в дворники, я к ней — в любовники, и жил около её тёплого хлеба года с три время...

---

[1] Подпаском (подпасок) — помощником пастуха.

[2] Послушничал (послушничать) — был послушником, прислужником в монастыре, готовясь стать монахом.

[3] Сомутила — смутила (смутить).

— Смело врёшь, — прерывает его Медвежонок, озабоченно разглядывая прыщики на своём носу. — Кабы за ложь деньги платили — быть бы тебе в тысячах![1]

Яков жуёт, по слепому его лицу двигаются сивые колечки волос, шевелятся мохнатые уши; выслушав замечание повара, он продолжает так же мерно и быстро:

— Была она меня старше, стало мне с ней скушно, стало мне нудно, и связался я с племянницей ейной[2], а она про то узнала, да по шее меня со двора-то...

— Это тебе награда — лучше не надо, — говорит повар так же легко и складно, как Яков.

Кочегар продолжает, сунув за щеку кусок сахара:

— Проболтался я по ветру некоторое время и приснастился[3] к старичку-володимерцу, офене[4], и пошли мы с ним сквозь всю землю: на Балкан-горы[5] ходили, к самым — к туркам, к румынам тоже, ко грекам, австриякам разным — все народы обошли, у того — купишь, этому — продашь...

— А воровали? — серьёзно спрашивает повар.

— Старичок — ни-ни! И мне сказал: в чужой земле ходи честно, тут, дескать, такой порядок, что за пустяки башку оторвут. Воровать я — верно — пробовал, только — неутешно[6] вышло: затеял я у купца коня свести со двора, ну — не сумел, поймали, начали, конешное дело, бить, били-били — в полицию оттащили. А было нас — двое, один-то настоящий, законный конокрад, а я

[1] Быть в тысячах — быть богатым, иметь много денег.

[2] Ейной — её.

[3] Приснастился (приснаститься) — пристроился.

[4] К старичку-володимерцу, офене (офеня) — к старичку, родом из Владимирской губернии, который был офеней — бродячим торговцем, продававшим мануфактурные изделия, пуговицы и прочую галантерейную мелочь.

[5] Балкан-горы — гористый Балканский полуостров.

[6] Неутешно — здесь: неудачно.

так себе, из любопытства больше. А у купца этого я работал, печь в новой бане клал, и начал купец хворать, тут я ему во сне приснился нехорошо, испугался он и давай просить начальство: отпустите его, — это меня, значит, — отпустите его, а то-де он во сне снится — не простишь ему, бает, не выздоровеешь, колдун он, видно, — это я, стало быть, колдун! Н-ну, купец он знатный, отпустили меня...

— Тебя бы не отпустить, а в воду опустить дня на три, чтоб из тебя дурь вымокла, — вставил повар.

Яков тотчас подхватил его слова:

— Правильно, дури во мне много, прямо сказать — на целую деревню дури во мне...

Запустив палец за тугой воротничок, повар сердито оттягивает его, мотая головой и жалуясь с досадой:

— Какова чушь! Живёт на земле вот такой арестант, жрёт, пьёт, шляется, а — к чему? Ну, скажи, зачем ты живёшь?

Чавкая, кочегар отвечает:

— Это мне неизвестно. Живу и живу. Один — лежит, другой — ходит, чиновник сиднем сидит, а есть — всякий должен.

Повар ещё более сердится.

— То-есть какая ты свинья, что даже — невыразимо! Прямо — свиной корм...

— Чего ты ругаешься? — удивляется Яков. — Мужики — все одного дуба жёлуди. Ты — не ругайся, я ведь с этого лучше никак не стану...

Этот человек сразу и крепко привязал меня к себе; я смотрел на него с неизбывным удивлением, слушал, разинув рот. В нём было, как я думал, какое-то своё, крепкое знание жизни. Он всем говорил «ты», смотрел на всех из-под мохнатых бровей одинаково прямо, независимо, и всех — капитана, буфетчика, важных пассажиров первого класса — как бы выравнивал в один ряд с

самим собою, с матросами, прислугой буфета и палубными пассажирами.

Бывало — стоит он перед капитаном или машинистом, заложив за спину свои длинные обезьяньи руки, и молча слушает, как его ругают за лень или за то, что он беспечно обыграл человека в карты, стоит, — и видно, что ругань на него не действует, угрозы ссадить с парохода на первой пристани не пугают его.

В нём есть что-то всем чужое — как это было в «Хорошем деле», он, видимо, и сам уверен в своей особенности, в том, что люди не могут понять его.

Я никогда не видал этого человека обиженным, задумавшимся, не помню, чтобы он долго молчал, — из его мохнатого рта всегда и даже как будто помимо его желания непрерывным ручьём текли слова. Когда его ругают или он слушает чей-либо интересный рассказ, губы его шевелятся, точно он повторяет про себя то, что слышит, или тихонько продолжает говорить своё. Каждый день, кончив вахту [1], он вылезал из люка кочегарни, босой, потный, вымазанный нефтью, в мокрой рубахе без пояса, с раскрытой грудью в густой кудрявой шерсти, и тотчас по палубе растекался его ровный, однозвучный, сиповатый голос, сеялись слова, точно капли дождя.

— Здорово, мать! Куда едешь? В Чистополь? Знаю, бывал там, у богатого татарина батраком жил. А звали татарина Усан Губайдулин, о трёх жёнах [2] был старик, ядрёный [3] такой, морда красная. А одна молодуха, за-абавная была татарочка, я с ней грех имел...

Он везде был, со всеми женщинами на своём пути имел грех; он рассказывал обо всём беззлобно, спокойно, как будто никогда в жизни своей не испытал ни обиды,

[1] Кончив вахту — кончив дежурство.

[2] О трёх жёнах — имел трёх жён.

[3] Ядрёный — крепкий, плотный, здоровый.

ни поругания. Через минуту его речь звучала где-то на корме.

— Честной народ, которые — в карты играют? В стуколку, в три листика, в ремешок, эй! Утешное дело[1] карты, сидя можно деньги взять, купеческое занятие...

Я заметил, что он редко говорит: хорошо, плохо, скверно, но почти всегда: забавно, утешно, любопытно. Красивая женщина для него — забавная бабочка, хороший солнечный день — утешный денёк. А чаще всего он говорил:

— Наплевать!

Все считали его лентяем, а мне казалось, что он делает свою трудную работу перед топкой, в адской, душной и вонючей жаре, так же добросовестно, как все, но я не помню, чтобы он жаловался на усталость, как жаловались другие кочегары.

Однажды у старухи-пассажирки кто-то вытащил кошель с деньгами; было это ясным, тихим вечером, все люди жили добродушно и мирно. Капитан дал старухе пять рублей, пассажиры тоже собрали между собою сколько-то; когда деньги отдали старухе, она, крестясь и кланяясь в пояс людям, сказала:

— Родимые — тут на три целковых с гривенником лишку вышло противу моих-то!

Кто-то весело крикнул:

— Бери всё, бабка, чего зря звонить! Трёшница никогда не лишняя...

Кто-то складно сказал:

— Деньги не люди, лишними не будут...

А Яков подошёл к старухе и предложил серьёзно:

— Давай мне лишнее-то, я в карты сыграю!

Публика засмеялась, думая, что кочегар шутит, но он стал настойчиво уговаривать смущённую старуху:

---

[1] **Утешное дело** — здесь: приятное занятие, которое утешает.

— Давай, бабка! На кой тебе деньги? Тебе завтра — на погост...[1]

Его прогнали, изругав; он, покачивая головою, говорил мне с удивлением:

— Чудак народ! Чего бы путаться в чужое дело? Ведь она сама объявила — деньги ей лишние! А меня бы трёшка утешила...

Деньги, должно быть, очень забавляли его своей внешностью, — разговаривая, он любил чистить серебро и медь о штаны, а высветлив монету до блеска и пошевеливая бровями, разглядывал её, держа в кривых пальцах перед курносым лицом. Но он был не жаден на деньги.

Однажды он предложил мне играть с ним в стукол-ку, я не умел.

— Не умеешь? — удивился он. — Как же ты? А ещё грамотен! Надо тебя обучить. Давай играть внарошку[2], на сахар...

Он выиграл у меня полфунта пилёного сахару и всё прятал куски за мохнатую щёку, потом, найдя, что я умею уже играть, предложил:

— Теперь давай всерьёз играть, на деньги! Есть деньги?

— Есть пять рублей.

— А у меня два с гаком.

Разумеется, он живо обыграл меня. Желая отыграться, я поставил на кон поддёвку в пять рублей и — проиграл, поставил новые сапоги в трёшницу — тоже проиграл. Тогда Яков сказал мне недовольно, почти сердито:

— Нет, ты играть не можешь, больно горяч — сейчас поддёвку долой, сапоги! Это мне не надо. На-ко, возьми обратно одёжу и деньги возьми, четыре целковых, а рубль — мне за науку... Ладно ли?

---

[1] Погост — кладбище.

[2] Внарошку — в шутку, не на деньги.

Я был очень благодарен ему.

— Наплевать! — сказал он в ответ на мои благодарности. — Игра, это — игра, забава, значит, а ты словно в драку лезешь. Горячиться и в драке не надо — бей с расчётом! Чего там горячиться? Ты — молодой, должен держать себя крепко. Раз — не удалось, пять — не удалось, семь — плюнь! Отойди. Простынешь — опять валяй! Это — игра!

Мне он всё более нравился и не нравился. Иногда его рассказы напоминали бабушку. Было в нём много чего-то, что привлекало меня, но — резко отталкивало его густое, видимо на всю жизнь устоявшееся равнодушие к людям...

Иногда кочегар казался мне дурачком, но чаще я думал, что он нарочно притворяется глупым. Мне упрямо хотелось выспросить его о том, как он ходил по земле, чтó видел, но это плохо удавалось; закидывая голову вверх, чуть приоткрыв медвежьи тёмные глаза, он гладил рукою мшистое своё лицо и тянул, вспоминая:

— Народишку везде, браток, как муравья! И там народ и тут, — суета, я те скажу! Боле всего, конешно, крестьян, — прямо засыпана земля мужиком, как осенним листом, скажем. Болгары? Видал болгаров, и греков тоже, а то — сербей, румынцев тоже и всяких цыган, — много их, разных! Какой народ? Да ведь какой же? В городах — городской, в деревнях — деревенской, совсем как у нас. Схожести много. Которые даже говорят по-нашему, только плохо, как, напримерно, татаре али мордва. Греки не могут по-нашему, они лопочут как попало, говорят будто слова, а что к чему — нельзя понять. С ними надо на пальцах говорить. А старичок мой — он прикидывался, что быдто и греков понимает, бормочет — карамара да калимера. Хитрый был старичок, здорово калил их!.. Опять ты спрашиваешь — какие? Чудак, какие же люди могут быть? Ну, конешно, чёрные они, и

румыне тоже чёрные, это одна вера. Болгаре — тоже чёрные, ну, эти веруют по-нашему. А греки — это вроде турков...

Мне казалось, что он говорит не всё, что знает, есть у него ещё что-то, о чём он не хочет сказать.

По картинам журналов я знал, что столица Греции Афины — древнейший и очень красивый город, но Яков, сомнительно покачивая головой, отвергал Афины.

— Это тебе наврали, браток, Афинов нету, а есть — Афон, только что не город, а гора, и на ней — монастырь. Боле ничего. Называется: святая гора Афон, такие картинки есть, старик торговал ими. Есть город Белгород, стоит на Дунай-реке, вроде Ярославля, али-бо Нижнего. Города у них неказисты, а вот деревни — другое дело! Бабы тоже, ну, бабы просто досмерти утешны. Из-за одной я чуть не остался там, — как, бишь, её звали?

Он крепко трёт ладонями слепое лицо, жёсткие волосы тихонько хрустят, в горле у него, глубоко где-то, звучит смех, напоминая бряканье разбитого бубенчика.

— Забывчивый человек! А ведь как мы с ней бывало... Прощалась она — плакала, и я плакал даже, ей-бо-о...

Он со спокойным бесстыдством начинал поучать меня, как нужно обращаться с женщинами.

Мы сидим на корме, тёплая лунная ночь плывёт навстречу нам, луговой берег едва виден за серебряной водою, с горного — мигают жёлтые огни, какие-то звёзды, пленённые землёю. Всё вокруг движется, бессонно трепещет, живёт тихою, но настойчивою жизнью.

Рассказ Якова бесстыден, но не противен, в нём нет хвастовства, в нём нет жестокости, а звучит что-то простодушное и немножко печали. Луна в небе тоже бесстыдно гола и так же волнует, заставляя грустить о чём-

то. Вспоминается только хорошее, самое лучшее — Королева Марго и незабвенные своею правдой стихи:

Только песне нужна красота,
Красоте же — и песни не надо...

Стряхивая с себя это мечтательное настроение, как лёгкую дремоту, я снова выспрашиваю кочегара о его жизни, о том, что он видел.

— Чудак ты, — говорит он, — чего же тебе сказать? Я всё видел. Спроси: монастыри видел? Видел. А трактиры? Тоже видел. Видел господскую жизнь и мужицкую. Жил сыто, жил и голодно...

Его все ругали — капитан, машинист, боцман, — все, кому не лень, и было странно: почему его не рассчитают? Кочегары относились к нему заметно лучше других людей, хотя и высмеивали за болтовню, за игру в карты. Я спрашивал их:

— Яков — хороший человек?

— Яков-то? Ничего. Он — безобидный, с ним что хошь делай, хоть калёные угли за пазуху ему клади...

При тяжёлом труде у котлов и при его лошадином аппетите, кочегар спал очень мало — сменится с вахты и, часто не переодеваясь, потный, грязный, торчит всю ночь на корме, беседуя с пассажирами или играя в карты.

Он стоял предо мною как запертый сундук, в котором, я чувствовал, спрятано нечто необходимое мне, и я упрямо искал ключа, который отпер бы его.

— Чего ты, браток, добиваешься, не могу я понять? — справлялся он, разглядывая меня невидимыми из-под бровей глазами. — Ну, земля, ну, действительно, что обошёл я её много, а ещё что? Ч-чудак!..

За кормою, вся в пене, быстро мчится река, слышно кипение бегущей воды, чёрный берег медленно провожает её. На палубе храпят пассажиры, между скамей — между

сонных тел—тихо двигается, приближаясь к нам, высокая, сухая женщина в чёрном платье, с открытой седой головою,—кочегар, толкнув меня плечом, говорит тихонько:

— Гляди — тоскует...

И мне кажется, что чужая тоска забавляет его.

Рассказывал он много, я слушал его жадно, хорошо помню все его рассказы, но не помню ни одного весёлого. Он говорил более спокойно, чем книги, — в книгах я часто слышал чувство писателя, его гнев, радость, его печаль, насмешку. Кочегар не смеялся, не осуждал, ничто не обижало его и не радовало заметно; он говорил как равнодушный свидетель перед судьёй, как человек, которому одинаково чужды обвиняемые, обвинители, судьи... Это равнодушие вызывало у меня всё более злую тоску, будило чувство сердитой неприязни к Якову.

Жизнь горела перед ним, как огонь в топке под котлами, он стоял перед топкой с деревянным молотком в корявой медвежьей лапе и тихонько стучал по крану форсунки[1], убавляя или прибавляя топлива.

— Обижали тебя?

— Кто ж меня обидит? Я ведь сильный, как дам раза!..

— Я не про побои, а душу — обижали?

— Душу нельзя обидеть, душа обиды не принимает, — говорит он. — Души человеческой никак не коснёшься, ничем...

Палубные пассажиры, матросы, все люди говорили о душе так же много и часто, как о земле, работе, о хлебе и женщинах. Душа — десятое слово в речах простых людей, слово ходовое, как пятак. Мне не нравится, что слово это так прижилось на скользких языках людей, а когда мужики матерщинничают, злобно и ласково, поганя душу, — это бьёт меня по сердцу.

---

[1] По крану форсунки (форсунка) — по крану прибора, при помощи которого распыливается топливо — нефть, уголь.

Я очень помню, как осторожно говорила бабушка о душе, таинственном вместилище[1] любви, красоты, радости, я верил, что после смерти хорошего человека белые ангелы относят душу его в голубое небо, к доброму богу моей бабушки, а он ласково встречает её:

— Что, моя милая, что, моя чистая, — настрадалась, намаялась?

И даёт душе серафимовы крылья — шесть белых крылий.

Яков Шумов говорит о душе так же осторожно, мало и неохотно, как говорила о ней бабушка. Ругаясь, он не задевал душу, а когда о ней рассуждали другие, молчал, согнув красную бычью шею. Когда я спрашиваю его — что́ такое душа? — он отвечает:

— Дух, дыхание божие...

Мне мало этого, я спрашиваю ещё о чём-то, тогда кочегар, наклонив голову, говорит:

— О душе, браток, и попы мало понимают, это дело закрытое...[2]

Он держит меня в постоянных думах о нём, в упорном напряжении понять его, но это напряжение безуспешно. Кроме того, я ничего не вижу, он всё заслоняет от меня своей широкой фигурой...

Он относится ко мне ласково, с любопытством, как к неглупому кутёнку, который умеет делать забавные штуки. Бывало сидишь с ним ночью, от него пахнет нефтью, гарью, луком — он любил лук и грыз сырые луковицы, точно яблоки; вдруг он спросит:

— Ну-ка-ся, Олёха, ероха-воха, скажи стишок!

Я знаю много стихов напамять, кроме того, у меня есть толстая тетрадь, где записано любимое. Читаю ему «Руслана», он слушает неподвижно, слепой и немой, сдерживая хрипящее дыхание, потом говорит негромко:

---

[1] О вместилище; вместилище — место.

[2] Дело закрытое — никому не известное.

— Утешная, складная сказочка! Сам, что ли, придумал? Пушкин? Есть такой барин Мухин-Пушкин, видал я его.

— Не тот, того давно убили!

— За што?

Я рассказываю теми краткими словами, как рассказывала мне Королева Марго. Яков слушает, потом спокойно говорит:

— Из-за баб очень достаточно пропадает народа...

Часто я передаю ему разные истории, вычитанные из книг; все они спутались, скипелись у меня в одну длиннейшую историю беспокойной, красивой жизни, насыщенной огненными страстями, полной безумных подвигов, пурпурового благородства [1], сказочных удач, дуэлей [2] и смертей, благородных слов и подлых деяний. Рокамболь [3] принимал у меня рыцарские черты Ля-Моля, Аннибала [4], Коконна [5]; Людовик XI [6] — черты отца Гранде [7], корнет Отлетаев [8] сливается с Генрихом IV [9]. Эта

---

[1] Пурпурового благородства (пурпуровое благородство) — высокого, рыцарского благородства, которое авторы многих исторических романов приписывали королям, носившим пурпур — одежды из красной ткани — как признак величия.

[2] Дуэлей (дуэль) — поединков на шпагах, пистолетах.

[3] Рокамболь — герой романов французского писателя XIX века Понсон дю Террайля.

[4] Аннибала (Аннибал) — знаменитого карфагенского полководца (247—183 г. до н. э.).

[5] Ля-Моля, Коконна (Ля-Моль, Коконн) — героев романа «Королева Марго» Дюма-отца.

[6] Людовик XI — французский король (1423—1483), герой одного из романов Вальтер Скотта.

[7] Отца Гранде (отец Гранде) — героя романа Бальзака «Евгения Гранде».

[8] Корнет Отлетаев — герой одноимённой повести князя Г. В. Кугушева. Корнет — в царской армии офицерский чин в кавалерии.

[9] С Генрихом IV (Генрих IV) — с французским королём (1553—1610), первым из династии Бурбонов.

история, в которой я, по вдохновению, изменял характеры людей, перемещал события, была для меня миром, где я был свободен, подобно дедову богу, — он тоже играет всем, как хочет. Не мешая мне видеть действительность такою, какова она была, не охлаждая моего желания понимать живых людей, этот книжный хаос прикрывал меня прозрачным, но непроницаемым облаком от множества заразной грязи, от ядовитых отрав жизни.

Книги сделали меня неуязвимым для многого: зная, как любят и страдают, нельзя итти в публичный дом; копеечный развратишко возбуждал отвращение к нему и жалость к людям, которым он был сладок. Рокамболь учил меня быть стойким, не поддаваться силе обстоятельств, герои Дюма внушали желание отдать себя какому-то важному, великому делу...

Он не восхищался, не перебивал моих рассказов вопросами, он слушал молча, опустив брови, с лицом неподвижным,— старый камень, прикрытый плесенью. Но если я почему-либо прерывал речь, он тотчас осведомлялся:

— Конец?

— Нет ещё.

— А ты не останавливайся!

О французах он говорил, вздыхая:

— Прохладно живут...[1]

— Как это?

— А вот мы с тобой в жаре живём, в работе, а они — в прохладе. И делов у них никаких нет, только пьют да гуляют, — утешная жизнь!

— Они и работают.

— Не видать этого по историям-то по твоим, — справедливо заметил кочегар, и мне вдруг стало ясно, что огромное большинство книг, прочитанных мною,

[1] Прохладно живут — живут не торопясь.

почти совсем не говорит, как работают, каким трудом живут благородные герои.

— Ну-ка-сь, посплю я немножко, — говорил Яков, опрокидываясь на спину там, где сидел, и через минуту мерно свистал носом.

Осенью, когда берега Камы порыжели, деревья озолотились, а косые лучи солнца стали белеть, — Яков неожиданно ушёл с парохода. Ещё накануне этого он говорил мне:

— Послезавтра прибудем мы с тобой, ероха-воха, в Пермь, сходим в баню, попаримся за милую душу, а оттелева — зарядим в трактир с музыкой, — утешно! Люблю я глядеть, как машина [1] играет.

Но в Сарапуле сел на пароход толстый мужчина с дряблым, бабьим лицом без бороды и усов. Тёплая длинная чуйка [2] и картуз с наушниками из лисьего меха ещё более усиливали его сходство с женщиной. Он тотчас же занял столик около кухни, где было теплее, спросил чайный прибор и начал пить жёлтый кипяток, не расстегнув чуйки, не сняв картуза, обильно [3] потея.

Осенние тучи неугомонно сеяли мелкий дождь, и казалось, что когда этот человек вытрет клетчатым платком пот с лица, дождь идёт тише, а по мере того как человек снова потеет — и дождь становится сильнее.

Скоро около него очутился Яков, и они стали рассматривать карту в календаре — пассажир водил по ней пальцем, а кочегар спокойно говорил:

— Что ж! Ничего. Это мне — наплевать...

— И хорошо, — тоненьким голосом сказал пассажир, сунув календарь в приоткрытый кожаный мешок у своих ног.

---

[1] Машина — большой музыкальный механический инструмент, звуки которого напоминают игру духового оркестра.

[2] Чуйка — длинный суконный кафтан.

[3] Обильно — сильно.

Тихонько разговаривая, они начали пить чай.

Перед тем как Яков пошёл на вахту, я спросил его, что́ это за человек. Он ответил, усмехаясь:

— Видать, будто голубь, скопец, значит. Из Сибири, далеко! Забавный, по планту [1] живёт...

Он пошёл прочь от меня, ступая по палубе чёрными пятками, твёрдыми, точно копыта, но снова остановился, почёсывая бок.

— Я к нему в работники нанялся; как в Перму приедем, слезу с парохода, прощай, ероха-воха! По железной дороге ехать, потом — по реке, да на лошадях ещё; пять недель будто ехать надо, вона куда человек забился...

— Ты его знаешь? — спросил я, удивлённый неожиданным решением Якова.

— Отколе? [2] И не видывал николи [3], я в его местах не жил ведь...

Наутро Яков, одетый в короткий, сальный полушубок, в опорках [4] на босую ногу, в изломанной, без полей, соломенной шляпе Медвежонка, тискал мою руку чугунными пальцами и говорил:

— Вали со мной, а? Он возьмёт и тебя, голубь-то, ежели сказать ему; хошь — скажу? Отрежут тебе лишнее, денег дадут. Им это — праздник, человека изуродовать, они за это наградят.

Скопец стоял у борта с беленьким узелком подмышкой, упорно смотрел на Якова мёртвыми глазами, грузный, вспухший, как утопленник. Я негромко обругал его, кочегар ещё раз тиснул мою ладонь.

— Пускай его, наплевать! Всяк своему богу молится, нам — что́? Ну, прощай! Живи на счастье!

---

[1] По планту — правильно: по плану (план).

[2] Отколе — откуда.

[3] Николи — никогда.

[4] В опорках (опорки) — в изодранной обуви.

И ушёл Яков Шумов, переваливаясь с ноги на ногу, как медведь, оставив в сердце моём нелёгкое, сложное чувство, — было жалко кочегара и досадно на него, было, помнится, немножко завидно, и тревожно думалось: зачем пошёл человек неведомо куда?

И — что же за человек Яков Шумов?

XII

Позднею осенью, когда рейсы парохода кончились, я поступил учеником в мастерскую иконописи, но через день хозяйка моя, мягкая и пьяненькая старушка, объявила мне владимирским говором [1].

— Дни теперя коротенькие, вечера длинные, так ты с утра будешь в лавку ходить, мальчиком при лавке постоишь, а вечерами — учись!

И отдала меня во власть маленького, быстроногого приказчика, молодого парня с красивеньким, приторным лицом. По утрам, в холодном сумраке рассвета я иду с ним через весь город по сонной купеческой улице Ильинке, на Нижний базар; там, во втором этаже Гостиного двора, помещается лавка. Приспособленная из кладовой, тёмная, с железною дверью и одним маленьким окном на террасу, крытую железом, лавка была тесно набита иконами разных размеров, киотами, гладкими и с «виноградом» [2], книгами церковнославянской печати в переплётах жёлтой кожи. Рядом с нашей лавкой помещалась другая, в ней торговал тоже иконами и книгами чернобородый купец, родственник староверческого начётчика [3],

---

[1] Владимирским говором (владимирский говор) — сильно окая, произнося неударяемый звук «о», как «о» ударяемое.

[2] Киотами гладкими (киоты гладкие) и с «виноградом» — остеклёнными ящиками для икон с гладкими стенками и украшенными резьбой в виде листьев и гроздьев винограда.

[3] Начётчика (начётчик) — человека, хорошо знающего церковные книги.

известного за Волгой, в Керженских краях; при купце — сухонький и бойкий сын, моего возраста, с маленьким серым личиком старика, с беспокойными глазами мышонка.

Открыв лавку, я должен был сбегать за кипятком в трактир; напившись чаю — прибрать лавку, стереть пыль с товара и потом — торчать на террасе, зорко следя, чтобы покупатели не заходили в лавку соседа.

— Покупатель — дурак, — уверенно говорил мне приказчик. — Ему всё едино, где купить, лишь бы дёшево, а в товаре он не понимает!

Быстро щёлкая дощечками икон, хвастаясь тонким знанием дела, он поучал меня:

— Мастерской работы — товар дешёвый, три вершка на четыре — себе сто́ит... шесть вершков на семь — себе сто́ит... Святых знаешь? Запомни: Вонифатий — от запоя; Варвара-великомученица — от зубной боли, нечаянныя смерти; Василий Блаженный — от лихорадки, горячки... Богородиц знаешь? Гляди: Скорбящая, Троеручица, Абалацкая-Знамение, Не рыдай мене мати, Утоли моя печали, Казанская, Покрова, Семистрельная...

Я быстро запомнил цены икон по размерам и работе, запомнил различия в иконах богородиц, но запомнить значение святых было нелегко.

Задумаешься бывало о чём-нибудь, стоя у двери лавки, а приказчик вдруг начнёт проверять мои знания:

— Трудных родов разрешитель — кто будет?

Если я ошибаюсь, он презрительно спрашивает:

— Для чего у тебя голова?

Ещё труднее было зазывать покупателей; уродливо написанные иконы не нравились мне, продавать их было неловко. По рассказам бабушки я представлял себе богородицу молодой, красивой, доброй; такою она была и на картинках журналов, а иконы изображали её ста-

рой, строгой, с длинным, кривым носом и деревянными ручками.

В базарные дни, среду и пятницу, торговля шла бойко, на террасе то и дело появлялись мужики и старухи, иногда целые семьи, всё — старообрядцы из Заволжья, недоверчивый и угрюмый лесной народ. Увидишь бывало, как медленно, точно боясь провалиться, шагает по галлерее тяжёлый человек, закутанный в овчину и толстое, дома валянное сукно, — становится неловко перед ним, стыдно. С великим усилием встанешь на дороге ему, вертишься под его ногами в пудовых сапогах и комаром поёшь:

— Что вам угодно, почтенный? Псалтири следованные и толковые[1], Ефрема Сирина книги, Кирилловы, Уставы, Часословы[2] — пожалуйте, взгляните! Иконы все, какие желаете, на разные цены, лучшей работы, тёмных красок! На заказ пишем кого угодно, всех святых и богородиц! Именную[3], может, желаете заказать, семейную?[4] Лучшая мастерская в России! Первая торговля в городе!

Непроницаемый и непонятный покупатель долго молчит, глядя на меня, как на собаку, и вдруг, отодвинув меня в сторону деревянной рукою, идёт в лавку соседа, а приказчик мой, потирая большие уши, сердито ворчит:

— Упустил, тор-рговец...

---

[1] Псалтири следованные и толковые — книги псалмов (церковных песнопений); в следованной псалтири псалмы расположены в порядке употребления их в богослужениях; толковая псалтирь — с объяснениями.

[2] Ефрема Сирина книги, Кирилловы, Уставы, Часословы — церковные книги.

[3] Именную (именная) — икону с изображением «святого», имя которого носит заказчик.

[4] Семейную (семейная) — икону с изображением «святых», имена которых носят заказчик и члены его семьи.

В лавке соседа гудит мягкий, сладкий голос, течёт одуряющая речь:

— Мы, родимый, не овчиной торгуем, не сапогом, а — божьей благодатию, которая превыше сребра-злата, и нет ей никакой цены...

— Ч-чорт! — шепчет мой приказчик с завистью и восхищением. — Здорово заливает глаза мужику. Учись! Учись!

Я учился добросовестно, — всякое дело надо делать хорошо, коли взялся за него. Но я плохо преуспевал в заманивании покупателей и в торговле; эти угрюмые мужики, скупые на слова, старухи, похожие на крыс, всегда чем-то испуганные, поникшие, вызывали у меня жалость к ним, хотелось сказать тихонько покупателю настоящую цену иконы, не запрашивая лишнего двугривенного. Все они казались мне бедными, голодными, и было странно видеть, что эти люди платят по три рубля с полтиной за Псалтирь — книгу, которую они покупали чаще других.

Они удивляли меня своим знанием книг, достоинств письма на иконах, а однажды седенький старичок, которого я загонял в лавку, кротко сказал мне:

— Неправда это будет, малый, что ваша мастерская по иконам самолучшая в России, самолучшая-то — Рогожина, в Москве!

Смутясь, я посторонился, а он тихонько пошёл дальше, не зайдя и в лавку соседа.

— Съел? — ехидно спросил меня приказчик.

— Вы мне не говорили про мастерскую Рогожина...

Он начал ругаться:

— Шляются вот этакие тихони и всё знают, анафемы[1], всё понимают, старые псы...

Красивенький, сытый и самолюбивый, он ненавидел мужиков и в добрые минуты жаловался мне:

---

[1] Анафемы — проклятые.

— Я — умный, я чистоту люблю, хорошие запахи — ладан, одеколон, а при таком моём достоинстве должен вонючему мужику в пояс кланяться, чтоб он хозяйке пятак барыша дал! Хорошо это мне? Что такое мужик? Кислая шерсть, вошь земная, а между тем...

Он огорчённо умолкал.

Мне мужики нравились, в каждом из них чувствовалось нечто таинственное, как в Якове...

Весьма часто старики и старухи приносили продавать древнепечатные книги дониконовских времён [1] или списки таких книг, красиво сделанные скитницами [2] на Иргизе и Керженце; списки Миней, не правленных Дмитрием Ростовским [3]; древнего письма иконы, кресты и медные складни [4] с финифтью [5], поморского литья [6], серебряные ковши, даренные московскими князьями кабацким целовальникам [7]; всё это предлагалось таинственно, с оглядкой, из-под полы.

И мой приказчик и наш сосед очень зорко следили за такими продавцами, стараясь перехватить их друг у

[1] Книги дониконовских времён — вышедшие до Никона, патриарха русской православной церкви (XVII век).

[2] Скитницами (скитницы) — женщинами и девушками, жившими в скитах, посёлках монастырского типа, которые устраивались в глухих местностях.

[3] Миней; четьи-минеи — церковная книга для чтения на каждый день месяца, содержащая жития святых. Дмитрий, митрополит Ростовский (XVII век) составил, на основании старинных миней и других источников, новые.

[4] Складни — иконы, состоящие из двух или трёх складывающихся створок.

[5] С финифтью (финифть) — с эмалью, с узорами из цветной стекловидной массы.

[6] Поморского литья (поморское литьё) — литые старообрядцами в Поморье (в Архангельской и Олонецкой губерниях).

[7] Кабацким целовальникам (целовальники) — приказчикам в казённых кабаках в Московской Руси, выборным должностным лицам; перед вступлением в должность они принимали присягу, целовали крест.

друга; покупая древности за рубли и десятки рублей, они продавали их на ярмарке богатым старообрядцам за сотни.

Приказчик поучал меня:

— Ты следи за этими лешими, за колдуньями, во все глаза следи! Они счастье с собой приносят.

Когда являлся такой продавец, приказчик посылал меня за начётчиком Петром Васильичем, знатоком старопечатных книг, икон и всяких древностей.

Это был высокий старик, с длинной бородою Василия Блаженного, с умными глазами на приятном лице. Плюсна одной ноги у него была отрублена, он ходил прихрамывая, с длинной палкой в руке, зиму и лето в лёгкой, тонкой поддёвке, похожей на рясу, в бархатном картузе странной формы, похожем на кастрюлю. Бодрый, прямой, он, входя в лавку, опускал плечи, изгибал спину, охал тихонько, часто крестился двумя перстами и всё время бормотал молитвы, псалмы. Это благочестие [1] и старческая слабость сразу внушали продавцу доверие к начётчику.

— В чём дела-то выпачканы у вас? [2] — спрашивал старик.

— Вот икона продаётся, принёс человек, говорит — строгановская [3].

— Чего?

— Строгановская.

— Ага... Плохо слышу, заградил господь ухо моё от мерзости, словес никонианских... [4]

---

[1] Благочестие — религиозность.

[2] В чём дела-то выпачканы у вас? — В чём дело, что у вас случилось?

[3] Строгановская — старинная икона XVI—XVII веков Строгановской школы, то-есть стиля (по имени первых заказчиков — богатых купцов Строгановых).

[4] Никонианских; никониане — признавшие церковную реформу патриарха Никона.

Сняв картуз, он держит икону горизонтально, смотрит вдоль письма, сбоку, прямо, смотрит на шпонку[1] в доске, щуря глаза и мурлыча:

— Безбожники никониане, любовь нашу к древнему благообразию заметя и диаволом научаемы преехидно[2] фальшам разным — ныне и святые образа подделывают ловко, ой, ловко! С виду-те образ будто и впрямь строгановских али устюжских писем, а то — суздальских, ну, а вглядись оком внутренним — фальша![3]

Если он говорит «фальша», — значит — икона дорогая и редкая. Ряд условных выражений указывает приказчику, сколько можно дать за икону, за книгу; я знаю, что слова «уныние и скорбь» значат — десять рублей, «Никон-тигр» — двадцать пять; мне стыдно видеть, как обманывают продавца, но ловкая игра начётчика увлекает меня.

— Никониане-то, чёрные дети Никона-тигра, всё могут сделать, бесом руководимы, — вот и левкас[4] будто настоящий, и доличное[5] одной рукой написано, а лик-то, гляди, — не та кисть, не та. Старые-то мастера, как Пимен Ушаков[6], — хоть он еретик был, сам весь образ писал, и доличное и лик, сам и чку строгал[7], и левкас наводил, а наших дней богомерзкие[8] людишки этого не

---

[1] Смотрит на шпонку (шпонка) — на продольные бруски, наложенные на заднюю сторону иконной доски, чтобы она не потрескалась и не покоробилась.

[2] Преехидно — коварно, зло.

[3] Фальша — фальшь, обман.

[4] Левкас — особый состав, которым покрываются доски для икон.

[5] Доличное — одежды, дома, деревья, скалы и прочие части иконного пейзажа; всё это писалось прежде лиц.

[6] Пимен Ушаков — правильно: Симон Ушаков (1626—1686), выдающийся русский живописец-иконописец.

[7] Чку строгал — доску строгал.

[8] Богомерзкие — безбожные.

могут! Раньше-то иконопись святым делом была, а ныне — художество одно, так-то, боговы!

Наконец он осторожно кладёт икону на прилавок и, надев картуз, говорит:

— Грехи.

Это значит — покупай!

Утопленный в реке сладких ему слов, поражённый знаниями старика, продавец уважительно спрашивает:

— Как же, почтенный, икона-то?

— Икона — никонианской руки.

— Быть того не может! На неё деды, прадеды молились...

— Никон-от пораньше прадеда твоего жил.

Старик подносит икону к лицу продавца и уже строго внушает:

— Ты гляди, какая она весёлая, али это икона? Это — картина, слепое художество, никонианская забава, — в этой вещии духа нет! Буду ли я неправо говорить? Я — человек старый, за правду гонимый, мне скоро до бога итти [1], мне душой кривить — расчёта нет!

Он выходит из лавки на террасу, умирающий от старческой слабости, обиженный недоверием к его оценке. Приказчик платит за икону несколько рублей, продавец уходит, низко поклонясь Петру Васильичу; меня посылают в трактир за кипятком для чая; возвратясь, я застаю начётчика бодрым, весёлым; любовно разглядывая покупку, он учит приказчика:

— Гляди: икона — строгая, писана тонко, со страхом божиим, человечье — отринуто [2] в ней...

— А чьё письмо? — спрашивает приказчик, сияя и подпрыгивая.

— Это тебе рано знать.

— А сколько дадут знатоки?

---

[1] Скоро до бога итти — скоро помирать.

[2] Отринуто (отринуть) — отвергнуто.

— Это мне неизвестно. Давай, кое-кому покажу...

— Ох, Пётр Васильич...

— А если продам — тебе полсотни, а что сверху того — моё!

— Ох...

— Да ты не охай...

Они пьют чай, бесстыдно торгуясь, глядя друг на друга глазами жуликов. Приказчик весь в руках старика, это ясно; а когда старик уйдёт, он скажет мне:

— Ты, смотри, не болтай хозяйке про эту покупку!

Условившись о продаже иконы, приказчик спрашивает:

— А что новенького в городе, Пётр Васильич?

Расправив бороду жёлтой рукой, обнажив масленые губы, старик рассказывает о жизни богатых купцов; о торговых удачах, о кутежах, о болезнях, свадьбах, об изменах жён и мужей. Он печёт эти жирные рассказы быстро и ловко, как хорошая кухарка блины, и поливает их шипящим смехом. Кругленькое лицо приказчика буреет от зависти и восторга, глаза подёрнуты мечтательной дымкой; вздыхая, он жалобно говорит:

— Живут люди! А я вот...

— У всякого своя судьба, — гудит басок начётчика. — Одному судьбу ангелы куют серебряными молоточками, а другому — бес, обухом топора...

Этот крепкий, жилистый старик всё знает — всю жизнь города, все тайны купцов, чиновников, попов, мещан. Он зорок, точно хищная птица, в нём смешалось что-то волчье и лисье; мне всегда хочется рассердить его, но он смотрит на меня издали и словно сквозь туман. Он кажется мне окружённым бездонною пустотой; если подойти к нему ближе — куда-то провалишься. И я чувствую в нём нечто родственное кочегару Шумову.

Хотя приказчик в глаза и заглаза восхищается его

умом, но есть минуты, когда ему так же, как и мне, хочется разозлить, обидеть старика.

— А ведь обманщик ты для людей, — вдруг говорит он, задорно глядя в лицо старика.

Старик, лениво усмехаясь, отзывается:

— Один господь без обмана, а мы — в дураках живём; ежели дурака не обмануть — какая от него польза?

Приказчик горячится:

— Не все же мужики — дураки, ведь купцы-то из мужиков выходят!

— Мы не про купцов беседу ведём. Дураки жуликами не живут. Дурак — свят, в нём мозги спят...

Весь Гостиный двор, всё население его, купцы и приказчики, жили странной жизнью, полною глуповатых по-детски, но всегда злых забав. Если приезжий мужик спрашивал, как ближе пройти в то или иное место города, ему всегда указывали неверное направление, — это до такой степени вошло у всех в привычку, что уже не доставляло удовольствия обманщикам. Поймав пару крыс, связывали их хвостами, пускали на дорогу и любовались тем, как они рвутся в разные стороны, кусают друг друга; а иногда обольют крысу керосином и зажгут её. Навязывали на хвост собаке разбитое железное ведро; собака в диком испуге, с визгом и грохотом мчалась куда-то, люди смотрели и хохотали.

Было много подобных развлечений, казалось, что все люди — деревенские в особенности — существуют исключительно для забав Гостиного двора. В отношении к человеку чувствовалось постоянное желание посмеяться над ним, сделать ему больно, неловко. И было странно, что книги, прочитанные мною, молчат об этом постоянном, напряжённом стремлении людей издеваться друг над другом...

Зимою торговля слабая, и в глазах торгашей нет того насторожённого, хищного блеска, который несколько

красит, оживляет их летом. Тяжёлые шубы, стесняя движения, пригибают людей к земле; говорят купцы лениво, а когда сердятся — спорят; я думаю, что они делают это нарочно, лишь бы показать друг другу — мы живы!

Мне очень ясно, что скука давит их, убивает, и только безуспешной борьбой против её всепоглощающей силы я могу объяснить себе жестокие и неумные забавы людей.

Иногда я беседую об этом с Петром Васильевичем. Хотя вообще он относится ко мне насмешливо, с издёвкой, но ему нравится моё пристрастие[1] к книгам, и порою он разрешает себе говорить со мною поучительно, серьёзно.

— Не нравится мне, как живут купцы, — говорю я.

Намотав прядь бороды на длинный палец, он спрашивает:

— А откуда бы тебе знать, как они живут? Али ты в гости часто ходишь к ним? Здесь, парень, улица, а на улице человеки не живут, на улице они торгуют, а то — прошёл по ней скоренько, да и — опять домой! На улицу люди выходят одетые, а под одёжей не знать, каковы они есть; открыто человек живёт у себя дома в своих четырёх стенах, а как он там живёт — это тебе неизвестно!

— Да ведь мысли-то у них одни, что здесь, что дома?

— А кто может знать, какие у соседа мысли? — строго округляя глаза, говорит старик веским баском. — Мысли как воши, их не сочтёши, — сказывают старики. Может, человек, придя домой-то, падёт на колени, да и заплачет, бога умоляет: прости, господи, согрешил во святой день твой! Может, дом-от для него — монастырь, и живёт он там только с богом одним? Так-то вот! Каждый паучок знай свой уголок, плети паутину да умей понять свой вес, чтобы выдержала тебя...

---

[1] Пристрастие — сильную склонность.

Когда он говорит серьёзно, голос звучит ещё ниже, басовитее, как бы сообщая важные тайны.

— Ты вот рассуждаешь, а рассуждать тебе — рано, в твои-то годы не умом живут, а глазами! Стало быть, гляди, помни да помалкивай. Разум — для дела, а для души — вера! Что книги читаешь — это хорошо, а во всём надо знать меру: некоторые зачитываются и до безумства, и до безбожия...

Он казался мне бессмертным, — трудно было представить, что он может постареть, измениться. Ему нравилось рассказывать истории о купцах, о разбойниках, о фальшивомонетчиках[1], которые становились знаменитыми людьми; я уже много слышал таких историй от деда, и дед рассказывал лучше начётчика. Но смысл рассказов был одинаков: богатство всегда добывалось грехом против людей и бога. Пётр Васильев людей не жалел, а о боге говорил с тёплым чувством, вздыхая и пряча глаза.

— Так вот и обманывают бога-то, а он, батюшко Исус, всё видит и плачет: люди мои, люди, горестные люди, ад вам уготован![2]

Раз я осмелился напомнить ему:

— Ведь вы тоже обманываете мужиков...

Это его не обидело.

— Велико ли моё дело? — сказал он. — Слизну трёшницу[3], пятишницу[4] — вот и вся недолга[5]...

Меня очень восхищало его знание церковной истории, а он, потрёпывая бороду холёной[6] поповской рукой, хвастался:

---

[1] О фальшивомонетчиках (фальшивомонетчики) — о делающих фальшивые деньги.

[2] Уготован (уготовить) — приготовлен.

[3] Трёшницу (трёшница) — три рубля.

[4] Пятишницу (пятишница) — пять рублей.

[5] Вот и вся недолга — вот и всё, вот и конец.

[6] Холёной (холёная) — изнеженной, белой и гладкой.

— Я на этом деле — генерал; я в Москву, к Троице ездил на словесное прение[1] с ядовитыми учёными никонианами, попами и светскими; я, малый, даже с профессорами беседы водил, да! Одного попа до того загонял словесным-то бичом, что у него ажно[2] кровь носом пошла — вот как!...

Нередко приходили ещё начётчики: Пахомий, человек с большим животом, в засаленной поддёвке, кривой на один глаз, обрюзглый[3] и хрюкающий; Лукиан, маленький старичок, гладкий, как мышь, ласковый и бойкий, а с ним большой мрачный человек, похожий на кучера, чернобородый, с мёртвым лицом, неприятным, но красивым, с неподвижными глазами.

Почти всегда они приносили продавать старинные книги, иконы, кадильницы, какие-то чаши; иногда приводили продавцов — старуху или старика из-за Волги. Кончив дела, усаживались у прилавка, точно вороны на меже, пили чай с калачами и постным сахаром и рассказывали друг другу о гонениях со стороны никонианской церкви: там — сделали обыск, отобрали богослужебные книги; тут — полиция закрыла молельню и привлекла хозяев её к суду по 103 статье. Эта 103 статья чаще всего являлась темой их бесед, но они говорили о ней спокойно, как о чём-то неизбежном, вроде морозов зимою.

Слова — полиция, обыск, тюрьма, суд, Сибирь, — слова, постоянно звучавшие в их беседах о гонении за веру, падали на душу мне горячими углями, разжигая симпатию и сочувствие к этим старикам; прочитанные книги научили меня уважать людей, упорных в достижении своих целей, ценить духовную стойкость.

Я забывал всё плохое, что видел в этих учителях жиз-

---

[1] На словесное прение — на публичный спор, диспут.

[2] Ажно — даже, так что.

[3] Обрюзглый — отёчный, болезненно толстый.

ни, чувствовал только их спокойное упорство, за которым — мне казалось — скрыта непоколебимая вера учителей в свою правду, готовность принять за правду все муки.

Впоследствии, когда мне удалось видеть много таких и подобных хранителей старой веры и в народе и в интеллигенции, я понял, что это упорство — пассивность людей, которым некуда итти с того места, где они стоят, да и не хотят они никуда итти, ибо, крепко связанные путами старых слов, изжитых понятий, они остолбенели в этих словах и понятиях. Их воля неподвижна, неспособна развиваться в направлении к будущему, и когда какой-либо удар извне сбрасывает их с привычного места, они механически катятся вниз, точно камень с горы. Они держатся на своих постах у погоста отживших истин мёртвою силою воспоминаний о прошлом и своей болезненной любовью к страданию, угнетению, но, если отнять у них возможность страдания, они, опустошённые, исчезают, как облака в свежий ветреный день.

Вера, за которую они с удовольствием и с великим самолюбованием готовы пострадать, это, бесспорно, крепкая вера, но напоминает она заношенную одежду, — промасленная всякой грязью, она только поэтому мало доступна разрушающей работе времени. Мысль и чувство привыкли к тесной, тяжёлой оболочке предрассудков и догматов, и хотя обескрылены, изуродованы, но живут уютно, удобно.

Эта вера по привычке — одно из наиболее печальных и вредных явлений нашей жизни; в области этой веры, как в тени каменной стены, всё новое растёт медленно, искажённно, вырастает худосочным[1]. В этой тёмной вере слишком мало лучей любви, слишком много обиды, озлобления и зависти, всегда дружной с ненавистью. Огонь этой веры — фосфорический блеск гниения.

[1] Худосочным (худосочный) — слабым.

Но для того, чтобы убедиться в этом, мне пришлось пережить много тяжёлых лет, много сломать в душе своей, выбросить из памяти. А в то время, когда я впервые встретил учителей жизни среди скучной и бессовестной действительности, — они показались мне людьми великой духовной силы, лучшими людьми земли. Почти каждый из них судился, сидел в тюрьме, был высылаем из разных городов, странствовал по этапам с арестантами; все они жили осторожно, все прятались.

Однако я видел, что, жалуясь на «утеснение духа» никонианами, старцы и сами охотно очень, даже с удовольствием, утесняют друг друга...

XIII

Иконописная мастерская помещалась в двух комнатах большого полукаменного дома; одна комната о трёх окнах во двор и двух — в сад; другая — окно в сад, окно на улицу. Окна маленькие, квадратные, стёкла в них, радужные от старости, неохотно пропускают в мастерскую бедный, рассеянный свет зимних дней.

Обе комнаты тесно заставлены столами, за каждым столом сидит, согнувшись, иконописец, за иным — подвое. С потолка спускаются на бечёвках стеклянные шары; налитые водою, они собирают свет лампы, отбрасывая его на квадратную доску иконы белым, холодным лучом.

В мастерской жарко и душно; работает около двадцати человек «богомазов»[1] из Палеха, Холуя, Мстеры; все сидят в ситцевых рубахах с расстёгнутыми воротами, в тиковых[2] подштанниках, босые или в опорках. Над

[1] Богомазов (богомазы) — иконописцев.

[2] В тиковых (тиковые) — из плотной бумажной или льняной ткани в полоску.

головами мастеров простёрта сизая пелена сожжённой махорки, стоит густой запах олифы, лака, тухлых яиц. Медленно, как смола, течёт заунывная владимирская песня:

— Какой нынче стал бессовестный народ —
При народе мальчик девочку прельстил...

Поют и другие песни, тоже невесёлые, но эту — чаще других. Её тягучий мотив не мешает думать, не мешает водить тонкой кисточкой из волос горностая по рисунку иконы, раскрашивая складки «доличного», накладывая на костяные лица святых тоненькие морщинки страдания. Под окнами стучит молоточком чеканщик Гоголев — пьяный старик с огромным синим носом; в ленивую струю песни непрерывно вторгается сухой стук молотка — словно червь точит дерево.

Иконопись никого не увлекает; какой-то злой мудрец раздробил работу на длинный ряд действий, лишённых красоты, неспособных возбудить любовь к делу, интерес к нему. Косоглазый столяр Панфил, злой и ехидный, приносит выстроганные им и склеенные кипарисовые и липовые доски разных размеров; чахоточный парень Давидов грунтует их; его товарищ Сорокин кладёт «левкас»; Миляшин сводит карандашом рисунок с подлинника [1], старик Гоголев золотит и чеканит по золоту узор, доличники [2] пишут пейзаж и одеяние иконы, затем она, без лица и ручек, стоит у стены, ожидая работы личников [3].

Очень неприятно видеть большие иконы для иконо-

---

[1] С подлинника (подлинник) — образца рисунков, отступать от которых не разрешалось.

[2] Доличники — иконописцы, писавшие всё, кроме лица.

[3] Личников (личники) — иконописцев, после доличников писавших лица.

стасов[1] и алтарных дверей[2], когда они стоят у стены без лица, рук и ног, — только одни ризы или латы и коротенькие рубашечки архангелов. От этих пёстро расписанных досок веет мёртвым; того, что должно оживить их, нет, но кажется, что оно уже было и чудесно исчезло, оставив только свои тяжёлые ризы.

Когда «тельце» написано личником, икону сдают мастеру, который накладывает по узору чеканки «финифть»; надписи пишет тоже отдельный мастер, а кроет лаком сам управляющий мастерскою, Иван Ларионыч, тихий человек.

Лицо у него серое, бородка тоже серая, из тонких шёлковых волос, серые глаза как-то особенно глубоки и печальны. Он хорошо улыбается, но ему не улыбнёшься, неловко как-то. Он похож на икону Симеона Столпника — такой же сухой, тощий, и его неподвижные глаза так же отвлечённо смотрят куда-то вдаль, сквозь людей и стены.

Через несколько дней после того, как я поступил в мастерскую, мастер по хоругвям, донской казак Капендюхин, красавец и силач, пришёл пьяный и, крепко сцепив зубы, прищурив сладкие, бабьи глаза, начал молча избивать всех железными кулаками. Невысокий и стройный, он метался по мастерской, словно кот в погребе среди крыс; растерявшиеся люди прятались от него по углам и оттуда кричали друг другу:

— Бей!

Личнику Евгению Ситанову удалось ошеломить[3] взбесившегося буяна ударом табурета по голове. Казак сел на пол, его тотчас опрокинули и связали полотенца-

---

[1] Для иконостасов (иконостас) — для стен с иконами в православной церкви.

[2] Алтарных дверей (алтарные двери) — дверей, ведущих в алтарь, главную часть церкви.

[3] Ошеломить — нанести сильный удар, здесь: свалить.

ми, он стал грызть и рвать их зубами зверя. Тогда взбесился Евгений, — вскочил на стол и, прижав локти к бокам, приготовился прыгнуть на казака; высокий, жилистый, он неизбежно раздавил бы своим прыжком грудную клетку Капендюхина, но в эту минуту около него появился Ларионыч, в пальто и шапке, погрозил пальцем Ситанову и сказал мастерам, тихо и деловито:

— Вынести его в сени, пусть отрезвеет...

Казака вытащили из мастерской, расставили столы, стулья и снова уселись за работу, перекидываясь краткими замечаниями о силе товарища, предрекая, что его когда-нибудь убьют в драке.

— Убить его трудно, — сказал Ситанов очень спокойно, как говорят о деле, хорошо знакомом.

Я смотрел на Ларионыча, недоуменно соображая: почему эти крепкие, буйные люди так легко подчиняются ему?

Он всем показывал, как надо работать, даже лучшие мастера охотно слушали его советы; Капендюхина он учил больше и многословнее, чем других.

— Ты, Капендюхин, называешься — живописец, это значит, ты должен живо писать, итальянской манерой. Живопись маслом требует единства красок тёплых, а ты вот подвёл избыточно белил, и вышли у богородицы глазки холодные, зимние. Щёчки написаны румяно, яблоками, а глазки — чужие к ним. Да и неверно поставлены — один заглянул в переносье, другой на висок отодвинут, и вышло личико не свято-чистое, а хитрое, земное. Не думаешь ты над работой, Капендюхин.

Казак, слушая, кривит лицо, потом, бесстыдно улыбаясь бабьими глазами, говорит приятным голосом, немножко сиплым от пьянства:

— Эх, Ива-ан Ларионыч, отец, — не моё это дело. Я музыкантом родился, а меня — в монахи!

— Усердием всякое дело можно одолеть.

— Нет, что́ такое я? Мне бы в кучера, да тройку борзых, э...

И, выгнув кадык, он отчаянно затягивает:

— Э, и-ах, за-апрягу я тройку борзых
Темнокарих лошадей,
Ох, да и помчуся в ноченьку морозну
Да прямо — ой, прямо к любушке своей!

Иван Ларионович, покорно улыбаясь, поправляет очки на сером, печальном носу и отходит прочь, а десяток голосов дружно подхватывает песню, сливаясь в могучий поток, и, точно подняв на воздух всю мастерскую, мерными толчками качает её.

— По привычке — кони знают,
Где су-дарушка живёт...

Ученик Пашка Одинцов, бросив отливать желтки яиц, держа в руках по скорлупе, великолепным дискантом ведёт подголосье.

Опьянённые звуками, все забылись, все дышат одной грудью, живут одним чувством, искоса следя за казаком. Когда он пел, мастерская признавала его своим владыкой; все тянулись к нему, следя за широкими взмахами его рук, — он разводил руками, точно собираясь лететь. Я уверен, что если бы он, вдруг прервав песню, крикнул: — Бей, ломай всё! — все, даже самые солидные мастера, в несколько минут разнесли бы мастерскую в щепы.

Пел он редко, но власть его буйных песен была всегда одинаково неотразима [1] и победна; как бы тяжело ни были настроены люди, он поднимал и зажигал их, все напрягались, становясь в жарком слиянии сил могучим орга́ном.

---

[1] Была неотразима — была очень сильна, захватывала, покоряла.

У меня эти песни вызывали горячее чувство зависти к певцу, к его красивой власти над людьми; что-то жутко волнующее вливалось в сердце, расширяя его до боли, хотелось плакать и кричать поющим людям:

— Я люблю вас!

Чахоточный, жёлтый Давидов, весь в клочьях волос, тоже открывал рот, странно уподобляясь галчонку, только что вылупившемуся из яйца.

Весёлые, буйные песни пелись только тогда, когда их заводил казак, чаще же пели унылые и тягучие о «бессовестном народе», «Уж как под лесом-лесочком» и о смерти Александра I: «Как поехал наш Лександра свою армию смотреть».

Иногда, по предложению лучшего личника нашей мастерской Жихарева, пробовали петь церковное, но это редко удавалось. Жихарев всегда добивался какой-то особенной, только ему одному понятной стройности и всем мешал петь.

Это был человек лет сорока пяти, сухой, лысый, в полувенце чёрных, курчаво-цыганских волос, с большущими, точно усы, чёрными бровями. Острая густая бородка очень украшала его тонкое и смуглое, не русское лицо, но под горбатым носом торчали жёсткие усы, лишние при его бровях. Синие глаза его были разны: левый — заметно больше правого.

— Пашка! — кричал он тенором моему товарищу, ученику. — Ну-ко, заведи: «Хвалите»! Народ, прислушайся!

Вытирая руки о передник, Пашка заводил:

— Хва-алите...

— И-имя господне, — подхватывало несколько голосов, а Жихарев тревожно кричал:

— Евгений — ниже! Опусти голос в самые недра души...

Ситанов глухо, точно в бочку бьёт, взывает:

— Р-раби господа...

— Не то-о! Тут надо так хватить, чтобы земля сотряслась и распахнулись бы сами собою двери, окна!

Жихарев весь дёргался в непонятном возбуждении, его удивительные брови ходят по лбу вверх и вниз, голос у него срывается, и пальцы играют на невидимых гуслях.

— Рабы господа — понимаешь? — многозначительно говорит он. — Это надо почувствовать до зерна, сквозь всю шелуху. Р-рабы, хвалите господа! Как же вы, народ живой, не понимаете?

— Это у нас никогда не выходит, как вам известно, — вежливо говорит Ситанов.

— Ну, оставим!

Жихарев обиженно принимается за работу. Он лучший мастер, может писать лица по-византийски, по-фряжски и «живописно», итальянской манерой. Принимая заказы на иконостасы, Ларионыч советуется с ним, — он тонкий знаток иконописных подлинников, все дорогие копии чудотворных икон — Феодоровской, Смоленской, Казанской и других — проходят через его руки. Но, роясь в подлинниках, он громко ворчит:

— Связали нас подлиннички эти... Надо сказать прямо: связали!..

Несмотря на важное своё положение в мастерской, он заносчив менее других, ласково относится к ученикам — ко мне и Павлу; хочет научить нас мастерству — этим никто не занимается, кроме него.

Его трудно понять; вообще — невесёлый человек, он иногда целую неделю работает молча, точно немой; смотрит на всех удивлённо и чуждо, будто впервые видя знакомых ему людей. И хотя очень любит пение, но в эти дни не поёт и даже словно не слышит песен. Все следят за ним, подмигивая на него друг другу. Он согнулся над косо поставленной иконой, доска её стоит на

коленях у него, середина упирается на край стола, его тонкая кисть тщательно выписывает тёмное, отчуждённое лицо, сам он тоже тёмный и отчуждённый.

Вдруг он говорит, чётко и обиженно:

— Предтеча — что́ такое? Течь, — по-древнему, — значит — итти. Предтеча — предшественник, а — не иное что...

В мастерской становится тихо, все косятся в сторону Жихарева, усмехаясь, а в тишине звучат странные слова:

— Его надо не в овчине писать, а с крыльями...

— Ты — с кем говоришь? — спрашивают его.

Он молчит, не слышит вопроса или не хочет ответить, потом — снова падают в ожидающую тишину его слова:

— Жития надо знать, а кто их знает — жития? Что́ мы знаем? Живём без окрыления... Где — душа? Душа — где? Подлиннички... да! — есть. А сердца — нет...

Эти думы вслух вызывают у всех, кроме Ситанова, насмешливые улыбки — почти всегда кто-нибудь злорадно шепчет:

— В субботу — запьёт...

Длинный, жилистый Ситанов, юноша двадцати двух лет, с круглым лицом без усов и бровей, печально и серьёзно смотрит в угол.

Помню, закончив копию Феодоровской божией матери, кажется, в Кунгур, Жихарев положил икону на стол и сказал, громко, взволнованно:

— Кончена матушка! Яко чаша, ты, — чаша бездонная, в кою польются теперь горькие, сердечные слёзы мира людского...

И, накинув на плечи чьё-то пальто, ушёл — в кабак. Молодёжь засмеялась, засвистала; люди постарше завистливо вздохнули вслед ему, а Ситанов подошёл к работе, внимательно посмотрел на неё и объяснил:

— Конечно, он запьёт, потому что жалко сдавать работу. Эта жалость — не всем доступна...

Ситанов относится ко мне дружески, — этим я обязан моей толстой тетради, в которой записаны стихи. Он не верит в бога, но очень трудно понять — кто в мастерской, кроме Ларионыча, любит бога и верит в него: все говорят о нём легкомысленно, насмешливо, так же, как любят говорить о хозяйке. Однако, садясь обедать и ужинать — все крестятся, ложась спать — молятся, ходят в церковь по праздникам.

Ситанов ничего этого не делает, и его считают безбожником.

— Бога нет, — говорит он.

— Откуда же всё?

— Не знаю...

Когда я спросил его: как же это — бога нет? — он объяснил:

— Видишь ли: бог — Высота!

И поднял длинную руку над своей головой, а потом опустил её на аршин от пола и сказал:

— Человек — Низость! Верно? А сказано: «человек создан по образу и подобию божию», как тебе известно! А чему подобен Гоголев?

Это меня опрокидывает: грязный и пьяный старик Гоголев, несмотря на свои годы, грешит грехом Онана; я вспоминаю вятского солдатика, Ермохина, сестру бабушки, — что́ в них богоподобнюго?

— Люди — свиньи, как это известно, — говорит Ситанов и тотчас же начинает утешать меня:

— Ничего, Максимыч, есть и хорошие, есть!

С ним было легко, просто. Когда он не знал чего-либо, то откровенно говорил:

— Не знаю, об этом не думал!

Это — тоже необыкновенно: до встречи с ним я видел только людей, которые всё знали, обо всём говорили.

Мне было странно видеть в его тетрадке, рядом с хорошими стихами, которые трогали душу, множество грязных стихотворений, возбуждавших только стыд. Когда я говорил ему о Пушкине, он указывал на «Гавриилиаду», списанную в его тетрадке...

— Пушкин — что́? Просто — шутник, а вот Бенедиктов [1], это, Максимыч, стоит внимания!

И, закрыв глаза, тихонько читал:

— Взгляни: вот женщины прекрасной
Обворожительная грудь...

И почему-то особенно выделял три строки, читая их с гордой радостью:

— Но и орла не могут взоры
Сквозь эти жаркие затворы
Пройти — и в сердце заглянуть...

— Понимаешь?

Мне очень неловко было сознаться, что — не понимаю я, чему он радуется.

XIV

Мои обязанности в мастерской были несложны: утром, когда ещё все спят, я должен был приготовить мастерам самовар, а пока они пили чай в кухне, мы с Павлом прибирали мастерскую, отделяли для красок желтки от белков, затем я отправлялся в лавку. Вечером меня заставляли растирать краски и «присматриваться» к мастерству. Сначала я «присматривался» с большим интересом, но скоро понял, что почти все, занятые этим раздробленным на куски мастерством, не любят его и страдают мучительной скукой.

[1] Бенедиктов В. Г. — русский поэт XIX века, стихи которого имели успех среди мещан, мелких чиновников.

Вечера мои были свободны, я рассказывал людям о жизни на пароходе, рассказывал разные истории из книг и, незаметно для себя, занял в мастерской какое-то особенное место — рассказчика и чтеца.

Я скоро понял, что все эти люди видели и знают меньше меня; почти каждый из них с детства был посажен в тесную клетку мастерства и с той поры сидит в ней. Из всей мастерской только Жихарев был в Москве, о которой он говорил внушительно и хмуро:

— Москва слезам не верит, там гляди в оба!

Все остальные бывали только в Шуе, Владимире; когда говорили о Казани, меня спрашивали:

— А русских много там? И церкви есть?

Пермь для них была в Сибири; они не верили, что Сибирь — за Уралом.

— Судаков-то уральских и осетров оттуда привозят, с Каспийского моря? Значит — Урал на море!

Иногда мне думалось, что они смеются надо мною, утверждая, что Англия — за морем-океаном, а Бонапарт родом из калужских дворян. Когда я рассказывал им о том, что́ сам видел, они плохо верили мне, но все любили страшные сказки, запутанные истории; даже пожилые люди явно предпочитали выдумку — правде; я хорошо видел, что чем более невероятны события, чем больше в рассказе фантазии, тем внимательнее слушают меня люди. Вообще, действительность не занимала их, и все мечтательно заглядывали в будущее, не желая видеть бедность и уродство настоящего.

Это меня тем более удивляло, что я уже довольно резко чувствовал противоречия между жизнью и книгой; вот предо мною живые люди, и в книгах нет таких: нет Смурого, кочегара Якова, бегуна Александра Васильева, Жихарева, прачки Натальи...

В сундуке Давидова оказались потрёпанные рассказы

Голицинского[1], «Иван Выжигин» Булгарина[2], томик барона Брамбеуса[3], я прочитал всё это вслух, всем понравилось, а Ларионыч сказал:

— Чтение отметает ссоры и шум — это хорошо!

Я стал усердно искать книг, находил их и почти каждый вечер читал. Это были хорошие вечера; в мастерской тихо, как ночью, над столами висят стеклянные шары — белые, холодные звёзды, их лучи освещают лохматые и лысые головы, приникшие к столам; я вижу спокойные, задумчивые лица, иногда раздаётся возглас похвалы автору книги или герою. Люди внимательны и кротки непохоже на себя; я очень люблю их в эти часы, и они тоже относятся ко мне хорошо; я чувствовал себя на месте.

— С книгами у нас стало, как весной, когда зимние рамы выставят и первый раз окна на волю откроют, — сказал однажды Ситанов.

Трудно было доставать книги; записаться в библиотеку не догадались, но я всё-таки как-то ухитрялся и доставал книжки, выпрашивая их всюду, как милостыню. Однажды пожарный брандмейстер дал мне том Лермонтова, и вот я почувствовал силу поэзии, её могучее влияние на людей.

Помню, уже с первых строк «Демона» Ситанов заглянул в книгу, потом — в лицо мне, положил кисть на стол и, сунув длинные руки в колени, закачался, улыбаясь. Под ним заскрипел стул.

— Тише, братцы, — сказал Ларионыч и, тоже бро-

---

[1] Голицинского (Голицинский А. П.) — автора очерков из народного быта, изданных в 60-х годах прошлого века.

[2] Булгарина (Булгарин Ф. В.) — реакционного журналиста и писателя XIX века.

[3] Барона Брамбеуса. — Под псевдонимом барон Брамбеус писал реакционный журналист и писатель XIX века О. И. Сенковский.

сив работу, подошёл к столу Ситанова, за которым я читал.

Поэма волновала меня мучительно и сладко, у меня срывался голос, я плохо видел строки стихов, слёзы навёртывались на глаза. Но ещё более волновало глухое, осторожное движение в мастерской, вся она тяжело ворочалась, и точно магнит тянул людей ко мне. Когда я кончил первую часть, почти все стояли вокруг стола, тесно прислонившись друг к другу, обнявшись, хмурясь и улыбаясь.

— Читай, читай, — сказал Жихарев, наклоняя мою голову над книгой.

Я кончил читать, он взял книгу, посмотрел её титул и, сунув подмышку себе, объявил:

— Это надо ещё раз прочитать! Завтра опять прочитаешь. Книгу я спрячу.

Отошёл, запер Лермонтова в ящик своего стола и принялся за работу. В мастерской было тихо, люди осторожно расходились к своим столам; Ситанов подошёл к окну, прислонился лбом к стеклу и застыл, а Жихарев, снова отложив кисть, сказал строгим голосом:

— Вот это — житие, рабы божие... да!

Приподнял плечи, спрятал голову и продолжал:

— Деймона я могу даже написать: телом чёрен и мохнат, крылья огненно-красные — суриком, а личико, ручки, ножки — досиня белые, примерно, как снег в месячную ночь.

Он вплоть до ужина беспокойно и несвойственно ему вертелся на табурете, играл пальцами и непонятно говорил о демоне, о женщинах и Еве, о рае и о том, как грешили святые.

— Это всё правда! — утверждал он. — Ежели святые грешат с грешными женщинами, то, конешно, демону лестно согрешить с душой чистой...

Его слушали молча; должно быть, всем, как и мне,

не хотелось говорить. Работали неохотно, поглядывая на часы, а когда пробило девять — бросили работу очень дружно.

Ситанов и Жихарев вышли на двор, я пошёл с ними. Там, глядя на звёзды, Ситанов сказал:

— Кочующие караваны
В пространстве брошенных светил...

этого не выдумаешь!

— Я никаких слов не помню, — заметил Жихарев, вздрагивая на остром холоде. — Ничего не помню, а его вижу! Удивительно это — человек заставил чорта пожалеть? Ведь жалко его, а?

— Жалко, — согласился Ситанов.

— Вот чтó значит — человек! — памятно воскликнул Жихарев.

В сенях он предупредил меня:

— Ты, Максимыч, никому не говори в лавке про эту книгу, она, конешно, запрещённая!

Я обрадовался: так вот о каких книгах спрашивал меня священник на исповеди!

Ужинали вяло, без обычного шума и говора, как будто со всеми случилось нечто важное, о чём надо упорно подумать. А после ужина, когда все улеглись спать, Жихарев сказал мне, вынув книгу:

— Ну-ко, ещё раз прочитай это! Пореже, не торопись...

Несколько человек молча встали с постелей, подошли к столу и уселись вокруг него раздетые, поджимая ноги.

И снова, когда я кончил читать, Жихарев сказал, постукивая пальцами по столу:

— Это — житие! Ах, демон, демон... вот как, брат, а?

Ситанов качнулся через моё плечо, прочитал что-то и засмеялся, говоря:

— Спишу себе в тетрадь...

Жихарев встал и понёс книгу к своему столу, но остановился и вдруг стал говорить обиженно, вздрагивающим голосом:

— Живём, как слепые щенята, что к чему—не знаем, ни богу, ни демону не надобны! Какие мы рабы господа? Иов — раб, а господь сам говорил с ним! С Моисеем[1] тоже! Моисею он даже имя дал: Мой сей, значит — богов человек. А мы — чьи?..

Запер книгу и стал одеваться, спросив Ситанова:

— Идёшь в трактир?

— Я к своей пойду, — тихо ответил Ситанов.

Когда они ушли, я лёг у двери на полу, рядом с Павлом Одинцовым. Он долго возился, сопел и вдруг тихонько заплакал.

— Ты что?

— Жалко мне всех досмерти, — сказал он, — я ведь четвёртый год с ними живу, всех знаю...

Мне тоже было жалко этих людей; мы долго не спали, шопотом беседуя о них, находя в каждом добрые, хорошие черты и во всех что-то, что ещё более усугубляло нашу ребячью жалость.

Я очень дружно жил с Павлом Одинцовым; впоследствии из него выработался хороший мастер, но его не надолго хватило: к тридцати годам он начал дико пить, потом я встретил его на Хитровом рынке в Москве босяком и недавно слышал, что он умер в тифе. Жутко вспомнить, сколько хороших людей бестолково погибло на моём веку! Все люди изнашиваются и погибают, это естественно; но нигде они не изнашиваются так страшно быстро, так бессмысленно, как у нас, на Руси...

Тогда он был круглоголовым мальчонком, года на два старше меня; бойкий, умненький и честный, он был да-

[1] Иов, Моисей — герои библейских легенд.

ровит: хорошо рисовал птиц, кошек и собак и удивительно ловко делал карикатуры на мастеров, всегда изображая их пернатыми: Ситанова — печальным куликом на одной ноге, Жихарева — петухом с оторванным гребнем, без перьев на темени, больного Давидова — жуткой пиголицей. Но всего лучше ему удавался старый чеканщик[1] Гоголев, в виде летучей мыши с большими ушами, ироническим носом и маленькими ножками о шести когтях каждая. С круглого, тёмного лица смотрели белые кружки глаз, зрачки были похожи на зёрна чечевицы и стояли поперёк глаз, — это давало лицу живое и очень гнусное выражение.

Мастера не обижались, когда Павел показывал карикатуры, но карикатура Гоголева у всех вызывала неприятное впечатление, и художнику строго советовали:

— Ты лучше порви-ка, а то старик увидит, пришибёт тебя!

Грязный и гнилой, вечно пьяный, старик был назойливо благочестив[2], неугасимо зол и ябедничал[3] на всю мастерскую приказчику, которого хозяйка собиралась женить на своей племяннице и который поэтому уже чувствовал себя хозяином всего дома и людей. Мастерская ненавидела его, но боялась, поэтому боялась и Гоголева.

Павел неистово и всячески изводил чеканщика, точно поставил целью своей не давать Гоголеву ни минуты покоя. Я тоже посильно помогал ему в этом, мастерская забавлялась нашими выходками, почти всегда безжалостно грубыми, но предупреждала нас:

— Попадёт вам, ребята! Вышибет вас Кузька-жучок!

---

[1] Чеканщик — человек, который чеканит (выбивает) изображения, узоры на чём-нибудь; здесь: на иконах.

[2] Назойливо благочестив — упорно и надоедливо соблюдающий религиозные правила, законы.

[3] Ябедничал (ябедничать) — доносил.

Кузька-жучок — это прозвище приказчика, данное ему мастерской.

Предостережения не пугали нас, мы раскрашивали сонному чеканщику лицо; однажды, когда он спал пьяный, вызолотили ему нос, он суток трое не мог вывести золото из рытвин губчатого носа. Но каждый раз, когда нам удавалось разозлить старика, я вспоминал пароход, маленького вятского солдата, и в душе у меня становилось мутно. Несмотря на возраст, Гоголев был всё-таки так силен, что часто избивал нас, нападая врасплох; изобьёт, а потом пожалуется хозяйке.

Она — тоже пьяненькая каждый день и потому всегда добрая, весёлая — старалась испугать нас, стучала опухшими руками по столу и кричала:

— Опять вы, беси, озорничаете? Он — старенький, его уважать надо! Кто это ему в рюмку вместо вина — фотогену[1] налил?

— Это мы...

Хозяйка удивлялась:

— А, батюшки, да они ещё и сознаются! А, окаянные... Стариков уважать надо!

Она выгоняла нас вон, а вечером жаловалась приказчику, и тот говорил мне сердито:

— Как же это ты: книжки читаешь, даже священное писание, и — такое озорство, а? Гляди, брат!

Хозяйка была одинока и трогательно жалка; бывало напьётся сладких наливок, сядет у окна и поёт:

— Никто меня не пожалеет,
И никому меня не жаль,
Никто тоски моей не знает,
Кому скажу мою печаль.

И, всхлипывая, тянет старческим дрожащим голосом:

— Ю-у-у...

---

[1] Фотогену (фотоген) — керосину (старинное название).

Однажды я видел, как она, взяв в руки горшок топлёного молока, подошла к лестнице, но вдруг ноги её подогнулись, она села и поехала вниз по лестнице, грузно шлёпаясь со ступеньки на ступеньку и не выпуская горшка из рук. Молоко выплёскивалось на платье ей, а она, вытянув руки, сердито кричала горшку:

— Что ты, лешой? Куда ты?

Не толстая, но мягкая до дряблости, она была похожа на старую кошку, которая уже не может ловить мышей, а отягчённая сытостью, только мурлычет, сладко вспоминая о своих победах и удовольствиях.

— Вот, — говорил Ситанов, задумчиво хмурясь, — было большое дело, хорошая мастерская, трудился над этим делом умный человек, а теперь всё хинью[1] идёт, всё в Кузькины лапы направилось! Работали-работали, а всё на чужого дядю! Подумаешь об этом, и вдруг в башке лопнет какая-то пружинка — ничего не хочется, наплевать бы на всю работу да лечь на крышу и лежать целое лето, глядя в небо...

Павел Одинцов тоже усвоил эти мысли Ситанова и, раскуривая папиросу приёмами взрослого, философствовал о боге, о пьянстве, о женщинах и о том, что всякая работа исчезает, одни что-то делают, а другие разрушают сотворённое, не ценя и не понимая его.

В такие минуты его острое, милое лицо морщилось, старело, он садился на постель на полу, обняв колени, и подолгу смотрел в голубые квадраты окон, на крышу сарая, притиснутого сугробами снега, на звёзды зимнего неба.

Мастера храпят, мычат во сне, кто-то бредит, захлёбываясь словами, на полатях выкашливает остатки своей жизни Давидов. В углу, телом к телу, валяются окованные сном и хмелем «рабы божие» Капендюхин, Сорокин, Першин; со стен смотрят иконы без лиц, без рук

[1] Хинью — бестолку, зря.

и ног. Душит густой запах олифы, тухлых яиц, грязи, перекисшей в щелях пола.

— До чего же мне жалко всех! — шепчет Павел. — Господи!

Эта жалость к людям и меня всё более беспокоит. Нам обоим, как я сказал уже, все мастера казались хорошими людьми, а жизнь была плоха, недостойна их, невыносимо скучна. В дни зимних вьюг, когда всё на земле — дома, деревья — тряслось, выло, плакало и великопостно звонили унылые колокола, скука вливалась в мастерскую волною, тяжкой, как свинец, давила людей, умерщвляя в них всё живое, вытаскивая в кабак, к женщинам, которые служили таким же средством забытья, как водка.

В такие вечера — книги не помогали, и тогда мы с Павлом старались развлечь людей своими средствами: мазали рожи себе сажей, красками, украшались пенькой и, разыгрывая разные комедии, сочинённые нами, героически боролись со скукой, заставляя людей смеяться. Вспомнив «Предание о том, как солдат спас Петра Великого», я изложил эту книжку в разговорной форме, мы влезали на полати к Давидову и лицедействовали[1] там, весело срубая головы воображаемым шведам; публика — хохотала.

Ей особенно нравилась легенда о китайском чорте Цинги-Ю-Тонге[2]; Пашка изображал несчастного чорта, которому вздумалось сделать доброе дело, а я — всё остальное: людей обоего пола, предметы, доброго духа и даже камень, на котором отдыхал китайский чорт в великом унынии, после каждой из своих безуспешных попыток сотворить добро.

---

[1] Лицедействовали (лицедействовать) — представляли.

[2] Легенда о китайском чорте «Цин-Киу-Тонг, или три добрых дела духа тьмы» — роман Р. М. Зотова, русского писателя XIX века.

Публика хохотала, а я удивлялся, как легко можно было заставить её смеяться, — эта лёгкость неприятно задевала меня.

— Ах, паяцы! [1] — кричали нам. — Ах, супостаты! [2]

Но чем дальше, тем более назойливо думалось мне, что душе этих людей печаль ближе радости.

Веселье у нас никогда не живёт и не ценится само по себе, а его нарочито поднимают из-под спуда, как средство умерить русскую сонную тоску. Подозрительна внутренняя сила веселья, которое живёт не само по себе, не потому, что хочет жить, а является только по вызову печальных дней.

И слишком часто русское веселье неожиданно и неуловимо переходит в жестокую драму. Пляшет человек, словно разрывая путы [3], связавшие его, и вдруг, освобождая в себе жесточайшего зверя, в звериной тоске бросается на всех и всё, рвёт, грызёт, сокрушает...

Это натужное веселье, разбуженное толчками извне, раздражало меня, и, до самозабвения возбуждённый, я начинал рассказывать и разыгрывать внезапно создавшиеся фантазии, — уж очень хотелось мне вызвать истинную, свободную и лёгкую радость в людях! Чего-то я достигал, меня хвалили, мне удивлялись, но тоска, которую мне как будто удавалось поколебать, снова медленно густела и крепла, пригнетая людей.

Серый Ларионыч ласково говорил:

— Ну, и забавник ты, господь с тобой!

— Утешитель, — поддерживал его Жихарев. — Ты, Максимыч, направляй себя в цирк али в театр, из тебя должен выйти хо-роший паяц!

Изо всей мастерской в театр ходили, на святках и на

---

[1] Паяцы — клоуны, комики, артисты.

[2] Супостаты — недруги (в данном случае шутливо, ласкательно).

[3] Путы — верёвки, ремни.

масленице, только двое — Капендюхин и Ситанов; старшие мастера серьёзно советовали им смыть этот грех купаньем в крещенской проруби на Иордане [1]. Ситанов особенно часто убеждал меня:

— Брось всё, учись на актёра!

И, волнуясь, рассказывал печальную «Жизнь актёра Яковлева» [2].

— Вот что́ может быть!

Он любил рассказывать о королеве Марии Стюарт [3], называя её «шельмой», а особенно восхищался «Испанским дворянином».

— Дон Сезар де-Базан [4], это, Максимыч, благороднейший человек! Удивительный!

В нём самом было что-то от «Испанского дворянина»: однажды на площади перед каланчой трое пожарных, забавляясь, били мужика; толпа людей, человек в сорок, смотрела на избиение и похваливала солдат. Ситанов бросился в драку, хлёсткими ударами длинных рук посшибал пожарных, поднял мужика и сунул его к людям, крикнув:

— Уведите!

А сам остался, один против троих; пожарный двор был в десятке шагов, солдаты могли позвать помощь,

---

[1] В крещенской проруби на Иордане (правильно: Иордани) — в проруби и месте на льду, где совершалось освящение воды в праздник «крещения». Иордань — река в Палестине, где, по евангельской легенде, крестился Иисус.

[2] «Жизнь актёра Яковлева» — биография знаменитого русского актёра конца XVIII — начала XIX века А. С. Яковлева.

[3] Мария Стюарт (1542—1587) — шотландская королева; за участие в заговоре против английской королевы Елизаветы была заключена в тюрьму и через 18 лет казнена; героиня трагедии великого немецкого поэта Фридриха Шиллера «Мария Стюарт».

[4] Дон Сезар де-Базан — герой драмы Виктора Гюго «Рюи Блаз» и пьесы «Испанский дворянин», написанной французским драматургом XIX века Филиппом Дюмануаром.

и Ситанова избили бы, но, на его счастье, пожарные, испугавшись, убежали во двор.

— Собаки! — крикнул он вслед им...

Он был вообще очень правдив, честен и считал это как бы должностью своей, но размашистый Капендюхин ловко подсмеивался над ним:

— Эх, Женя, напоказ живёшь! Начистил душу, как самовар перед праздником, и хвастаешься — вот светло блестит! А душа у тебя — медная, и очень скучно с тобой...

Ситанов спокойно молчал, усердно работая или списывая в тетрадку стихи Лермонтова, на это списывание он тратил всё своё свободное время, а когда я предложил ему:

— Ведь у вас деньги-то есть, вы бы купили книгу!

Он ответил:

— Нет, лучше списать своей рукой!

Написав страницу красивым мелким почерком, с фигурными росчерками, ожидая, когда высохнут чернила, он тихонько читал:

— Без сожаленья, без участья
Смотреть на землю будешь ты,
Где нет ни истинного счастья,
Ни долговечной красоты...

И говорил, зажмурив глаза:

— Это — правда! Эх, и здорово он правду знает!

Меня очень удивляли отношения Ситанова с Капендюхиным, — выпивши, казак всегда лез драться к товарищу, Ситанов долго уговаривал его:

— Отстань! Не лезь...

А потом начинал жестоко бить пьяного, так жестоко, что мастера, относившиеся к междоусобным дракам, как ко зрелищу, ввязывались в эту драку и разводили друзей.

— Не останови Евгенья во́-время — досмерти убьёт и себя не пожалеет, — говорили они.

Трезвый, Капендюхин тоже неутомимо издевался надСитановым, высмеивая его страсть к стихам и его несчастный роман, грязно, но безуспешно возбуждая ревность. Ситанов слушал издёвки казака молча, безобидно, а иногда даже сам смеялся вместе с Капендюхиным.

Спали они рядом и по ночам долго шопотом беседовали о чём-то.

Эти беседы не давали мне покоя — хотелось знать, о чём могут дружески говорить люди, так не похожие один на другого? Но когда я подходил к ним, казак ворчал:

— Тебе чего надо?

А Ситанов точно не видел меня.

Но однажды они позвали меня, и казак спросил:

— Максимыч, ежели бы ты был богат, что́ бы сделал?

— Книг купил бы.

— А ещё?

— Не знаю.

— Эх, — с досадой отвернулся от меня Капендюхин, а Ситанов спокойно сказал:

— Видишь — никто не знает, ни старый, ни малый! Я тебе говорю: и богатство само по себе — ни к чему! Всё требует какого-нибудь приложения...

Я спросил:

— О чём вы говорите?

— Спать неохота, вот и говорим, — ответил казак.

Позднее, прислушавшись к их беседам, я узнал, что они говорят по ночам о том же, о чём люди любят говорить и днём: о боге, правде, счастье, о глупости и хитрости женщин, о жадности богатых и о том, что вся жизнь запутанна, непонятна.

Я всегда слушал эти разговоры с жадностью, они меня волновали, мне нравилось, что почти все люди говорят одинаково: жизнь — плоха, надо жить лучше! Но в то же время я видел, что желание жить лучше ни к чему не обязывает, ничего не изменяет в жизни мастерской, в отношениях мастеров друг к другу. Все эти речи, освещая предо мною жизнь, открывали за нею какую-то унылую пустоту, и в этой пустоте, точно соринки в воде пруда при ветре, бестолково и раздражённо плавают люди, те самые, которые говорят, что такая толкотня бессмысленна и обижает их.

Рассуждая много и охотно, всегда кого-нибудь судили, каялись, хвастались и, возбуждая злые ссоры из-за пустяков, крепко обижали друг друга. Пытались догадаться о том, что будет с ними после смерти, а у порога мастерской, где стоял ушат для помоев, прогнила половица, из-под пола в эту сырую, гнилую, мокрую дыру несло холодом, запахом прокисшей земли, от этого мёрзли ноги; мы с Павлом затыкали эту дыру сеном и тряпками. Часто говорили о том, что надо переменить половицу, а дыра становилась всё шире, во дни вьюг из неё садило, как из трубы, люди простужались, кашляли. Жестяной вертун форточки отвратительно визжал, его похабно ругали, а когда я его смазал маслом, Жихарев, прислушавшись, сказал:

— Не визжит форточка, и — стало скучней!

Приходя из бани, ложились в пыльные и грязные постели — грязь и скверные запахи вообще никого не возмущали. Было множество дрянных мелочей, которые мешали жить, их можно было легко извести, но никто не делал этого.

Часто говорили:

— Никто людей не жалеет, ни бог, ни сами себя...

Но когда мы, я и Павел, вымыли изъеденного грязью и насекомыми, умирающего Давидова, нас подняли на

смех, снимали с себя рубахи, предлагая нам обыскать их, называли банщиками и вообще издевались так, как будто мы сделали что-то позорное и очень смешное...

XV

В день моих именин мастерская подарила мне маленький, красиво написанный образ Алексия божия человека, и Жихарев внушительно сказал длинную речь, очень памятную мне.

— Кто ты есть? — говорил он, играя пальцами, приподняв брови. — Не больше, как мальчишка, сирота, тринадцати годов от роду, а я — старше тебя вчетверо почти и хвалю тебя, одобряю за то, что ты ко всему стоишь не боком, а лицом! Так и стой всегда, это хорошо!

Говорил он о рабах божьих и о людях его, но разница между людьми и рабами осталась непонятной мне, да и ему, должно быть, не ясна была. Он говорил скучно, мастерская посмеивалась над ним, я стоял с иконою в руках, очень тронутый и смущённый, не зная, что мне делать. Наконец Капендюхин досадливо крикнул оратору:

— Да перестань отпевать его, вон у него даже уши посинели!

Потом, хлопнув меня по плечу, тоже похвалил:

— Хорошо в тебе то, что ты всем людям родня — вот что́ хорошо! И не то что бить тебя, а и обругать — трудно, когда и есть за что!

Все смотрели на меня хорошими глазами, ласково высмеивая моё смущение, ещё немножко — и я бы, наверное, разревелся от неожиданной радости чувствовать себя человеком, нужным для этих людей. А как раз в это утро в лавке приказчик сказал Петру Васильеву, кивая на меня головой:

— Неприятный мальчишка и ни к чему не способный!

Как всегда, я с утра ушёл в лавку, но после полудня приказчик сказал мне:

— Иди домой, свали снег с крыши амбара и набивай погреб...

О том, что я именинник, он не знал; я был уверен, что и никто не знает об этом. Когда кончилась церемония поздравлений в мастерской, я переоделся, убежал на двор и залез на крышу сарая сбрасывать плотный, тяжёлый снег, обильный в эту зиму. Но, взволнованный, я позабыл отворить дверь погреба и завалил ее снегом. Соскочив на землю и видя эту ошибку, я тотчас принялся откидывать снег от двери; сырой, он крепко слежался; деревянная лопата с трудом брала его, железной не было, и я сломал лопату как раз в тот момент, когда в калитке появился приказчик; оправдалась русская пословица — «за радостью горе по пятам ходит».

— Та-ак, — насмешливо сказал приказчик, подходя ко мне. — Эх, ты, работник, чорт бы тебя побрал! Вот хвачу тебя по безумной твоей башке...

Он замахнулся на меня стержнем лопаты, я отодвинулся и сказал сердито:

— Да ведь я не в дворники нанялся к вам...

Он швырнул палкой в ноги мне, я схватил ком снега и угодил ему в лицо; он убежал, фыркая, а я, бросив работу, ушёл в мастерскую. Через несколько минут сверху сбежала его невеста, вертлявая девица в прыщах на пустом лице.

— Максимыча наверх!

— Не пойду, — сказал я.

Ларионыч спросил тихо и удивлённо:

— Как это — не пойдёшь?

Я сообщил ему, в чём дело; озабоченно нахмурившись, он пошёл наверх, сказав мне вполголоса:

— Экой ты, брат, дерзкой...

Мастерская загудела, поругивая приказчика; Капендюхин сказал:

— Ну, теперь тебя вышибут!

Это меня не пугало. Мои отношения с приказчиком давно уже стали невыносимы, — он ненавидел меня упрямо и всё более остро, я тоже терпеть его не мог, но я хотел понять — почему он так нелепо относится ко мне.

Он разбрасывал по полу лавки монеты; подметая, я находил их и складывал на прилавке, в чашку, где лежали гроши и копейки для нищих. Когда я догадался, что значат эти частые находки, я сказал приказчику:

— Вы напрасно подбрасываете мне деньги!

Он вспыхнул и неосторожно закричал:

— Не смей учить меня, я знаю, что делаю!

Но тотчас поправился:

— Как это напрасно подбрасываю? Они сами падают.

Он запретил мне читать в лавке книги, сказав:

— Это не твоего ума дело! Чтó ты — в начётчики метишь, дармоед?

Он не прекращал своих попыток поймать меня двугривенными, и я понимал, что если в то время, как метёшь пол, монета закатится в щель — он будет убеждён, что я украл её. Тогда я ему ещё раз предложил оставить эту игру, но в тот же день, возвращаясь из трактира с кипятком, я услыхал, как он внушает недавно нанятому приказчику соседа:

— Ты научи его Псалтирь украсть — скоро мы Псалтири получим, три короба...

Я понял, что речь идёт об мне, — когда я вошёл в лавку, они оба смутились, но и кроме этого признака у меня были основания подозревать их в дурацком заговоре против меня.

Приказчик соседа уже не в первый раз служил у него; он считался ловким торговцем, но страдал запоем; на время запоя хозяин прогонял его, а потом опять брал

к себе этого худосочного и слабосильного человека с хитрыми глазами. Внешне кроткий, покорный каждому жесту хозяина, он всегда улыбался в бородку себе умненькой улыбочкой, любил сказать острое словцо, и от него исходил тот дрянной запах, который свойствен людям с гнилыми зубами, хотя зубы его были белы и крепки.

Однажды он меня страшно удивил: подошёл ко мне, ласково улыбаясь, но вдруг сбил с меня шапку и схватил за волосы. Мы стали драться, с галлереи он втолкнул меня в лавку и всё старался повалить на большие киоты, стоявшие на полу, — если бы это удалось ему, я перебил бы стёкла, поломал резьбу и, вероятно, поцарапал бы дорогие иконы. Он был очень слаб, и мне удалось одолеть его, но тогда, к великому изумлению моему, бородатый мужчина горько заплакал, сидя на полу и вытирая разбитый нос.

А на другое утро, когда наши хозяева ушли куда-то и мы были одни, он дружески сказал мне, растирая пальцем опухоль на переносье и под самым глазом:

— Думаешь — это я по своей воле и охоте навалился на тебя? Я — не дурак, я ведь знал, что ты меня побьёшь, я человек слабый, пьющий. Это мне хозяин велел: дай, говорит, ему выволочку да постарайся, чтоб он у себя в лавке побольше напортил во время драки, всё-таки — убыток им! А сам я — не стал бы, вон ты как мне рожу-то изукрасил...

Я поверил ему, и мне стало жаль его, я знал, что он живёт впроголодь, с женщиной, которая колотит его. Но я всё-таки спросил его:

— А если тебя заставят отравить человека — отравишь?

— Он заставит, — сказал приказчик тихонько, с жалкой усмешечкой. — Он — может...

Вскоре после этого он спросил меня:

— Слушай, у меня ни гроша, дома жрать нечего,

баба — лается, стащи, друг, у себя в кладовой какую-нибудь иконку, а я продам её, а? Стащи? А то — Псалтирь?

Я вспомнил магазин обуви, церковного сторожа, мне подумалось: выдаст меня этот человек! Но трудно было отказать, и я дал ему икону, но стащить Псалтирь, стоивший несколько рублей, не решился, это казалось мне крупным преступлением. Что поделаешь? В морали всегда скрыта арифметика; святая наивность «Уложения о наказаниях уголовных» [1] очень ясно выдаёт эту маленькую тайну, за которой прячется великая ложь собственности.

Когда я услышал, как мой приказчик внушает этому жалкому человеку научить меня украсть Псалтирь, — я испугался. Было ясно, что мой приказчик знает, как я добр за его счёт, и что приказчик соседа рассказал ему про икону.

Мерзость доброты на чужой счёт и эта дрянная ловушка мне — всё вместе вызывало у меня чувство негодования, отвращения к себе и ко всем. Несколько дней я жестоко мучился, ожидая, когда придут короба с книгами; наконец они пришли, я разбираю их в кладовой, ко мне подходит приказчик соседа и просит дать ему Псалтирь.

Тогда я спрашиваю его:

— А ты сказал моему про икону?

— Сказал, — ответил он унылым голосом. — Я, брат, ничего не могу скрыть...

Это меня ошеломило, я сел на пол и вытаращил на него глаза, а он начал поспешно бормотать, сконфуженный, отчаянно жалкий:

---

[1] «Уложения о наказаниях уголовных» («Уложение о наказаниях уголовных») — сборника законов о наказаниях за уголовные преступления. Наказание за кражу «Уложение» определяло в зависимости от стоимости украденного.

— Видишь ли, твой сам догадался, то-есть это мой хозяин догадался и сказал твоему...

Мне показалось, что я пропал, — подсидели меня эти люди, и теперь мне уготовано место в колонии для малолетних преступников! Когда так — всё равно! Уж если тонуть, так на глубоком месте. Я сунул в руки приказчика Псалтирь, он спрятал его под пальто и пошёл прочь, но тотчас повернулся, и — Псалтирь упал к моим ногам, а человек зашагал прочь, говоря:

— Не возьму! Пропадёшь с тобой...

Я не понял этих слов, — почему со мной пропадёшь? Но я был очень доволен тем, что он не взял книгу. После этого мой маленький приказчик стал смотреть на меня ещё более сердито и подозрительно.

Всё это я вспомнил, когда Ларионыч пошёл наверх; он пробыл там недолго и воротился ещё более подавленный и тихий, чем всегда, а перед ужином, с глазу на глаз, сказал мне:

— Хлопотал, чтоб тебя освободили от лавки, отдали бы в мастерскую. Не вышло это! Кузьма не хочет. Очень ты не по душе ему...

В доме у меня был тоже враг — невеста приказчика, чрезмерно игривая девица; с нею играла вся молодёжь мастерской, поджидая её в сенях, обнимая; она не обижалась на это, а только взвизгивала тихонько, как маленькая собачка. С утра до вечера она жевала, её карманы всегда были набиты пряниками, лепёшками, челюсти неустанно двигались, — смотреть на её пустое лицо с беспокойными серенькими глазками было неприятно. Мне и Павлу она предлагала загадки, всегда скрывавшие какое-нибудь грубенькое бесстыдство, сообщала нам скороговорки, сливавшиеся в неприличное слово.

Однажды кто-то из пожилых мастеров сказал ей:

— А и бесстыдница ты, девушка!

Она бойко ответила словами зазорной[1] песни:

— Коли девушка стыдится,
Она в бабы не годится...

Я в первый раз видел такую девицу, она была противна мне и пугала меня, грубо заигрывая, а видя, что эти заигрывания не сладки для меня, становилась всё назойливее.

Как-то раз, на погребе, когда я с Павлом помогал ей парить кадки из-под кваса и огурцов, она предложила нам:

— Хотите, мальчики, я вас научу целоваться?

— Я умею получше тебя, — ответил ей Павел, смеясь, а я сказал ей, чтобы она шла целоваться к жениху, и сказал это не очень любезно. Она рассердилась.

— Ах, какой грубиян! Барышня с ним любезничает, а он нос воротит; скажите, фря[2] какая!

И добавила, погрозив пальцем:

— Ну, погоди, я тебе это припомню!

Павел тоже сказал ей, поддерживая меня:

— Задаст тебе жених-то, коли узнает про твоё озорство.

Она презрительно сморщила прыщеватое лицо.

— Не боюсь я его! С моим приданым я десяток найду, получше гораздо. Девке только до свадьбы и побаловать.

И она начала баловать с Павлом, а я с той поры приобрёл в ней неутомимую ябедницу.

В лавке становилось всё труднее, я прочитал все церковные книги, меня уже не увлекали более споры и беседы начётчиков, — говорили они всё об одном и том же. Только Пётр Васильев попрежнему привлекал меня своим знанием тёмной человеческой жизни, своим уме-

---

[1] Зазорной (зазорная) — постыдной, непристойной.

[2] Фря — важная особа (бранное слово).

нием говорить интересно и пылко. Иногда мне думалось, что вот таков же ходил по земле пророк Елисей, одинокий и мстительный.

Но каждый раз, когда я говорил со стариком откровенно о людях, о своих думах, он, благожелательно[1] выслушав меня, передавал сказанное мною приказчику, а тот или обидно высмеивал меня, или сердито ругал.

Однажды я сказал старику, что иногда записываю его речи в тетрадь, где у меня уже записаны разные стихи, изречения из книг; это очень испугало начётчика, он быстро покачнулся ко мне и стал тревожно спрашивать меня:

— Это зачем же ты? Это, малый, не годится! Для памяти? Нет, ты это брось! Экой ты какой ведь! Ты дай-ко-сь мне записки-то эти, а?

Он долго и настойчиво убеждал меня, чтобы я отдал ему тетрадь или сжёг её, а потом стал сердито шептаться с приказчиком.

Когда мы шли домой, приказчик строго сказал мне:

— Ты какие-то записки делаешь — так чтобы этого не было! Слышал? Этим занимаются только сыщики.

Я неосторожно спросил:

— А как же Ситанов? Он тоже записывает.

— Тоже? Дурак длинный...

Долго помолчав, он необычно мягко предложил:

— Слушай, покажи мне свою тетрадь и Ситанова тоже — я тебе полтину дам! Только так сделай, чтобы Ситанов не знал, тихонько...

Должно быть, он был уверен, что я исполню его желание, и, не сказав ни слова больше, побежал впереди меня на коротких ножках.

Дома я рассказал Ситанову о предложении приказчика, Евгений нахмурился.

— Это ты напрасно проболтался... Теперь он научит

[1] Благожелательно — доброжелательно, желая добра.

кого-нибудь выкрасть тетради у меня и у тебя. Дай-ка мне твою, я спрячу... А тебя он скоро выживет, гляди!

Я был убеждён в этом и решил уйти, как только бабушка вернётся в город, — она всю зиму жила в Балахне, приглашённая кем-то учить девиц плетению кружев. Дед снова жил в Кунавине, я не ходил к нему, да и он, бывая в городе, не посещал меня. Однажды мы столкнулись на улице; он шёл в тяжёлой енотовой шубе, важно и медленно, точно поп, я поздоровался с ним; посмотрев на меня из-под ладони, он задумчиво проговорил:

— А, это ты... ты богомаз теперь, да, да... Ну, иди, иди!

Отодвинул меня с дороги и всё так же важно и медленно пошёл дальше.

Бабушку я видел редко; она работала неустанно, подкармливая деда, который заболевал старческим слабоумием, возилась с детьми дядьёв. Особенно много доставлял ей хлопот Саша, сын Михаила, красивый парень, мечтатель и книголюб. Он работал по красильным мастерским, часто переходя от одного хозяина к другому, а в промежутках сидел на шее бабушки, спокойно дожидаясь, когда она найдёт ему новое место. На её же шее висела сестра Саши, неудачно вышедшая замуж за пьяного мастерового, который бил её и выгонял из дома.

Встречаясь с бабушкой, я всё более сознательно восхищался её душою, но — я уже чувствовал, что эта прекрасная душа ослеплена сказками, неспособна видеть, не может понять явлений горькой действительности, и мои тревоги, мои волнения чужды ей.

— Терпеть надо, Олёша.

Это всё, что она могла сказать мне в ответ на мои повести о безобразиях жизни, о муках людей, о тоске — обо всём, что меня возмущало.

Я был плохо приспособлен к терпению, и если иногда

проявлял эту добродетель скота, дерева, камня — я проявлял её ради самоиспытания, ради того, чтобы знать запас своих сил, степень устойчивости на земле. Иногда подростки, по глупому молодечеству[1], по зависти к силе взрослых, пытаются поднимать и поднимают тяжести, слишком большие для их мускулов и костей, пробуют хвастливо, как взрослые силачи, креститься двухпудовыми гирями.

Я тоже делал всё это в прямом и переносном смысле, физически и духовно, и только благодаря какой-то случайности не надорвался насмерть, не изуродовал себя на всю жизнь. Ибо ничто не уродует человека так страшно, как уродует его терпение, покорность силе внешних условий.

И если в конце концов я всё-таки лягу в землю изуродованным, то — не без гордости — скажу в свой последний час, что добрые люди лет сорок серьёзно заботились исказить душу мою, но упрямый труд их не весьма удачен.

Всё более часто меня охватывало буйное желание озорничать, потешать людей, заставлять их смеяться. Мне удавалось это, я умел рассказывать о купцах Нижнего базара, представляя их в лицах; изображал, как мужики и бабы продают и покупают иконы, как ловко приказчик надувает их, как спорят начётчики.

Мастерская хохотала, нередко мастера бросали работу, глядя, как я представляю, но всегда после этого Ларионыч советовал мне:

— Ты бы лучше после ужина представлял, а то мешаешь работать...

Кончив «представление», я чувствовал себя легко, точно сбросил ношу, тяготившую меня; на полчаса, на час в голове становилось приятно пусто, а потом снова

---

[1] Молодечеству (молодечество) — здесь: мальчишеству.

казалось, что голова у меня полна острых, мелких гвоздей, они шевелятся там, нагреваются.

Вокруг меня вскипала какая-то грязная каша, и я чувствовал, что потихоньку развариваюсь в ней.

Думалось:

— Неужели вся жизнь — такая? И я буду жить так, как эти люди, не найду, не увижу ничего лучше?

— Сердит становишься, Максимыч, — говорил мне Жихарев, внимательно поглядывая на меня.

Ситанов часто спрашивал меня:

— Ты что́?

Я не умел ответить.

Жизнь упрямо и грубо стирала с души моей свои же лучшие письмена, ехидно заменяя их какой-то ненужной дрянью, — я сердито и настойчиво противился её насилию, я плыл по той же реке, как и все, но для меня вода была холоднее, и она не так легко держала меня, как других, — порою мне казалось, что я погружаюсь в некую глубину.

Люди относились ко мне всё лучше, на меня не орали, как на Павла, не помыкали мною, меня звали по отчеству, чтобы подчеркнуть уважительное отношение ко мне. Это — хорошо, но было мучительно видеть, как много люди пьют водки, как они противны пьяные и как болезненно их отношение к женщине, хотя я понимал, что водка и женщина — единственные забавы в этой жизни.

Часто вспоминалось с грустью, что сама умная, смелая Наталья Козловская тоже называла женщину забавой.

Но как же тогда бабушка? И Королева Марго?

О Королеве я вспоминал с чувством, близким страху,—она была такая чужая всему, точно я её видел во сне.

Я слишком много стал думать о женщинах и уже решал вопрос: а не пойти ли в следующий праздник туда,

куда все ходят? Это не было желанием физическим, — я был здоров и брезглив, но порою до бешенства хотелось обнять кого-то ласкового, умного и откровенно, бесконечно долго говорить, как матери, о тревогах души.

Я завидовал Павлу, когда он по ночам говорил мне о своём романе с горничною из дома напротив.

— Вот, брат, штука: месяц тому назад я в неё снегом швырял, не нравилась мне она, а теперь сидишь на лавочке, прижмёшься к ней — никого нет дороже!

— О чём вы говорите?

— Обо всём, конешно. Она мне — про себя, а я ей — тоже про себя. Ну, целуемся... Только она — честная... Она, брат, беда, какая хорошая!.. Ну, куришь ты, как старый солдат!

Я курил много; табак, опьяняя, притуплял беспокойные мысли, тревожные чувства. Водка, к счастью моему, возбуждала у меня отвращение своим запахом и вкусом, а Павел пил охотно и, напившись, жалобно плакал:

— Домой хочу я, домой! Отпустите меня домой...

Он был, помнится мне, сирота; мать и отец давно умерли у него, братьев, сестёр — не было, лет с восьми он жил по чужим людям.

В этом настроении тревожной неудовлетворённости, ещё более возбуждаемой зовами весны, я решил снова поступить на пароход и, спустившись в Астрахань, убежать в Персию.

Не помню, почему именно — в Персию, может быть, только потому, что мне очень нравились персияне-купцы на Нижегородской ярмарке: сидят этакие каменные идолы [1], выставив на солнце крашеные бороды, спокойно покуривая кальян [2], а глаза у них большие, тёмные, всезнающие.

---

[1] Идолы — истуканы, статуи.

[2] Кальян — восточный курительный прибор, в котором дым проходит через воду.

Наверное, я и убежал бы куда-то, но на пасхальной неделе, когда часть мастеров уехала домой, в свои сёла, а оставшиеся пьянствовали, — гуляя в солнечный день по полю над Окой, я встретил моего хозяина, племянника бабушки.

Он шёл в лёгком сером пальто, руки в карманах брюк, в зубах папироса, шляпа на затылке; его приятное лицо дружески улыбалось мне. У него был подкупающий вид человека свободного, весёлого, и, кроме нас двоих, в поле никого не было.

— А, Пешков, Христос воскресе!

Похристосовались, он спросил, каково мне живётся, и я откровенно рассказал ему, что мастерская, город и всё вообще — надоело мне и я решил ехать в Персию.

— Брось, — сказал он серьёзно. — Какая там, к чорту, Персия? Это, брат, я знаю, в твои годы и мне тоже хотелось бежать ко всем чертям!..

Мне нравилось, что он так ухарски[1] швыряется чертями; в нём играло что-то хорошее, весеннее, весь он был — набекрень.

— Куришь? — спросил он, протягивая мне серебряный портсигар с толстыми папиросами.

Ну, это уж окончательно победило меня!

— Вот что, Пешков, иди-ка ты опять ко мне! — предложил он. — Я, брат, в этом году взял подрядов[2] на Ярмарке тысяч эдак на сорок — понимаешь? Вот я и приглажу тебя на Ярмарку; будешь ты у меня вроде десятника[3], принимать всякий материал, смотреть, чтоб всё было во-время на месте и чтоб рабочие не воровали — идёт? Жалованье — пять в месяц и пятак на обед! Бабы

---

[1] Ухарски — задорно, бойко.

[2] Взял подрядов (подряды) — принял обязательства выполнить работы.

[3] Десятника (десятник) — старшего над группой рабочих.

тебя не касаются, с утра ты ушёл, вечером пришёл; бабы — мимо! Только ты не говори им, что мы виделись, а просто приходи в воскресенье на Фоминой[1] — и шабаш![2]

Мы расстались друзьями, на прощанье он пожал мне руку и даже, уходя, издали приветливо помахал шляпой.

Когда я сказал в мастерской, что ухожу, — это сначала вызвало у большинства лестное для меня сожаление, особенно взволновался Павел.

— Ну, подумай, — укоризненно говорил он, — как ты будешь жить с мужиками разными после нас? Плотники, маляры... Эх, ты! Это называется — из дьяконов в пономари...

Жихарев ворчал:

— Рыба ищет — где глубже, добрый молодец — что́ хуже...

Проводы, устроенные мне мастерской, были печальны и нудны...

XVI

Дома у меня есть книги; в квартире, где жила Королева Марго, теперь живёт большое семейство: пять барышень, одна красивее другой, и двое гимназистов, — эти люди дают мне книги. Я с жадностью читаю Тургенева и удивляюсь, как у него всё понятно, просто и поосеннему прозрачно, как чисты его люди и как хорошо всё, о чём он кротко благовестит.

Читаю «Бурсу» Помяловского[3] и тоже удивлён: это

---

[1] На Фоминой (Фомина) — на неделе после пасхи.

[2] Шабаш — кончено.

[3] «Бурсу» Помяловского — «Очерки бурсы» Н. Г. Помяловского (1835—1863), в которых правдиво и очень ярко описаны быт и нравы «бурсы» — учебного заведения, готовившего служителей церкви.

странно похоже на жизнь иконописной мастерской; мне так хорошо знакомо отчаяние скуки, перекипающее в жестокое озорство.

Хорошо было читать русские книги, в них всегда чувствовалось нечто знакомое и печальное, как будто среди страниц скрыто замер великопостный звон, — едва откроешь книгу, он уже звучит тихонько.

«Мёртвые души» я прочитал неохотно, «Записки из мёртвого дома» — тоже; «Мёртвые души», «Мёртвый дом», «Смерть», «Три смерти», «Живые мощи» — это однообразие названий книг невольно останавливало внимание, возбуждая смутную неприязнь к таким книгам. «Знамение времени», «Шаг за шагом», «Что делать?», «Хроника села Смурина»[1] — тоже не понравились мне, как и все книги этого порядка.

Но мне очень нравились Диккенс[2] и Вальтер Скотт, этих авторов я читал с величайшим наслаждением, по два-три раза одну и ту же книгу. Книги В. Скотта напоминали праздничную обедню в богатой церкви, — немножко длинно и скучно, а всегда торжественно; Диккенс остался для меня писателем, пред которым я почтительно преклоняюсь, — этот человек изумительно постиг труднейшее искусство любви к людям.

По вечерам на крыльце дома собиралась большая компания: братья К., их сёстры, подростки; курносый

[1] «Мёртвые души» Н. В. Гоголя (1809—1852), «Записки из мёртвого дома» («Мёртвый дом») Ф. М. Достоевского (1821—1881); «Три смерти» — рассказ Л. Н. Толстого; «Знамение времени» — роман Д. Л. Мордовцева (1830—1905); «Что делать?» — социально-политический роман великого учёного, критика, революционного демократа Н. Г. Чернышевского (1828—1889); в нём даны яркие типы революционных демократов. «Хроника села Смурина» — роман из крестьянской жизни П. В. Засодимского (1843—1912); «Живые мощи», «Смерть» — произведения И. С. Тургенева.

[2] Диккенс — известный английский писатель XIX века.

гимназист Вячеслав Семашко; иногда приходила барышня Птицына, дочь какого-то важного чиновника. Говорили о книгах, о стихах, — это было близко, понятно и мне; я читал больше, чем все они. Но чаще они рассказывали друг другу о гимназии, жаловались на учителей; слушая их рассказы, я чувствовал себя свободнее товарищей, очень удивлялся силе их терпения, но всё-таки завидовал им — они учатся!

Мои товарищи были старше меня, но я казался сам себе более взрослым, более зрелым и опытным, чем они; это несколько смущало меня — мне хотелось чувствовать себя ближе к ним. Я приходил домой поздно вечером, в пыли и грязи, насыщенный впечатлениями иного порядка, чем их впечатления, в сущности — очень однообразные. Они много говорили о барышнях, влюблялись то в одну, то в другую, пытались сочинять стихи; нередко в этом деле требовалась моя помощь, я охотно упражнялся в стихосложении, легко находил рифмы, но почему-то стихи у меня всегда выходили юмористическими, а барышню Птицыну, которой чаще других назначались стихотворения, я обязательно сравнивал с овощами, — с луковицей.

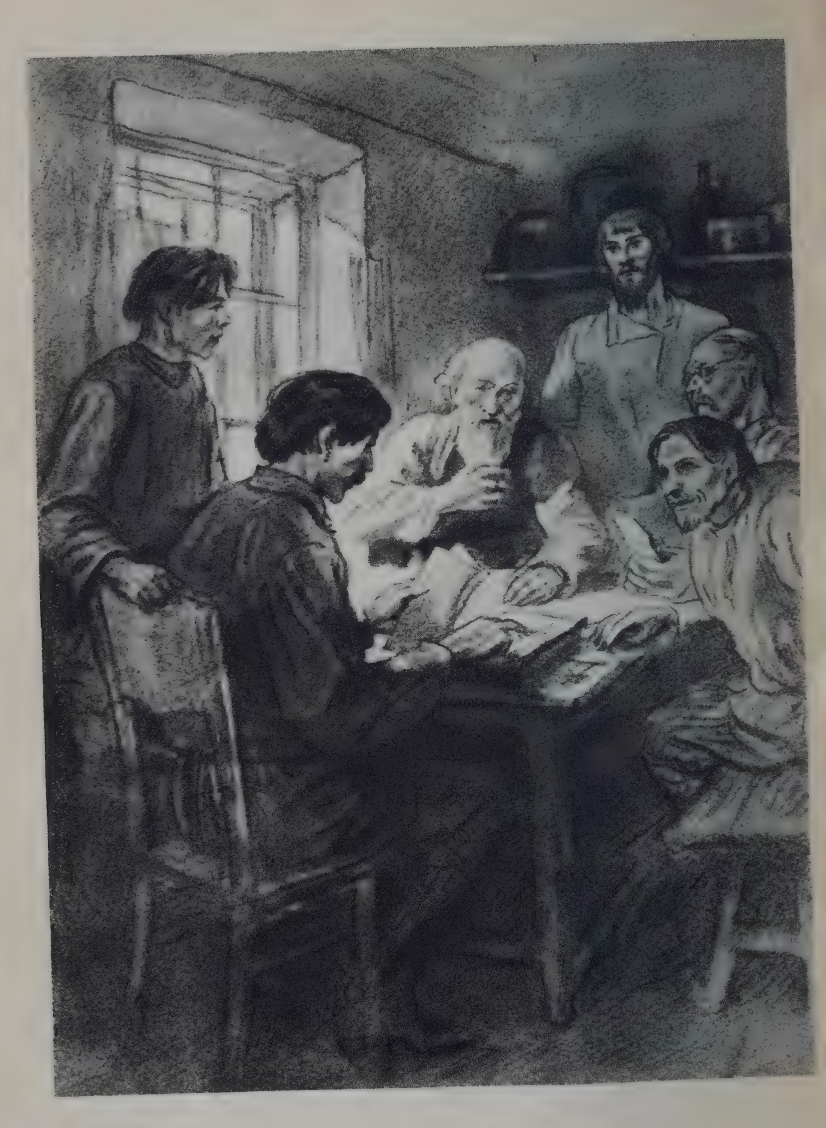
Семашко говорил мне:

— Какие же это стихи? Это — сапожные гвозди.

Не желая ни в чём отставать от них, я тоже влюбился в барышню Птицыну. Не помню, чем это выражалось у меня, но кончилось — плохо: по гнилой зелёной воде Звездина пруда плавала половица, и я предложил покатать барышню на этой доске. Она согласилась, я подвёл доску к берегу и встал на неё, — одного меня она держала хорошо. Но когда пышно одетая барышня, вся в кружевах и лентах, грациозно встала на другом конце доски, а я гордо оттолкнулся палкой от земли, проклятая половица завиляла под нами, и барышня нырнула в пруд. Я рыцарски бросился за нею, быстро извлёк её на



К стр. 213



К стр. 251

берег, — испуг и зелёная тина пруда уничтожили красоту моей дамы!

Грозя мне мокрым кулачком, она кричала:

— Это ты нарочно утопил меня!

И, не поверив искренности моих оправданий, с той поры стала относиться ко мне враждебно.

В общем, в городе жилось не очень интересно; старая хозяйка относилась ко мне неприязненно, как раньше; молодая смотрела на меня подозрительно; Викторушка, ещё более порыжевший от веснушек, фыркал на всех, чем-то неизлечимо обиженный.

Чертёжной работы у хозяина было много; не успевая одолеть её вдвоём с братом, он пригласил в помощники вотчима[1] моего.

Однажды я пришёл с Ярмарки рано, часов в пять, и, войдя в столовую, увидал забытого мною человека у чайного стола, рядом с хозяином. Он протянул мне руку.

— Здравствуйте...

Я ошалел от неожиданности, сразу пожаром вспыхнуло прошлое, обожгло сердце.

— Испугался даже! — крикнул хозяин.

Вотчим смотрел на меня с улыбкой на страшно худом лице, его тёмные глаза стали ещё больше, весь он был потёртый, раздавленный. Я сунул руку в его тонкие, горячие пальцы.

— Ну вот, снова встретились, — сказал он, покашливая.

Я ушёл, ослабев, как избитый.

Между нами установились какие-то осторожные и неясные отношения — он называл меня по имени и отчеству, говорил со мною, как с равным.

— Когда пойдёте в лавку, пожалуйста, купите мне

---

[1] В о т ч и м а (правильно: отчима); о т ч и м — не родной отец.

четверть фунта табаку Лаферм, сотню гильз Викторсон и фунт варёной колбасы...

Деньги, которые он давал мне, всегда были неприятно нагреты его горячей рукой. Было ясно, что он — чахоточный и не жилец на земле. Он знал это и говорил спокойным баском, закручивая острую чёрную бородку:

— У меня болезнь почти неизлечимая. Впрочем, если много употреблять мяса, то — можно поправиться. Может быть, я поправлюсь.

Ел он невероятно много, ел и курил папиросы, выпуская их изо рта только во время еды. Я каждый день покупал ему колбасу, ветчину, сардины, но сестра бабушки уверенно и почему-то злорадно говорила:

— Смерть закусками не накормишь, её не обманешь, нет!

Хозяева относились к вотчиму с обидным вниманием, упорно советовали ему попробовать то или иное лекарство, но заглаза высмеивали его.

— Дворянин! Крошки, говорит, надобно чаще сметать со столов, мухи, дескать, разводятся от крошек, — рассказывала молодая хозяйка, а старуха ей вторила:

— Как же, дворянин! Сюртучишко-то весь протёрся, залоснился, а он его всё ещё щёткой шаркает. Привередник [1], чтобы — ни пылинки!

А хозяин точно утешал их:

— Погодите, звери-курицы, умрёт он скоро!..

Это бессмысленное враждебное отношение мещан к дворянину невольно сближало меня с вотчимом. Мухомор — тоже поганый гриб, да хоть красив!

Задыхавшийся среди этих людей, вотчим был похож на рыбу, случайно попавшую в куриный садок [2], — нелепое сравнение, как нелепа была вся эта жизнь.

---

[1] Привередник — капризный, придирчивый, разборчивый.

[2] В куриный садок — в помещение для кур.

Я стал находить в нём черты «Хорошего дела» — человека, незабвенного[1] для меня; его и Королеву я украшал всем лучшим, что мне давали книги, им отдавал я чистейшее моё, все фантазии, порождённые чтением. Вотчим — такой же чужой и нелюбимый человек, как «Хорошее дело». Он держался со всеми в доме ровно, никогда не заговаривал первый, отвечал на вопросы как-то особенно вежливо и кратко. Мне очень нравилось, когда он учил хозяина: стоит у стола, согнувшись вдвое, и, постукивая сухим ногтем по толстой бумаге, спокойно внушает:

— Здесь необходимо связать стропила ключом[2]. Это пресечёт силу давления на стены, иначе стропила будут распирать стены.

— Верно, чорт возьми! — бормотал хозяин; а жена говорила ему, когда вотчим уходил:

— Просто удивляюсь, как ты позволяешь учить себя!

Её почему-то особенно раздражало, когда вотчим после ужина чистил зубы и полоскал рот, выгибая острый кадык.

— По-моему, — кислым голосом говорила она, — вам, Евгений Васильевич, вредно так загибать голову!

Он, вежливо улыбаясь, спрашивал:

— Почему же?

— Да... так уж...

Он начинал чистить костяной палочкой свои синеватые ногти.

— Скажите, ногти ещё чистит! — волновалась хозяйка. — Умирает, а туда же...

— Эхе-хе! — вздыхал хозяин. — Сколько на вас, звери-курицы, глупости наросло...

— Да ты что́ это говоришь? — возмущалась супруга.

А старуха по ночам пылко жаловалась богу:

---

[1] Незабвенного (незабвенный) — незабываемого, дорогого.

[2] Связать стропила ключом — скрепить.

— Господи, вот повесили мне на шею гнилого этого, а Викторушка — опять в стороне...

Викторушка стал подражать манерам вотчима, его медленной походке, уверенным движениям барских рук, его уменью как-то особенно пышно завязывать галстук и ловко, не чавкая, есть. Он то и дело грубо спрашивал:

— Максимов, как по-французски — колено?

— Меня зовут Евгений Васильевич, — спокойно напоминал вотчим.

— Ну, ладно! А — грудь?

За ужином Викторушка командовал матери:

— Ма мер, донне муазанкор [1] солонины! [2]

— Ах ты, французик, — умилялась старуха.

Вотчим невозмутимо, как глухонемой, жевал мясо, ни на кого не глядя.

Однажды старший брат сказал младшему:

— Теперь, Виктор, когда ты по-французски выучился, тебе надо любовницу завести...

Это был единственный раз, когда, я помню, вотчим молча улыбнулся.

А хозяйка возмущённо бросила ложку на стол и закричала мужу:

— Как тебе не стыдно пакости при мне говорить!

Иногда вотчим приходил ко мне в чёрные сени; там, под лестницей на чердак, я спал; на лестнице, против окна, читал книги.

— Читаете? — спрашивал он, выдыхая дым; в груди у него шипели головни. — Что это?

Я показывал книгу.

— Ах, — говорил он, взглянув на титул, — это я, кажется, читал! Хотите курить?

---

[1] Ма мер, донне муазанкор... — Моя мать, дайте мне... (Виктор произносит неправильно муазанкор, следует: муа анкор).

[2] Солонины (солонина) — засоленной говядины.

Курили, поглядывая в окно на грязный двор; он говорил:

— Очень жаль, что вы не можете учиться, у вас, кажется, есть способности...

— Вот, я учусь, читаю...

— Этого мало, нужна — школа, система...

Хотелось сказать ему:

— У вас, сударь мой, и школа и система была, а — что толку?

Но он, как бы подозревая мои мысли, добавлял:

— При наличии характера, — школа хорошо воспитывает. Жизнь могут двигать только очень грамотные люди...

Не однажды он советовал мне:

— Вы бы лучше ушли отсюда, не вижу здесь смысла и пользы для вас...

— Мне нравятся рабочие.

— А... Чем же?

— Интересно с ними.

— Может быть...

А однажды он сказал:

— Какая, в сущности, дрянь эти наши хозяева, дрянь...

Вспомнив, как и когда произнесла это слово моя мать, я невольно отодвинулся от него, — он спросил, улыбаясь:

— Вы не так думаете?

— Так.

— Ну да... Я это вижу.

— Хозяин всё-таки нравится мне...

— Да, он, пожалуй, добрый мужик... Но — смешной.

Мне хотелось говорить с ним о книгах, но он, видимо, не любил книг и не однажды советовал мне:

— Вы — не увлекайтесь, в книгах всё очень прикрашено, искажено в ту или иную сторону. Большинство пи-

шущих книги это люди вроде нашего хозяина — мелкие люди.

Подобные суждения казались мне смелыми и подкупали меня.

Как-то раз он спросил меня:

— Вы читали Гончарова?

— «Фрегат Паллада».

— Это очень скучно, «Паллада». Но вообще Гончаров — самый умный писатель в России. Советую прочитать его роман «Обломов». Это наиболее правдивая и смелая книга у него. И вообще в русской литературе — лучшая книга...

О Диккенсе он говорил:

— Это — чепуха, уверяю вас... А вот в приложениях к газете «Новое время» печатается весьма интересная вещь «Искушение святого Антония» — это вы прочитайте! Вы, кажется, любите церковь и всё это, церковное. «Искушение» вам будет полезно...

Он сам принёс мне пачку приложений, я прочитал мудрую работу Флобера[1]; она напоминала мне бесчисленные жития святых, кое-что из историй, рассказанных начётчиком, но особенно глубокого впечатления не вызвала, гораздо более мне понравились напечатанные рядом с нею «Мемуары Упилио Файмали, укротителя зверей».

Когда я сознался в этом вотчиму, он спокойно заметил:

— Значит — вам ещё рано читать такие вещи! Но не забывайте об этой книге...

Иногда он долго сидел со мною, не говоря ни слова, только покашливая и непрерывно исходя дымом. Его красивые глаза жутко горели. Я тихонько смотрел на него и забывал, что этот человек, умирающий так честно и просто, без жалоб, когда-то был близок моей матери и

[1] Флобера (Флобер Гюстав) — выдающегося французского писателя XIX века.

оскорблял её. Я знал, что он живёт с какой-то швейкой, и думал о ней с недоумением и жалостью: как она не брезгует обнимать эти длинные кости, целовать этот рот, из которого тяжко пахнет гнилью? Так же, как бывало «Хорошее дело», вотчим неожиданно говорил что-то очень своё.

— Я люблю гончих собак, они — глупые, но я их люблю. Очень красивы. Красивые женщины часто бывают глупы...

Я не без гордости думал:

— Знал бы ты — Королеву Марго!

— У всех людей, которые долго живут в одном доме, лица становятся одинаковыми, — сказал он однажды; я записал это в свою тетрадь.

Я ждал этих изречений, как благостыни, — приятно было слышать необычные сочетания слов в доме, где все говорили бесцветным языком, закостеневшим в истёртых, однообразных формах.

Вотчим никогда не говорил со мною о матери, даже, кажется, имени её не произнёс никогда; это очень нравилось мне, возбуждая чувство, близкое к уважению к нему.

Как-то раз я спросил его о боге, — не помню, что́ именно; он взглянул на меня и очень спокойно сказал:

— Не знаю. Я в бога не верю.

Я вспомнил Ситанова и рассказал о нём, а вотчим, внимательно выслушав меня, заметил всё так же спокойно:

— Он рассуждает, а рассуждающий всё-таки верит во что-то... Я просто — не верю!

— А разве это можно?

— Почему же нельзя? Вот видите — не верю...

Я видел одно — он умирает. Едва ли я жалел его, но впервые почувствовал острый и естественный интерес к умирающему ближнему, к тайне смерти...

Но это — мысли, а за ними лежит то невыразимое словами, что родит и питает их, что властно понуждает всматриваться в явления жизни, от каждого из них требует ответа — зачем?

— Кажется, я скоро лягу, знаете, — сказал вотчим однажды, в дождливый день. — Такая глупая слабость! И ничего не хочется...

На другой день за вечерним чаем он особенно тщательно сметал со стола и с колен крошки хлеба, отстранял от себя что-то невидимое, а старуха-хозяйка, глядя на него исподлобья, говорила снохе шопотом:

— Гляди — ощипывается, чистится...

Дня через два он не пришёл работать, а потом старая хозяйка сунула мне большой белый конверт, говоря:

— На-ко, вчера ещё бабёнка принесла, о полдень, да забыла я отдать. Миленькая бабёнка-то, а уж как она тебе приходится — не знаю, право!

В конверте, на листе бумаги с бланком больницы, было написано крупными буквами:

«Будете иметь свободный час — придите повидаться. Я в Мартыновской. Е. М.».

На другой день, утром, я сидел в больничной палате, на койке вотчима; он был длиннее койки, и ноги его, в серых сбившихся носках, торчали сквозь прутья спинки. Красивые глаза, мутно плутая по жёлтым стенам, останавливались на моём лице и на маленьких руках девушки, сидевшей на табуретке у изголовья. Она положила руки на подушку, и вотчим тёрся щекой о них, открыв рот. Девушка была полненькая, в тёмном гладком платье; по её овальному лицу медленно стекали слёзы; мокрые голубые глаза, не отрываясь, смотрели в лицо вотчима, на острые кости, большой заострившийся нос и тёмный рот.

— Священника бы, — шептала она, — а он не велит... не понимает ничего...

И, сняв руки с подушки, она прижала их к груди, точно молясь.

На минуту вотчим пришёл в себя, посмотрел в потолок, серьёзно нахмурясь и словно вспоминая что-то, потом подвинул ко мне свою тощую руку.

— Вы? Спасибо. Вот, видите... Чувствую очень глупо... себя...

Это его утомило, он закрыл глаза; я погладил его длинные холодные пальцы с синими ногтями, девушка тихо попросила:

— Евгений Васильевич, согласитесь, пожалуйста!

— Вот — познакомьтесь, — проговорил он, указав на неё глазами. — Милый человек...

Замолчал, всё шире открывая рот, и вдруг вскрикнул, хрипло, точно ворон; завозился на койке, сбивая одеяло, шаря вокруг себя голыми руками, — девушка тоже закричала, сунув голову в измятую подушку.

Умер вотчим быстро; умер и тотчас похорошел.

Я вышел из больницы под руку с девушкой. Она качалась, как больная, плакала. В руке у неё был сжатый в ком платок; поочерёдно прикладывая его к глазам, она свёртывала платок всё туже и смотрела на него так, как будто это было самое драгоценное и последнее её.

Вдруг остановилась, прижавшись ко мне, говоря с упрёком:

— И до зимы не дожил... Ах, господи, господи, что же это такое?

Потом протянула мне руку, мокрую от слёз.

— Прощайте. Он вас очень хвалил. Хоронить — завтра.

— Проводить вас до дому?

Она оглянулась.

— Зачем же? Теперь — день, не ночь.

Из-за угла переулка я посмотрел вслед ей, — шла она тихонько — как человек, которому некуда торопиться.

Был август, уже с деревьев падал лист.

У меня не нашлось времени проводить вотчима на кладбище, и я никогда больше не видел эту девушку...

XVII

Каждое утро, в шесть часов, я отправлялся на работы, на Ярмарку. Там меня встречали интересные люди: плотник Осип, седенький, похожий на Николая-угодника, ловкий работник и острослов[1]; горбатый кровельщик[2] Ефимушка; благочестивый каменщик Пётр, задумчивый человек, тоже напоминавший святого; штукатур Григорий Шишлин, русобородый, голубоглазый красавец, сиявший тихой добротой.

Я знал этих людей во второй период жизни у чертёжника; каждое воскресенье они бывало являлись в кухню, степенные, важные, с приятною речью, с новыми для меня, вкусными словами. Все эти солидные мужики тогда казались мне насквозь хорошими: каждый был по-своему интересен, все выгодно отличались от злых, вороватых и пьяных мещан слободы Кунавина.

Больше всех мне нравился тогда штукатур Шишлин, я даже просился в артель к нему, но он, почёсывая золотую бровь белым пальцем, мягко отказал мне:

— Рано для тебя, наша работа — нелёгкая, погоди год-другой...

Потом, взметнув красивой головою, спросил:

— Али не ладно живётся? Ну, ничего, потерпи, сожмись крепче в самом себе, тогда — стерпишь!

Не знаю, что́ дал мне этот добрый совет, но я благодарно запомнил его.

---

[1] Острослов — говорящий остроумно, остряк.

[2] Кровельщик — рабочий, настилающий крыши.

Они и теперь приходили к моему хозяину утром каждого воскресенья, рассаживались на скамьях вокруг кухонного стола и, ожидая хозяина, интересно беседовали. Хозяин шумно и весело здоровался с ними, пожимая крепкие руки, садился в передний угол. Появлялись счёты, пачка денег, мужики раскладывали по столу свои счета, измятые записные книжки, — начинался расчёт за неделю.

Шутя и балагуря, хозяин старался обсчитать их, а они — его; иногда крепко ссорились, но чаще — дружно смеялись.

— Эх, милый человек, жуликом ты родился! — говорили мужики хозяину.

Он отвечал, сконфуженно посмеиваясь:

— Ну, и вы, звери-курицы, тоже довольно жуликоваты!

— Да ведь как иначе, друг? — сознавался Ефимушка, а серьёзный Пётр говорил:

— Тем и жив, что́ украдёшь, а что́ выработаешь — богу да царю...

— Вот и мне охота объегорить[1] вас! — смеялся хозяин.

Они добродушно поддерживали его:

— Поддедюлить[2], значит?

— Подкузьмить?[3]

Григорий Шишлин, прижимая руками ко груди пышную бороду, певуче просил:

— Братцы, а давайте просто дела делать, без обмана? Ведь ежели честно жить, — так ведь как хорошо, спокойно, а? Народ родной, а?

Голубые глаза его темнели, увлажнялись; был он в эти минуты удивительно хорош; всех как будто немнож-

---

[1] Объегорить — обмануть, перехитрить.

[2] Поддедюлить — обманно присвоить.

[3] Подкузьмить — обмануть, перехитрить.

ко смущала его просьба, все сконфуженно отворачивались от него.

— Мужик на много не омманет, — вздыхая, ворчал благообразный Осип, как бы жалея мужика.

Тёмный каменщик, согнув над столом сутулую спину, густо говорил:

— Грех, что болото — чем дале, тем вязче!

И в тон речам их хозяин бормочет:

— Я — что же? Откликаюсь, как аукнется...

Пофилософствовав, снова пытаются надуть друг друга, а рассчитавшись, потные и усталые от напряжения, идут в трактир пить чай, пригласив с собою и хозяина.

На Ярмарке я должен был следить, чтобы эти люди не воровали гвоздей, кирпича, тёсу; каждый из них, кроме работы у моего хозяина, имел свои подряды, и каждый старался стащить что-нибудь из-под носа у меня на своё дело.

Они встретили меня ласково, а Шишлин сказал:

— Помнишь, ты просился в артель ко мне? А теперь — эвон куда тебя вознесло, будешь надо мной начальником, а?

— Ну, ну, — балагурил Осип, — стереги да береги, бог тебе помоги!

Пётр недружелюбно заметил:

— Нарядили молодого журавля управлять старыми мышами...

Мои обязанности жестоко смущали меня; мне было стыдно перед этими людьми, — все они казались знающими что-то особенное, хорошее и никому, кроме них, неведомое, а я должен смотреть на них, как на воров и обманщиков. Первые дни мне было трудно с ними, но Осип скоро заметил это и однажды, с глазу на глаз, сказал мне:

— Вот что, паренёк, ты не надувайся, это ни к чему — понял?

Я, конечно, ничего не понял, но почувствовал, что старик понимает нелепость моего положения, и у меня быстро наладились с ним отношения откровенные.

Он поучал меня где-нибудь в уголке:

— Середь нас, коли хочешь знать, главный вор — каменщик Петруха; он человек многосемейный, жадный. За ним — гляди в оба [1], он ничем не брезгует [2], ему всё годится: фунт гвоздей, десяток кирпича, мешок известки, — всё подай сюда! Человек он — хороший, богомол, мыслей строгих и грамотен, ну, а — воровать любит! Ефимушка — в баб живёт, он — смирный, он для тебя — безобидный. Он тоже умный, горбатые — все не дураки! А вот Григорий Шишлин — этот придурковат, ему не то что чужое взять, абы своё — отдать! Он работает вовсе впустую [3], его всяк может омmануть, а он — не может! Без ума руководится...

— Он — добрый?

Осип посмотрел на меня как-то издали и сказал памятные слова:

— Верно, добрый! Ленивому добрым быть — самое простое; доброта, парень, ума не просит...

— Ну, а сам ты? — спросил я Осипа.

Он усмехнулся и ответил:

— Я, как девушка, — буду бабушкой, тогда про себя и скажу, ты погоди покуда! А то — умом поищи, где я спрятан, — поищи-ко, вот!

Он опрокидывал все мои представления о нём и его друзьях. Мне трудно было сомневаться в правде его отзывов, — я видел, что Ефимушка, Пётр, Григорий считают благообразного старика более умным и сведущим

---

[1] Гляди в оба (глядеть в оба) — наблюдай зорко, будь внимателен.

[2] Ничем не брезгует (брезговать) — здесь: ничем не гнушается, всё берёт подряд.

[3] Впустую — зря, напрасно.

во всех житейских делах, чем сами они. Они обо всём советовались с ним, выслушивали его советы внимательно, оказывали ему всякие знаки почтения.

— Сделай милость, посоветуй ты нам, — просили они его, но после одной из таких просьб, когда Осип отошёл, каменщик тихо сказал Григорию:

— Еретик.

А Григорий, усмехаясь, добавил:

— Паяц.

Штукатур дружески предупреждал меня:

— Ты гляди, Максимыч, со стариком — надо жить осторожно, он тебя в один час вокруг пальца обернёт![1] Эдакие, вот, старички едучие[2] — избави боже, до чего вредны!

Я ничего не понимал.

Мне казалось, что самый честный и благочестивый человек — каменщик Пётр; он обо всём говорил кратко, внушительно, его мысль чаще всего останавливалась на боге, аде и смерти.

— Эх, ребята-братцы, как ни бейся, на что ни надейся, а гроба да погоста никому не миновать-стать![3]

У него постоянно болел живот, и бывали дни, когда он совсем не мог есть; даже маленький кусочек хлеба вызывал у него боли до судорог и мучительную тошноту.

Горбатый Ефимушка казался тоже очень добрым и честным, но всегда — смешным, порою — блаженным, даже безумным, как тихий дурачок. Он постоянно влюблялся в разных женщин и обо всех говорил одними и теми же словами:

---

[1] Вокруг пальца обернёт — проведёт, ловко обманет.

[2] Едучие — язвительные, злобно-насмешливые.

[3] Гроба да погоста никому не миновать-стать — смерти никому не избежать.

— Прямо скажу: не баба, а цветок в сметане, ей-бо-о!..

Рабочие Шишлина, семь человек, относились к нему просто, не чувствуя в нём хозяина, а заглаза называли его телёнком. Являясь на работу и видя, что они ленятся, он брал соколок [1], лопату и артистически принимался за дело сам, ласково покрикивая:

— Наддай, ребятки, наддай!

Однажды, исполняя сердитое поручение хозяина моего, я сказал Григорию:

— Плохие у тебя работники...

Он как будто удивился:

— Да ну?

— Эту работу надо бы ещё вчера до полудня кончить, а они и сегодня не успеют...

— Это верно — не успеют, — согласился он и, помолчав, осторожно сказал:

— Я, конешно, вижу, да совестно подгонять их — ведь всё свои, из одной деревни со мной. Опять же и то возьми: наказано богом — в поте лица ешь хлеб, так что — для всех наказано, для тебя, для меня. А мы с тобой мене их трудимся, ну — неловко будто подгонять-то их...

Он жил задумчиво; идёт по пустым улицам Ярмарки и вдруг, остановясь на одном из мостов Обводного канала, долго стоит у перил, глядя в воду, в небо, в даль за Оку. Настигнешь его, спросишь:

— Ты что?

— А? — просыпаясь, смущённо улыбается он. — Это я так... пристал, поглядел немножко...

— Хорошо, брат, устроено всё у бога, — нередко говорил он. — Небушко, земля, реки текут, пароходы бежат. Сел на пароход, и куда хошь: в Рязань, али в Ры-

---

[1] Соколок — у каменщиков доска с ручкой для извести.

бинской, в Пермь, до Астрахани! В Рязани я был, ничего — городок, а скушный, скушнее Нижнего; Нижний у нас — молодец, весёлый! И Астрахань — скушнее. В Астрахани, главное, калмыка много, а я этого не люблю. Не люблю никакой мордвы, калмыков этих, персиян, немцев и всяких народцев...

Он говорит медленно, слова его осторожно нащупывают согласно мыслящего человека и всегда находят его в каменщике Петре.

— Не народы они, а — мимородцы [1], — уверенно и сердито говорит Пётр, — мимо Христа родились, мимо Христа идут...

Григорий оживляется, сияет.

— Так ли, нет ли, а я, братцы, люблю чистый народ, русский, чтобы глаз был прямой! Жидов я тоже не люблю и даже не понимаю, зачем богу народцы? Премудро устроено...

Каменщик добавляет сумрачно:

— Премудро, а быдто [2] лишнего многонько!..

Прислушавшись к их речам, вступает Осип, насмешливо и едко:

— Лишнее — есть, вот речи эти ваши — вовсе лишние! Эх, вы, сехта! [3] Пороть бы вас всех-то.

Осип держится сам по себе, но нельзя понять, — с чем он согласен, против чего будет спорить. Иногда кажется, что он равнодушно согласен со всеми людьми, со всеми их мыслями; но чаще видишь, что все надоели ему, он смотрит как на полоумных и говорит Петру, Григорию, Ефимушке:

---

[1] Мимородцы — так говорящий понял по-своему слово «инородцы», которым в царской России называли представителей разных национальностей.

[2] Быдто — будто.

[3] Сехта — секта, религиозная община, отколовшаяся от господствующей церкви.

— Эх, вы, щенки свинячьи...

Они усмехаются, не очень весело и охотно, а всё-таки усмехаются.

Хозяин выдавал мне на хлеб пятачок в день; этого нехватало, я немножко голодал; видя это, рабочие приглашали меня завтракать и поужинать с ними, а иногда и подрядчики звали меня в трактир чай пить. Я охотно соглашался, мне нравилось сидеть среди них, слушая медленные речи, странные рассказы; им доставляла удовольствие моя начитанность в церковных книгах.

— Наклевался ты книжек досыта, набил зоб туго, — говорил Осип, внимательно глядя на меня васильковыми глазами; трудно уловить их выражение, — зрачки у него всегда точно плавятся, тают.

— Ты береги это, прикапливай, годится; вырастешь — иди в монахи народ словесно утешать, а то — в миллионеры...

— Мисионеры [1], — поправляет каменщик почему-то обиженным голосом.

— Ась? — спрашивает Осип.

— Мисионеры говорится, ведь знаешь! И не глух ты...

— Ну, ладно, в мисионеры, с еретиками спорить. А то в самые еретики запишись, — тоже должность хлебная! При уме и ересью прожить можно...

Григорий сконфуженно смеётся, а Пётр говорит в бороду:

— Вот колдуны тоже не плохо живут, безбожники разные...

Но Осип тотчас возражает:

— Колдун грамотен не живёт, грамота колдуну не ко двору...

И рассказывает мне:

---

[1] Мисионеры (правильно: миссионеры) — лица, посылаемые для религиозной пропаганды среди людей другой веры.

— Вот, погляди, послушай: жил в нашей волости бобылёк[1] один, Тушкой звали, захудящий мужичонко, пустой; жил — пером, туда-сюда, куда ветер дует, а — ни работник, ни бездельник! Вот, пошёл он единожды, от нечего делать, на богомолье и плутал два года срока, а после вдруг объявился в новом виде: волосы — до плеч, на голове — скуфеечка[2], на корпусе — рыженькая ряска[3] чортовой кожи[4], глядит на всех окунем и предлагает упрямо: покайтесь, треклятые! Чего ж не покаяться, а особливо — бабам? И пошло дело на лад: Тушка сыт, Тушка пьян, Тушка бабами через меру доволен...

Каменщик сердито перебивает:

— Да разве в том дело, что — сыт да пьян?

— В чём ино?[5]

— Дело — в слове!

— Ну, в слова его я не вникал, словами — я и сам преизбыточно богат.

— Мы Тушникова, Дмитрия Васильича, довольно хорошо знаем, — обиженно говорит Пётр, а Григорий молча опустил голову и смотрит в свой стакан.

— Я — не спорю, — примирительно заявляет Осип. — Это вот я всё Максимычу нашему говорю про разные пути-дороги до куска...

— По иным дорогам и в острог попадают...

— Редко ли? — соглашается Осип. — Не со всякой тропы попадёшь в попы, надо знать, где свернуть...

Он всегда немножко поддразнивает благочестивых людей — штукатура и каменщика; может быть, он не

---

[1] Бобылёк — уменьшительное от «бобыль»: безземельный, бедный и одинокий крестьянин.

[2] Скуфеечка — остроконечная чёрная монашеская шапочка.

[3] Ряска (ряса) — верхняя длинная одежда у духовенства.

[4] Чортовой кожи (чортова кожа) — из плотной хлопчатобумажной ткани.

[5] В чём ино? — В чём другом?

любит их, но ловко скрывает это. Его отношение к людям вообще неуловимо.

На Ефимушку он смотрит как будто мягче, добрее. Кровельщик не вступает в беседы о боге, правде, о сектах, о горе жизни человеческой — любимые беседы его друзей. Поставив стул боком к столу, — чтобы спинка стула не мешала горбу, — он спокойно пьёт чай, стакан за стаканом, но вдруг настораживается, оглядывая дымную комнату, вслушиваясь в несвязный шум голосов, вскакивает и быстро исчезает. Это значит, что в трактир пришёл кто-то, кому Ефимушка должен, а кредиторов[1] у него — добрый десяток[2], и так как некоторые бьют его, — бегает от греха.

— Сердются, чудаки, — недоумевает он, — да ведь кабы я имел деньги, али бы не отдал я?

— Ах, сухостой горький...[3] — напутствует его Осип.

Кроме женщин, Ефимушка ни о чём не говорит, и работник он неровный, — то работает отлично, скоро, то у него не ладится, деревянный молоток клеплет гребни лениво, небрежно, оставляя свищи. От него всегда пахнет маслом, ворванью; но у него есть свой запах, здоровый и приятный, он напоминает запах свежесрубленного дерева.

С плотником интересно говорить обо всём; интересно, но не очень приятно: его слова всегда тревожат сердце, и трудно понять, когда он говорит серьёзно, когда шутит.

С Григорием же всего лучше говорить о боге, он любит это и в этом твёрд.

— Гриша, — спрашиваю я, — а знаешь: есть люди, которые не верят в бога?

---

[1] Кредиторов (кредиторы) — давших деньги взаймы.

[2] Добрый десяток — не меньше десяти.

[3] Ах, сухостой горький... — здесь: Ах, бедняга несчастный...

Он спокойно усмехается:

— Как это?

— Говорят: нет бога!

— О! Вона что́! Это я знаю.

И, отмахиваясь рукою от невидимой мухи, говорит:

— Ещё царём Давыдом [1], помнишь, сказано: «рече безумец в сердце своём: несть бог» [2], вон — когда ещё говорили про это безумные! Без бога — никак нельзя обойтись...

Осип как будто соглашается с ним:

— Отними-ка у Петрухи бога-то — он те покажет Кузькину мать! [3]

Красивое лицо Шишлина становится строгим; перебирая бороду пальцами с засохшей известью на ногтях, он таинственно говорит:

— Бог вселён в каждую плоть: совесть и всё внутреннее ядро — от бога дано!

— А — грехи?

— Грехи — от плоти, от сатаны! Грехи — это снаружи, как воспа [4], не боле того! Грешит всех сильней тот, кто о грехе много думает; не поминай греха — не согрешишь! Мысли о грехе — сатана, хозяин плоти, внушает...

Каменщик сомневается.

— Что-то не так будто бы...

— Так! Бог — безгрешен, а человек — образ и подобие его. Грешит — образ, плоть; а подобие грешить не может, оно — подобие, дух...

Он победно улыбается, а Пётр ворчит:

---

[1] Царём Давыдом (царь Давид) — царём иудейским.

[2] Рече безумец сердце своём: несть бог — сказал безумец в сердце своём: нет бога.

[3] Покажет Кузькину мать — выражение угрозы: задаст тебе.

[4] Воспа — оспа.

— Это будто бы не так...

— А по-твоему, — спрашивает Осип каменщика, — не согрешишь — не покаешься, не покаешься — не спасёшься?

— Так-то надёжнее будто! Чорта забудешь — бога разлюбишь, говорили старики...

Шишлин непьющий, он пьянеет с двух рюмок; тогда лицо его становится розовым, глаза детскими, голос поёт.

— Братцы мои, как всё это хорошо! Вот, живём, работаем немножко, сыты, слава богу, — ах, как хорошо!

Он плакал, слёзы стекали ему на бороду и светились на шёлке волос стеклянными бусами.

Его частые похвалы жизни и эти стеклянные слёзы были неприятны мне, — бабушка моя хвалила жизнь убедительнее, проще, не так навязчиво.

Все эти разговоры держали меня в постоянном напряжении, возбуждая смутную тревогу. Я уже много прочитал рассказов о мужиках и видел, как резко не похож книжный мужик на живого. В книжках все мужики несчастны; добрые и злые, все они беднее живых словами и мыслями. Книжный мужик меньше говорит о боге, о сектах, церкви, — больше о начальстве, о земле, о правде и тяжестях жизни. О женщинах он говорит тоже меньше, не столь грубо, более дружелюбно. Для живого мужика баба — забава, но забава опасная, с бабой всегда надо хитрить, а то она одолеет и запутает всю жизнь. Мужик из книжки или плох, или хорош, но он всегда весь тут, в книжке; а живые мужики ни хороши, ни плохи, они удивительно интересны. Как бы перед тобою ни выболтался живой мужик, всегда чувствуется, что в нём осталось ещё что-то, но этот остаток — только для себя, и, может быть, именно в этом несказанном, скрытом — самое главное.

Изо всех книжных мужиков мне наибольше понравился Пётр «Плотничьей артели» [1]; захотелось прочитать этот рассказ моим друзьям, и я принёс книгу на Ярмарку. Мне часто приходилось ночевать в той или другой артели; иногда потому, что за день я уставал и нехватало сил итти домой.

Когда я сказал, что вот у меня есть книга о плотниках, это всех живо заинтересовало, а Осипа — особенно. Он взял книгу из рук у меня, перелистал её, недоверчиво покачивая иконописною головой.

— А и впрямь, будто про нас написано! Ишь ты, шельмы! Кто писал — барин? Ну, я так и подумал. Баре да чиновники на всё горазды! Где господь не догадается, там чиновник домыслит; на то они и живы есть...

— Неосторожно ты, Осип, про бога говоришь, — заметил Пётр.

— Ничего! Для господа моё слово — меньше, как мне на лысину снежинка али капля дождевая. Ты — не сумневайся, нам с тобой до бога не дотронуться...

Он вдруг беспокойно заиграл, разбрасывая, словно кремень искры, острые словечки, состригая ими, как ножницами, всё, что противоречило ему. Несколько раз в течение дня он спрашивал:

— Читаем, Максимыч? Ну, дело, дело! Это ладно придумано.

Пошабашив, пошли ужинать к нему в артель, а после ужина явились Пётр со своим работником Ардальоном и Шишлин с молодым парнем Фомою. В сарае, где артель спала, зажгли лампу, и я начал читать; слушали молча, не шевелясь, но скоро Ардальон сказал сердито:

— Ну, с меня довольно!

---

[1] «Плотничьей артели» («Плотничья артель») — рассказ А. Ф. Писемского (1820—1881), герой которого Пётр убивает кулака-подрядчика.

И ушёл. Первым заснул Григорий, удивлённо открыв рот; за ним заснули плотники, но Пётр, Осип и Фома, пододвинувшись ко мне, слушали с напряжением.

Когда я кончил читать, Осип тотчас погасил лампу, — по звёздам было уже около полуночи.

Пётр спросил во тьме:

— К чему ж это написано? Против кого?

— Теперь — спать! — сказал Осип, снимая сапоги.

Фома молча отодвинулся в сторону.

Пётр повторил требовательно:

— Я говорю — супротив кого написано это?

— Уж они знают! — выговорил Осип, укладываясь спать на подмостки[1].

— Ежели против мачех[2], так это совсем пустое дело: от этого мачехи лучше не станут, — настойчиво говорил каменщик. — А против Петра тоже зря: его грех — его ответ! За убийство — в Сибирь, больше ничего! Книжка — лишняя в таком грехе... лишняя будто, ась?

Осип молчал. Тогда каменщик добавил:

— Делать им нечего, вот и разбирают чужие дела! Вроде баб на посиделках[3]. Прощайте, ин спать надо...[4]

Он на минуту задержался в синем квадрате открытой двери и спросил:

— Осип, ты как думаешь?

— Ой? — сонно отозвался плотник.

— Ну, ладно, спи...

Шишлин свалился на бок там, где сидел. Фома лёг на измятой соломе рядом со мною. Слобода спала, издали доносился свист паровозов, тяжёлый гул чугунных колёс, звон буферов. В сарае разноголосо храпели. Мне

---

[1] На подмостки (подмостки) — на настил из досок, на возвышение.

[2] Мачех (мачехи); мачехой называют не родную мать.

[3] На посиделках (посиделки) — на вечеринках.

[4] Ин спать надо — пожалуй, спать надо.

было неловко, — я ждал каких-то разговоров, а — ничего нет...

Но вдруг Осип заговорил тихо и чётко:

— Вы, ребята, не верьте ничему этому, вы — молодые, вам долго жить, копите свой разум! Свой ум — чужим двум! Фома, спишь?

— Нет, — охотно отозвался Фома.

— То-то! Вы оба грамотны, так вы — читайте, а веры ничему не давайте. Они всё могут напечатать, это дело — в ихних руках!

Он спустил ноги с подмостков, упёрся руками в край доски и, наклонясь к нам, продолжал:

— Книжку, — её как надо понимать? Это — доношение на людей, книжка! Дескать, глядите, каков есть человек, плотник али кто другой, а вот — барин, так это — иной человек! Книжка — не зря пишется, а во чью-нибудь защиту...

Фома густо сказал:

— Пётр правильно убил подрядчика-то!

— Ну, это — напрасно, человека убивать никогда не правильно. Я знаю, ты Григорья не любишь, только эти мысли ты брось. Мы все — люди не богатые, сегодня — я хозяин, завтра — опять работник...

— Я не про тебя, дядя Осип...

— Это всё едино...

— Ты — справедливый.

— Погоди, я те расскажу, к чему написано сочинение, — перебил Осип сердитые слова Фомы, — это очень хитрое сочинение! Вот те — барин без мужика, вот — мужик без барина! Теперь гляди: и барину плохо, да и мужику не хорошо. Барин ослаб, одурел, а мужик стал хвастун, пьяница, хворый, стал обиженный — вот оно как! А в крепости у бар [1] было, дескать, лучше: барин за

[1] В крепости у бар — крепостным у господ.

мужика прятался, мужик — за барина, и кружились оба сытно, спокойные... Я — не спорю, верно, при господах было спокойнее жить — господам не к выгоде, коли мужик беден, — им хорошо, коли он богат, да не умён, вот что́ им на руку. Я это знаю, я ведь сам в крепости господской почти сорок лет прожил, у меня на шкуре много написано [1].

Я вспомнил, что вот так же говорил о господах извозчик Пётр, который зарезался, и мне было очень неприятно, что мысли Осипа совпадают с мыслями того злого старика.

Осип потрогал рукою мою ногу, продолжая:

— Книжки и всякие сочинения надо понимать! Зря никто ничего не делает, это одна видимость, будто зря. И книжки не зря пишутся, — а чтобы голову мутить. Всё творится с умом, без ума — ни топором тяпать, ни ковырять лапоть...

Говорил он долго, ложился и снова вскакивал, разбрасывая тихонько свои складные прибаутки во тьме и тишине.

— Говорится: господа мужику чужие люди. И это — неверно. Мы — тех же господ, только — самый испод [2]; конешно, барин учится по книжкам, а я — по шишкам, да у барина белее задница — тут и вся разница. Не-ет, парни, пора миру жить по-новому, сочинения-то надобно бросить, оставить! Пускай каждый спросит себя: я — кто? Человек. А он кто? Опять человек. Что же теперь: али бог с него на семишник лишнего требует? Не-ет, в податях мы оба пред богом равны...

Наконец, под утро, когда рассвет погасил все звёзды, Осип сказал мне:

— Видал, как я сочинять могу? Вот чего нагово-

---

[1] На шкуре много написано — сохранил следы побоев, узнал много горя.

[2] Испод — изнанка.

рил — чего и не думал никогда! Вы, ребята, не давайте мне веры, это я больше от бессонницы, чем всурьёз. Лежишь-лежишь, да и придумаешь чего-нибудь для забавы: во время óно жила-была ворона, летала с поля до горы, от межи до межи, дожила до своей поры, господь её накажи: издохла ворона и засохла! Какой тут смысел? Нету никакого смысла... Ну-те-ко — поспим: скоро вставать пора...

XVIII

Как в своё время кочегар Яков, — Осип в моих глазах широко разросся и закрыл собою от меня всех людей. В нём было что-то очень близкое кочегару, но в то же время он напоминал мне деда, начётчика Петра Васильева, повара Смурого, и, напоминая всех людей, цепко укрепившихся в моей памяти, он оставлял в ней свой глубокий узор, въедался в неё, точно окись в медь колокола. Заметно было, что у него два порядка мыслей: днём, за работой, на людях, его бойкие, простые мысли деловиты и более понятны, чем те, которые являются у него во время отдыха, по вечерам, когда он идёт со мною в город, к своей куме, торговке оладьями, и ночами, когда ему не спится. У него есть особенные, ночные мысли, многосторонние, как огонь в фонаре. Они хорошо светятся, но — где у них настоящее лицо, которая сторона той или другой мысли ближе и дороже Осипу?

Он казался мне гораздо умнее всех людей, когда-либо встреченных мною, я ходил вокруг него в таком же настроении, как вокруг кочегара Якова, — хочется узнать, понять человека, а он скользит, извивается и — неуловим. В чём скрыта его правда? Чему можно верить в нём?

Я вспоминаю, как он сказал мне:

— Сам поищи, где я спрятан, поищи-ко вот!

Мое самолюбие задето, но во мне задето больше чем самолюбие, — для меня жизненно-необходимо понять старика.

При всей его неуловимости, он — твёрд. Казалось, что проживи он ещё сто лет, а всё останется таким же, непоколебимо сохранит себя среди поразительно неустойчивых людей. Начётчик вызывал у меня такое же впечатление стойкости, но оно было не очень приятно мне; стойкость Осипа — иная, она более приятна.

Шаткость людей слишком резко бросается в глаза, их фокусные прыжки из одного положения в другое — опрокидывали меня; я уже уставал удивляться этим необъяснимым прыжкам, и они потихоньку гасили мой живой интерес к людям, смущали мою любовь к ним...

Я нередко думал: почему Григорий Шишлин — хозяин, а Фома Тучков — работник?

Крепкий, белый парень, кудрявый, с ястребиным носом и серыми, умными глазами на круглом лице, Фома был не похож на мужика, — если бы его хорошо одеть, он сошёл бы за купеческого сына из хорошей семьи. Это был человек сумрачный, говорил мало, деловито. Грамотный, он вёл счета подрядчика, составлял сметы, умел заставить товарищей работать успешно, но сам работал неохотно.

— Всю работу вовеки не сделаешь, — спокойно говорил он. О книгах отзывался пренебрежительно: — Напечатать всё можно, я тебе что хошь выдумаю, это — пустяки...

Но он ко всему внимательно прислушивался, и, если его что-нибудь интересовало, — расспрашивал подробно и настойчиво, всегда думая о своём о чём-то, всё измеряя своей мерой.

Раз я сказал Фоме, что вот ему бы надо быть подрядчиком, — он лениво отозвался:

— Кабы сразу тыщами ворочать — ну, ещё туда-сюда... А из-за грошей с народом возиться — это из пустого в порожнее. Нет, я вот погляжу-погляжу, да в монастырь уйду, в Оранки. Я — красивый, могутной [1], авось какой-нибудь купчихе понравлюсь, вдове! Бывает эдак-то, — один сергацкой [2] парень в два года счастья достиг, да ещё на девице женился, здешней, городской; носили икону по домам, а она его и высмотрела...

Это у него было обдумано, — он знал много рассказов о том, как послушничество в монастырях выводило людей на лёгкую дорогу. Мне его рассказы не нравились, не нравилось и направление ума Фомы, но я был уверен, что он уйдёт в монастырь.

Открылась ярмарка, и Фома, неожиданно для всех, поступил в трактир половым. Не скажу, чтобы это удивило его товарищей, но все они стали относиться к парню издевательски: по праздникам, собираясь пить чай, говорили друг другу, усмехаясь:

— Айда [3] к своему шестёрке! [4]

А приходя в трактир, хозяйски кричали:

— Эй, половик! Кудрявенький, поди сюда!

Он подходил и спрашивал, приподнимая голову:

— Что прикажете?

— Не узнал знакомых?

— Узнавать некогда мне...

Он чувствовал, что товарищи презирают его, хотят позабавиться над ним, и смотрел на них скучно-ожидающими глазами; лицо у него становилось деревянным, но, казалось, оно говорит:

---

[1] Могутной — могучий, крепкий.

[2] Сергацкой — сергачский, из Сергача, города Нижегородской губернии.

[3] Айда — пойдём.

[4] К шестёрке; шестерка — старое насмешливое прозвище трактирного слуги.

— Ну, скорее, смейтесь, что ли...

— На чаишко-то дать? — спрашивали его, нарочно долго рылись в кошельках и не давали ни копейки.

Я спросил Фому: как же это он, — собирался в монахи, а пошёл в лакеи?

— В монахи я не собирался, — ответил он, — а в лакеи не надолго пошёл...

Года четыре спустя я встретил его в Царицыне, всё ещё половым в трактире; а потом прочитал в газете, что Фома Тучков арестован за покушение на кражу со взломом.

Особенно меня поразила история каменщика Ардальона — старшего и лучшего работника в артели Петра. Этот сорокалетний мужик, чернобородый и весёлый, тоже невольно возбуждал вопрос: почему не он — хозяин, а — Пётр? Водку он пил редко и почти никогда не напивался допьяна; работу свою знал прекрасно, работал с любовью, кирпичи летали в руках у него, точно красные голуби. Рядом с ним больной и постный Пётр казался совершенно лишним человеком в артели; он говорил о работе:

— Строю для людей дома каменные, на гроб себе деревянный...

Ардальон, с весёлой яростью укладывая кирпичи, покрикивал:

— Эхма, работай, ребята, во славу божию!

И рассказывал всем, что будущей весною он уедет в Томск, там у него зять взял большой подряд — строить церковь и зовёт его к себе десятником.

— Это у меня дело решённое. Церкви строить — это я люблю! — говорил он и предлагал мне: — Айда со мной! В Сибири, брат, грамотному очень просто, там грамота — козырь! [1]

Я соглашался, и Ардальон победительно кричал:

[1] Козырь — здесь: важное преимущество.

— Ну, вот! Это дело, а не шутки...

К Петру и Григорию он относился с добродушной насмешкой, как взрослый к детям, и говорил Осипу:

— Хвастуны, всё разум свой друг другу показывают, словно в карты играют. Один — у меня-ста вот какая масть, другой — а у меня, дескать, вот они, козыри!

Осип неопределённо замечает:

— А как иначе? Хвастовство дело человечье, все девицы вперёд грудью ходят...

— Всё — ох да ох, бог да бог, а сами — деньги копят! — не унимается Ардальон.

— Ну, Гриша не накопит...

— Я — про своего. Шёл бы, с богом-то, в лес, в пустыню... Эх, надоело мне здесь, двинусь я весною в Сибирь...

Рабочие, завидуя Ардальону, говорили:

— Кабы у нас эдакая зацепка [1], вроде зятя, мы бы тоже Сибири не испугались...

И вдруг Ардальон пропал. В воскресенье ушёл из артели, и дня три никто не знал, где он.

Тревожно догадывались:

— Может, кто-нибудь пришиб его?

— А то — купался да утонул?

Но пришёл Ефимушка и объявил, сконфуженный:

— Загулял Ардальон!

— Что врёшь? — недоверчиво крикнул Пётр.

— Загулял, запил. Просто — как овин загорелся с самой серёдки. Будто любезная жена померла...

Ардальон — не вывернулся. Спустя несколько дней он пришёл на работу, но вскоре снова исчез, а весною я встретил его среди босяков, — он окалывал лёд вокруг

---

[1] Зацепка — здесь: человек, помощью которого в нужном случае можно воспользоваться.

барж в затоне[1]. Мы хорошо встретились и пошли в трактир пить чай, а за чаем он хвастался:

— Помнишь, каков я работник был, а? Прямо скажу: в своём деле — химик![2] Сотни мог заработать...

— Однако — не заработал.

— А — не заработал! — с гордостью крикнул он. — Наплевать мне на работу!

Он держался размашисто, люди в трактире прислушивались к его задорным словам со вниманием.

— Помнишь, что́ тихий вор Петруха про работу говорил? Людям — дом каменный, себе — гроб деревянный. Вот те и — вся работа!

Я сказал:

— Петруха — больной, он смерти боится.

Но Ардальон закричал:

— Я тоже больной, у меня, может, душа не на месте!

По праздникам я частенько спускался из города в «Миллионную» улицу, где ютились босяки, и видел, как быстро Ардальон становился своим человеком в «золотой роте»[3]. Ещё год тому назад — весёлый и серьёзный, теперь Ардальон стал как-то криклив, приобрёл особенную, развалистую походку, смотрел на людей задорно, точно вызывая всех на спор и бой, и всё хвастался:

— Ты гляди, как меня люди принимают, — я тут вроде атамана![4]

Не жалея заработанных денег, он угощал босяков, становился в драках на сторону слабого и часто взывал:

— Ребята, неправильно! Надо правильно поступать!

---

[1] В затоне (затон) — в заливе, глубоко вдающемся в берег.

[2] Химик — здесь: ловкий, тонкий специалист своего дела.

[3] В «золотой роте»; золотая рота — босяки, оборванцы.

[4] Вроде атамана — здесь: вроде начальника.

Его так и прозвали — Правильный, это очень нравилось ему.

Я усердно присматривался к людям, тесно набитым в старый и грязный каменный мешок улицы. Всё это были люди, отломившиеся от жизни, но казалось, что они создали свою жизнь, независимую от хозяев и весёлую. Беззаботные, удалые, они напоминали мне дедушкины рассказы о бурлаках, которые легко превращались в разбойников и отшельников. Когда не было работы, они не брезговали мелким воровством с барж и пароходов, но это не смущало меня, — я видел, что вся жизнь прошита воровством, как старый кафтан серыми нитками, и в то же время я видел, что эти люди иногда работают с огромным увлечением, не щадя сил, как это бывало на спешных паузках[1], на пожарах, во время ледохода. И вообще они жили более празднично, чем все другие люди.

Но Осип, заметив мою дружбу с Ардальоном, отечески предупредил меня:

— Вот что, душа моя, горький сухостой, ты чего это с Миллионной[2] больно плотно приятельствуешь?[3] Гляди, не получи себе вреда...

Я сказал ему, как умел, что мне нравятся эти люди — живут без работы, весело.

— Яко птицы небесные, — перебил меня он, усмехаясь. — Это они потому так, что — лентяи, пустой народ, работа им — горе!

— Да ведь что же — работа? Говорится: от трудов праведных не нажить домов каменных!

---

[1] На спешных паузках (паузки) — на спешной перегрузке товаров с одного судна на другое.

[2] С Миллионной (Миллионная) — здесь: с босяками, ютившимися на Миллионной улице Нижнего Новгорода.

[3] Приятельствуешь (приятельствовать) — здесь: дружишь.



К стр. 276



К стр. 287

Мне легко было сказать так, я слишком часто слышал эту поговорку и чувствовал её правду. Но Осип рассердился на меня и закричал:

— Это — кто говорит? Дураки да лентяи, а тебе, кутёнок, — не слушать бы этого! Ишь ты! Эти глупости говорятся завистниками, неудачниками, а ты сперва обопрись, потом — ввысь! А про дружбу твою я хозяину доложу — не обессудь! [1]

И — доложил. Хозяин при нём же сказал мне:

— Ты, Пешков, Миллионную оставь! Там — воры, проститутки, и дорога оттуда — в острог, в больницу. Брось!

Я стал скрывать мои посещения Миллионной, но скоро был вынужден отказаться от них.

Как-то раз я сидел с Ардальоном и товарищем его, Робёнком, на крыше сарая, во дворе одной из ночлежек; Робёнок забавно рассказывал нам, как он пробирался пешком из Ростова-на-Дону в Москву. Это был солдат-сапёр, георгиевский кавалер [2], хромой, — в турецкую войну ему разбили колено. Низенький, коренастый, он обладал страшною силою в руках, силой, бесполезной ему: работать он не мог по своей хромоте. От какой-то болезни у него вылезли волосы на черепе и на лице — голова его, действительно, напоминала голову новорожденного.

Поблёскивая рыжими глазами, он говорил:

— Ну, вот: Серпухов; сидит поп в палисаднике; батюшка, говорю, подайте турецкому герою... [3]

Покачивая головою, Ардальон говорит:

— Ну, ври, ври...

— Чего же я вру? — не обижаясь, спрашивает Робёнок, а мой приятель поучительно и лениво ворчит:

---

[1] Не обессудь — здесь: не сердись.

[2] Георгиевский кавалер — награждённый орденом Георгия, георгиевским крестом (в царской армии).

[3] Турецкому герою — участнику русско-турецкой войны.

— Неправильный ты человек! Тебе в сторожа проситься, хромые всегда сторожами живут, а ты шатаешься зря и всё врёшь...

— Да ведь я — чтобы посмеяться, я — для весёлости вру...

— Тебе над собой смеяться надо...

На дворе, тёмном и грязном, хотя погода стояла сухая, солнечная, появилась женщина и крикнула, встряхивая какою-то тряпкой:

— Кто юбку купит? Эй, подруги...

Из щелей дома полезли женщины, тесно окружая продавщицу; я сразу узнал её — это прачка Наталья! Я соскочил с крыши, но она, отдав юбку за первую цену, уже тихонько уходила со двора.

— Здравствуйте! — догнав её за воротами, радостно поздоровался я.

— А дальше что скажешь? — спросила она, искоса взглянув на меня, и вдруг остановилась, сердито крикнув:

— Господи помилуй! Ты чего тут?..

Меня тронуло и смутило её испуганное восклицание; я понял, что она испугалась за меня; страх и удивление так ясно выразились на её умном лице. Наскоро я объяснил ей, что не живу в этой улице, а только иногда прихожу посмотреть.

— Посмотреть?! — насмешливо и сердито воскликнула она. — Это чего же, куда же ты смотришь? Прохожим в карманы да бабам за пазухи?

Лицо у неё было измятое, под глазами лежали густые тени, губы вяло опустились.

Остановясь у дверей трактира, она сказала:

— Идём, чаем напою! Одет — чистенько, не по-здешнему, а не верю я тебе что-то...

Но в трактире она как будто поверила мне и, разливая чай, стала скучно говорить о том, что она только час тому назад проснулась и ещё не пила, не ела.

— А вчера легла — пьяна-пьянёхонька, уж и не помню: где пила, с кем?

Мне было жалко её, неловко перед нею и хотелось спросить — где же её дочь? А она, выпив водки и горячего чаю, заговорила знакомо-бойко, грубо, как все женщины этой улицы; но когда я спросил её о дочери, сразу отрезвев, она крикнула:

— А тебе зачем знать это? Нет, милый, дочь мою ты не достанешь, нет!

Выпила ещё и рассказала:

— Дочери со мной делать нечего. Я — кто? Прачка. Какая я мать ей? Она — образованная, учёная. То-то, брат! И уехала от меня к богатой подруге, в учительницы будто...

Помолчав, она негромко спросила:

— Вот как! Прачка — вам не угодна? А — гулящая баба — угодна?

Что она «гулящая», я, конечно, сразу видел это, — иных женщин в улице не было. Но когда она сама сказала об этом, у меня от стыда и жалости к ней навернулись слёзы, точно обожгла она меня этим сознанием — она, ещё недавно такая смелая, независимая, умная!

— Эх, ты, — сказала она, взглянув на меня и вздыхая. — Иди-ка ты отсюда! И прошу я тебя и советую — не суйся сюда, пропадёшь!

Потом, тихонько и как бы сама себе, она начала отрывисто говорить, наклоняясь над столом и что-то рисуя пальцем на подносе:

— А что тебе мои просьбы и советы? Если дочь родная не послушала... Я кричу ей: не можешь ты родную мать свою бросить, что ты? А она — удавлюсь, говорит. В Казань уехала, учиться в акушерки хочет. Ну, хорошо... Хорошо... А как же я? А я — вот так... К чему мне прижаться?.. А — к прохожему...

Замолчав, она долго думала о чём-то, беззвучно шевеля губами, и, видимо, забыла обо мне. Углы губ опустились, рот изогнулся серпом, и было мучительно смотреть, как вздрагивает кожа на губах и безмолвно говорят о чём-то трепетные морщинки. Лицо у неё было детское, обиженное. Из-под платка выбилась прядь волос и лежала на щеке, загибаясь за маленькое ухо. В чашку остывшего чая капнула слеза, женщина, заметив это, отодвинула чашку и крепко прикрыла глаза, выжав ещё две слезинки, потом вытерла лицо платком.

У меня нехватило терпенья сидеть с нею дольше, я тихонько встал.

— Прощайте!

— А? Иди, иди к чорту! — отмахнулась она, не глядя на меня, должно быть забыв, кто с ней.

Я воротился на двор, к Ардальону, — он хотел итти со мною ловить раков, а мне хотелось рассказать ему об этой женщине. Но его и Робёнка уже не было на крыше; пока я искал их по запутанному двору, на улице начался шум скандала, обычный для неё.

Я вышел из ворот и тотчас столкнулся с Натальей, — всхлипывая, отирая головным платком разбитое лицо, оправляя другою рукой встрёпанные волосы, она слепо шла по панели, а за нею шагали Ардальон и Робёнок; Робёнок говорил:

— Дай ей ещё раз, дай!

Ардальон настиг женщину, помахивая кулаком; она обернулась грудью к нему; лицо у неё было страшное, глаза горели ненавистью.

— Н-на, бей! — крикнула она.

Я вцепился в руку Ардальона, он удивлённо взглянул на меня.

— Чего ты?

— Не трогай, — едва мог сказать я ему.

Он захохотал.

— Она тебе — любовница? Ай да Наташка — сожрала монашка!

Робёнок тоже хохотал, хлопая себя по бёдрам, и они долго поджаривали меня в горячей грязи, — это было мучительно! Но пока они занимались этим, Наталья ушла, а я, не стерпев наконец, ударил головою в грудь Робёнка, опрокинул его и убежал.

С того дня я долго не заглядывал в Миллионную, но ещё раз видел Ардальона, — встретил его на пароме.

— Ты — где пропал? — радостно спросил он.

Когда я сказал ему, что мне противно вспомнить, как он избил Наталью и грязно обидел меня, Ардальон добродушно засмеялся.

— Да разве это — всерьёз? Это мы шутки ради помазали тебя! А она, — да что же её не бить, коли она — гулящая? Жён бьют, а таких и подавно не жаль! Только это всё — баловство одно! Я ведь понимаю, — кулак не наука!

— Да чему тебе учить её? Чем ты лучше?..

Он обнял меня за плечи и, встряхивая, сказал с насмешкой:

— В том и безобразие наше, что никто никого не лучше... Я, брат, всё понимаю, и снаружи и с изнанки, всё! Я — не деревня...

Он был немножко выпивши, весёлый; смотрел на меня с ласковым сожалением доброго учителя к бестолковому ученику...

XIX

Зимою работы на Ярмарке почти не было; дома я нёс, как раньше, многочисленные мелкие обязанности; они поглощали весь день, но вечера оставались свободными, я снова читал вслух хозяевам неприятные мне романы из «Нивы», из «Московского листка», а по ночам занимался чтением хороших книг и пробовал писать стихи.

Однажды, когда женщины ушли ко всенощной, а хозяин по нездоровью остался дома, он спросил меня:

— Виктор смеётся, что ты будто, Пешков, стихи пишешь, верно, что ли? Ну-ка, почитай!

Отказать было неловко, я прочитал несколько стихотворений; они, видимо, не понравились ему, но он всё-таки сказал:

— Валяй, валяй! Может, Пушкиным будешь; читал Пушкина?

Домового ли хоронят,
Ведьму ль замуж выдают?

В его пору ещё верили в домовых, ну, сам-то он, поди, не верил, а просто — шутил! — Да-а, брат, — задумчиво протянул он, — надо бы тебе учиться, а опоздал ты! Чорт знает, как ты будешь жить?.. Тетрадь-то свою подальше прячь, а то привяжутся бабы — засмеют... Бабы, брат, любят это — за сердце задеть...

С некоторого времени хозяин стал тих, задумчив и всё опасливо оглядывался, а звонки пугали его; иногда вдруг болезненно раздражался из-за пустяков, кричал на всех и убегал из дома, а поздней ночью возвращался пьяным... Чувствовалось, что в его жизни произошло что-то, никому, кроме него, неведомое, подорвало ему сердце, и теперь он жил не уверенно, не охотно, а как-то так, по привычке.

По праздникам, от обеда до девяти часов, я уходил гулять, а вечером сидел в трактире на Ямской улице; хозяин трактира, толстый и всегда потный человек, страшно любил пение, это знали певчие почти всех церковных хоров и собирались у него; он угощал их за песни водкой, пивом, чаем. Певчие — народ пьяный и малоинтересный; пели они неохотно, только ради угощения, и почти всегда церковное, а так как благочестивые пьяницы считали, что церковному в трактире не место, хозяин

приглашал их к себе в комнату, а я мог слушать пение только сквозь дверь. Но нередко в трактире певали деревенские мужики, мастеровые, — трактирщик сам разыскивал певцов по городу, расспрашивал о них в базарные дни у приезжих крестьян и приглашал к себе.

Певец всегда садился на стул у стойки буфета, под бочонком водки, — голова его рисовалась на дне бочонка, как в круглой раме.

Лучше всех — и всегда какие-то особенно хорошие песни — пел маленький, тощий шорник Клещов, человек мятый, жёваный, в клочьях рыжих волос; носишко у него блестел, точно у покойника, крошечные, сонные глаза были неподвижны.

Бывало закроет он их, прислонится ко дну бочонка затылком и, выпятив грудь, тихим, но всепобеждающим тенорком заведёт скороговоркой:

— Эх, уж как пал туман на поле чистое,
Да призакрыл туман дороги дальние...

Тут он вставал, опираясь поясницей на стойку, изогнувшись назад, и задушевно выводил, подняв лицо к потолку:

— Эх, я ку-да, куда пойду,
Где до-орогу я широкую найду?

Голос у него был маленький, но — неутомимый; он прошивал глухой, óтемный гомон[1] трактира серебряной струной, грустные слова, стоны и выкрики побеждали всех людей, — даже пьяные становились удивлённо-серьёзны, молча смотрели в столы перед собою, а у меня надрывалось сердце, переполненное тем мощным чувством, которое всегда будит хорошая музыка, чудесно касаясь глубин души.

В трактире становилось тихо, как в церкви, а пе-

[1] Óтемный гомон — слитный шум, говор и крики.

вец — словно добрый священник. Он не проповедует, а, действительно, всей душой честно молится за весь род людской; честно, вслух думает о всех горестях бедной человечьей жизни. Отовсюду на него смотрят бородатые люди, на звериных лицах задумчиво мигают детские глаза; иногда кто-нибудь вздыхает, и это хорошо подчёркивает победительную силу песни. В такие минуты мне всегда казалось, что все люди живут фальшивой, надуманной жизнью, а настоящая человечья жизнь — вот она!

Сидит в углу толсторожая торговка Лысуха, баба отбойная [1], бесстыдно-гулящая; спрятала голову в жирные плечи и плачет, тихонько моет слезами свои наглые глаза Недалеко от неё навалился на стол мрачный октавист [2] Митропольский, волосатый детина, похожий на дьякона-расстригу [3], с огромными глазами на пьяном лице; смотрит в рюмку водки перед собою, берёт её, подносит ко рту и снова ставит на стол, осторожно и бесшумно, — не может почему-то выпить.

И все люди в трактире замерли, точно прислушиваясь к давно забытому, что́ было дорого и близко им.

Когда Клещов, кончив песню, скромно опускался на стул, трактирщик, подавая ему стакан вина, говорил с улыбкой удовольствия:

— Ну, конешно, хорошо! Хоша ты не столь поёшь, сколько рассказываешь, однако мастер, что и говорить! Иного — никто не скажет...

Клещов, не торопясь, пил водку, осторожно крякал и тихо говорил:

— Спеть всякий может, у кого голос есть, а показать, какова душа в песне, — это только мне дано!

---

[1] Отбойная — беспутная.

[2] Октавист — человек, обладающий очень низким басом.

[3] На дьякона-расстригу (расстрига) — на лишенного духовного звания.

— Ну, не хвастай однако!

— Кому — нечем, тот не хвастает, — всё так же тихо, но более упрямо говорил певец.

— Заносчив ты, Клещов! — с досадой восклицает трактирщик.

— Выше своей души не заношусь...

А в углу рычал мрачный октавист:

— Чтó понимаете в пении сего безобразного ангела вы, черви, вы, плесень?

Он всегда и со всеми был несогласен, против всех спорил, всех обличал, и почти каждый праздник его жестоко били за это и певчие и все, кто мог, кто хотел.

Трактирщик любит песни Клещова, но терпеть не может самого певца; жалуется всем на него и явно ищет унизить шорника, посмеяться над ним; это знают и завсегдатаи [1] трактира и сам Клещов.

— Хорош певец, да кичлив, и надо его одёрнуть, — говорит он, и некоторые гости соглашаются с ним.

— Это — верно, заносчив парень!

— Чем заносится? Голос — от бога, не сам нажил! Да и велик ли голос-то? — упрямо твердит трактирщик.

Согласная публика вторит ему:

— Верно, тут не голос, а больше — уменье...

Почти всегда трактирщик старался напоить Клещова, но тот, спев две-три песни и выпив за каждую по стакану, тщательно окутывал горло вязаным шарфом, туго натягивал картуз на вихрастую голову и уходил.

Нередко трактирщик выискивал соперников Клещову; споёт шорник песню, а он, похвалив его, говорит, волнуясь:

— Тут, кстати, ещё один поющий пришёл! Нуте-ка-сь, пожалуйте, покажите себя!

Поющий иногда показывал хороший голос, но я не знаю случая, чтобы кто-нибудь из соперников Клещова

[1] Завсегдатаи — постоянные посетители.

спел так же просто и задушевно, как умел петь этот маленький, неказистый шорник.

— Н-нда, — не без сожаления говорил трактирщик, — это, конешно, хорошо-с! Главное — голос тут, а вот — душа-то...

Публика посмеивалась:

— Нет, шорника не одолеть, видно!

А Клещов, поглядывая на всех из-под рыжих, клочковатых бровей, спокойно и вежливенько говорил трактирщику:

— Балуете вы. Супротив меня не найти вам певца, как у меня дарование — от бога...

— Мы все — от бога!

— Разоритесь на вине, а не найдёте...

Трактирщик багровел и бормотал:

— Как знать, как знать...

А Клещов настойчиво доказывал ему:

— Ещё я скажу вам, что пение это, например, не петушиный бой...

— Да знаю я! Чего ты пристаёшь?

— Я не пристаю, а только доказываю; коли песня — забава, это уж — от лукавого!

— Да будет! Лучше спой ещё...

— Петь я всегда могу, хоть во сне даже, — соглашался Клещов, осторожно покашливая, и начинал петь.

И все пустяки, вся дрянь слов и намерений, всё пошлое, трактирное — чудесно исчезало дымом; на всех веяло струёй иной жизни — задумчивой, чистой, полной любви и грусти.

Я завидовал этому человеку, напряжённо завидовал его таланту, его власти над людьми, — он так чудесно пользовался этой властью! Мне хотелось познакомиться с шорником, о чём-то долго говорить с ним, но я не решался подойти к нему, — Клещов смотрел на всех белёсыми глазами так странно, точно не видел перед собой

никого. И было в нём нечто неприятное мне, мешавшее полюбить его, — а хотелось любить этого человека не тогда только, когда он пел. Неприятно было смотреть, как он по-стариковски натягивает на голову картуз и как, всем напоказ, кутает шею красным вязаным шарфом, о котором он говорил:

— Это мне милашка моя связала, девчонка одна...

Если он не пел, то важно надувался, потирал пальцем мёртвый, мороженый нос, а на вопросы отвечал односложно, нехотя. Когда я подсел к нему и спросил о чём-то, он, не взглянув на меня, сказал:

— Поди прочь, парнишка!

Гораздо больше нравился мне октавист Митропольский; являясь в трактир, он проходил в угол походкой человека, несущего большую тяжесть, отодвигал стул пинком ноги и садился, раскладывая локти по столу, положив на ладони большую, мохнатую голову. Молча выпив две-три рюмки, он гулко крякал; все, вздрогнув, повёртывались к нему, а он, упираясь подбородком в ладони, вызывающе смотрел на людей; грива нечёсаных волос дико осыпала его опухшее, бурое лицо.

— Что́ смотрите? Что́ видите? — вдруг спрашивал он бухающими словами.

Иногда ему отвечали:

— Лешего видим!

Бывали вечера, когда он пил молча и молча же уходил, тяжко шаркая ногами, но несколько раз я слышал, как он обличал людей, подражая пророку:

— Аз есмь [1] бога моего неподкупный слуга и се обличаю вы [2], яко [3] Исаия! [4] Горе граду Ариилу, иде же сквер-

---

[1] А з е с м ь — я есть (первое лицо глагола «быть»).

[2] С е о б л и ч а ю в ы — вот разоблачаю вас.

[3] Я к о — как.

[4] И с а и я — иудейский пророк, гневно обличавший царей; ему приписывается вошедшая в библию книга, названная его именем.

навцы[1], и жулики, и всякие мрази[2] безобразнии жительствуют в грязи подлых вожделений[3] своих! Горе корабельним крилам[4] земли, ибо несут они по путям вселенной людишек препакостных, — разумею вас, пияницы, обжоры, отребие мира сего, — несть вам числа, окаяннии, и не приемлет вас земля в недра своя!

Голос его гудел так, что даже стёкла в окнах звенели, — это очень нравилось публике, и она похваливала пророка:

— Здорово лупит, косматый пёс!

С ним легко было познакомиться, — стоило только предложить ему угощение; он требовал графин водки и порцию бычачьей печёнки с красным перцем, любимое его кушанье; оно разрывало рот и все внутренности. Когда я попросил его сказать мне, какие нужно читать книги, он свирепо и в упор ответил мне вопросом:

— Зачем читать?

Но, умягчённый моим смущением, прогудел:

— Екклезиаста[5] — читал?

— Читал.

— Екклезиаста читай! Больше ничего. Там вся мудрость мира, только одни бараны квадратные не понимают её — сиречь[6] никто не понимает... Ты кто таков — поёшь?

— Нет.

— Почему? Надо петь. Это самое нелепое занятие.

С соседнего стола спросили его:

---

[1] Скверн авцы — осквернённые грехами, гнусные.

[2] Мрази — мерзкие, дряни.

[3] Подлых вожделений (вожделения) — низких, греховных желаний.

[4] Корабельним крилам (крылья) — правильно: корабельным крыльям, то-есть парусам.

[5] Екклезиаста — книгу Екклезиаста, входящую в состав библии.

[6] Сиречь — то-есть.

— А ты сам-от — поёшь?

— Да, я — бездельник! Ну?

— Ничего.

— Не новость. Всем известно, что у тебя в башке ничего нет. И никогда ничего не будет. Аминь!

В этом тоне он говорил со всеми и со мною, конечно; хотя после двух-трёх угощений стал относиться ко мне мягче и даже однажды сказал с оттенком удивления:

— Гляжу я на тебя и не понимаю: что ты, кто ты и зачем ты? А впрочем — чорт тебя возьми!

К Клещову он относился непонятно: слушал его с явным наслаждением, даже иногда с ласковой улыбкой, но не знакомился с ним и говорил о нём грубо, презрительно:

— Это — болван! Он умеет дышать, он понимает, о чём поёт, а всё-таки — осёл!

— Почему?

— По природе своей.

Мне хотелось поговорить с ним, когда он трезв, но трезвый он только мычал, глядя на всё отуманенными, тоскливыми глазами. От кого-то я узнал, что этот, на всю жизнь пьяный, человек учился в Казанской академии, мог быть архиереем, — я не поверил этому. Но однажды, рассказывая ему о себе, я упомянул имя епископа Хрисанфа; октавист тряхнул головою и сказал:

— Хрисанф? Знаю. Учитель мой и благожелатель. В Казани, в академии, — помню! Хрисанф значит — златой цвет, как верно сказано у Памвы Берынды [1]. Да, он был златоцветен, Хрисанф!

— А кто это Памва Берында? — спросил я, но Митропольский кратко ответил:

— Не твоё дело.

Дома я записал в тетрадь свою: «непременно читать

[1] У Памвы Берынды (Памва Берында) — видного церковного писателя XVII века.

Памву Берынду», — мне показалось, что именно у этого Берынды я и найду ответы на множество вопросов, тревоживших меня.

Певчий очень любил употреблять какие-то неведомые мне имена, странные сочетания слов; это очень раздражало меня.

— Жизнь — не Анисья! — говорил он.

Я спрашивал:

— Кто это — Анисья?

— Полезная, — отвечал он, и моё недоумение забавляло его.

Эти словечки и то, что он учился в академии, заставляли меня думать, что он знает много, и было очень обидно, что он не хочет ни о чём говорить, а если говорит, то непонятно. А может быть, я не умел спросить его?

Но всё-таки он оставлял нечто в душе моей; мне нравилась пьяная смелость его обличений, построенных под пророка Исаию.

— О, нечисть и смрад[1] земли! — рычал он. — Худшие у вас — во славе, а лучшие — гонимы; настанет грозный день — и покаетесь в этом, но поздно будет, поздно!

Вскоре я узнал, что пророка выслали из города по этапу[2]. А за ним исчез Клещов, — женился выгодно и переехал жить в уезд, где открыл шорную мастерскую.

...Я так усердно расхваливал песни шорника хозяину, что он сказал однажды:

— Надо сходить, послушать...

И вот он сидит за столиком против меня, изумлённо подняв брови, широко открыв глаза.

По дороге в трактир он высмеивал меня и в трактире первые минуты всё издевался надо мной, публикой и удушливыми запахами. Когда шорник запел, он насмеш-

---

[1] Смрад — зловоние.

[2] По этапу (этап) — под охраной, под конвоем.

ливо улыбнулся и стал наливать пиво в стакан, но налил до половины и остановился, сказав:

— Ого... чорт!

Рука его задрожала, он тихонько поставил бутылку и стал напряжённо слушать.

— Д-да, брат, — сказал он, вздыхая, когда Клещов кончил петь, — действительно, поёт... чорт его возьми! Даже жарко стало...

Шорник снова запел, вскинув голову, глядя в потолок:

— По дороге из богатого села
Чистым полем молодая девка шла...

— Поёт, — пробормотал хозяин, качая головой и усмехаясь.

А Клещов заливается, как свирель:

— Отвечае красна девица ему:
Сирота я, не нужна я никому...

— Хорошо, — шепчет хозяин, мигая покрасневшими глазами, — ф-фу, чорт... хорошо!

Я смотрю на него и радуюсь; а рыдающие слова песни, победив шум трактира, звучат всё сильнее, краше, задушевнее:

— Нелюдимо на селе у нас живут,
Меня, девку, на вечёрки не зовут,
Ой, бедна я, да одета не к лицу,
Не годна я, знать, удалу молодцу...
Сватал вдовый, во работницу себе —
Не хочу я покориться той судьбе!..

Хозяин мой бесстыдно заплакал, — сидит, наклонив голову, и шмыгает горбатым носом, а на колени ему капают слёзы.

После третьей песни он сказал, взволнованный и словно измятый:

— Не могу больше сидеть тут — задыхаюсь, запахи же, чорт... Едем домой!..

Но на улице он предложил:

— Айда, Пешков, в гостиницу, закусим и всё... Не хочется домой!..

Не торгуясь, сел в сани извозчика и всю дорогу молчал, а в гостинице, заняв столик в углу, сразу начал вполголоса, оглядываясь, сердито тоскуя:

— Разбередил меня этот козёл... такую грусть нагнал... Нет, ты вот читаешь, рассуждаешь, а ты скажи — что за дьявольщина? Живёшь, живёшь, сорок лет прожито, жена, дети, а поговорить не с кем. Иной раз — так бы развернул душу, так бы заговорил обо всём, а не с кем! С ней заговоришь, с женой, не доходит до неё... Да что́ она? У ней дети... ну, хозяйство, своё дело! Она моей душе чужая. Жена — друг до первого ребёнка... как водится. Да она у меня, вообще... ну, ты сам видишь... ни в ду́дку, ни поплясать... неодушевлённое мясо, чорт вас возьми! Тоска, брат...

Он судорожно выпил холодное, горькое пиво, помолчал, взбивая длинные волосы, и снова заговорил:

— Вообще, брат, люди — сволочь! Вот ты там с мужиками говоришь, то да сё... я — понимаю, очень много неправильного, подлого — верно, брат... Воры всё! А ты думаешь, твоя речь доходит? Ни перчинки! Да. Они, — Пётр, Осип, — жульё! Они мне всё говорят, и как ты про меня выражаешься, и всё... Что, брат?

Я молчал, удивлённый.

— То-то! — сказал хозяин, усмехаясь. — Ты правильно в Персию собирался, там хоть ничего не поймёшь — чужой язык! А на своём языке — одни подлости!

— Осип рассказывает про меня? — спросил я.

— Ну да! А ты — что думал? Он больше всех говорит, болтун. Он, брат, хитрая штука... Нет, Пешков, слова не доходят. Правда? А на кой чорт она? Это всё рав-

но, как снег осенью, упал на грязь — и растаял. Грязи стало больше. Ты — лучше молчи...

Он пил пиво стакан за стаканом и, не пьянея, говорил всё более быстро и сердито:

— Пословица говорит: слово — не долото, а молчание — золото. Эх, брат, тоска, тоска... Верно он пел «Нелюдимо на селе у нас живут». Сиротство человечье...

Оглянувшись, он понизил голос и сказал:

— Вот, — нашёл было я себе... сердечного друга — женщина тут одна встретилась, вдова, мужа у неё в Сибирь осудили за фальшивые деньги — сидит здесь, в остроге. Познакомился я с ней... денег у неё ни копейки, ну, она и того, знаешь... сводня меня познакомила с ней. Присматриваюсь — что за милый человек! Красавица, знаешь, молодая... просто — замечательно! Раз, два... потом я ей и говорю: как же это, говорю, муж у тебя — жулик, сама ты себя нечестно держишь — зачем же ты в Сибирь за ним? А она, видишь ли, за ним идёт, на поселение, да-а... И вот она говорит мне: каков, говорит, он ни есть, а я его люблю, для меня он хорош! Может, он это из-за меня согрешил? А я с тобою грешу — для него, ему, говорит, деньги нужны, он — дворянин и привык жить хорошо. Кабы, говорит, я одна была, я бы жила честно. Вы, говорит, тоже хороший человек и нравитесь мне очень, но только не говорите со мной про это... Чорт!.. Отдал я ей всё, что было с собой — восемьдесят рублей с чем-то, — и говорю: извините, говорю... я не могу больше с вами, не могу! Ушёл, да — вот...

Помолчав и вдруг опьянев, опустившись, он пробормотал:

— Шесть раз был у неё... Ты не можешь понять, что́ это такое! Я, может быть, ещё шесть раз к её квартире подходил... а войти — не решился... не мог! Теперь она уехала.

Он положил руки на стол и шопотом, двигая пальцами, сказал:

— Не дай бог опять встречу её... не дай бог! Тогда — всё к чорту! Идём домой... идём!

Пошли; он пошатывался и ворчал:

— Вот как, брат...

Меня не удивила история, рассказанная им,—мне давно казалось, что с ним случится что-нибудь необычное. Но я был очень подавлен всем, что он сказал о жизни, особенно его словами про Осипа.

XX

Три лета прожил я «десятником» в мёртвом городе, среди пустых зданий, наблюдая, как рабочие осенью ломают неуклюжие каменные лавки, а весною строят такие же.

Хозяин очень заботился, чтобы я хорошо заработал его пять рублей. Если в лавке перестилали пол, — я должен был выбрать со всей её площади землю на аршин в глубину; босяки брали за эту работу рубль, я не получал ничего, но, занятый этой работой, я не успевал следить за плотниками, а они отвинчивали дверные замки, ручки, воровали разную мелочь.

И рабочие и подрядчики всячески старались обмануть меня, украсть что-нибудь, делая это почти открыто, как бы подчиняясь скучной обязанности, и нимало не сердились, когда я уличал их, но, не сердясь, удивлялись.

— Стараешься ты за пять-то целковых, как за двадцать, глядеть смешно!

Я указывал хозяину, что, выигрывая на моём труде рубль, он всегда теряет в десять раз больше, но он, подмигивая мне, говорил:

— Ладно, притворяйся!

Я понимал, что он подозревает меня в пособничестве воровству, это вызвало у меня чувство брезгливости к нему, но не обижало; таков порядок: все воруют, и сам хозяин тоже любит взять чужое.

Осматривая после ярмарки лавки, взятые им в ремонт, и увидав забытый самовар, посуду, ковёр, ножницы, а иногда ящик или штуку товара, хозяин говорил, усмехаясь:

— Составь список вещей и снеси всё в кладовую!

А из кладовой он возил вещи домой к себе, заставляя меня по нескольку раз переправлять опись их.

Я не люблю вещей, мне ничего не хотелось иметь, даже книги стесняли меня. У меня ничего не было, кроме маленького томика Беранже и песен Гейне[1]; хотелось приобрести Пушкина, но единственный букинист[2] города, злой старичок, требовал за Пушкина слишком много. Мебель, ковры, зеркала и всё, что загромождало квартиру хозяина, не нравилось мне, раздражая своей грузной неуклюжестью и запахами краски, лака; мне вообще не нравились комнаты хозяев, напоминая сундуки, набитые ненужным, излишним. И было противно, что хозяин таскает из кладовой чужие вещи, всё увеличивая лишнее вокруг себя. В комнатах Королевы Марго было тоже тесно, но зато красиво.

Жизнь вообще казалась мне бессвязной, нелепой, в ней было слишком много явно глупого. Вот мы перестраиваем лавки, а весною половодье затопит их, выпятит полы, исковеркает наружные двери; спадёт вода — загниют балки. Из года в год на протяжении десятилетий вода заливает Ярмарку, портит здания, мостовые, эти ежегодные потопы[3] приносят огромные убытки людям, и все знают, что потопы эти не устранятся сами собою.

---

[1] Гейне Генрих (1797—1856) — знаменитый немецкий поэт.

[2] Букинист — торговец старыми, подержанными книгами.

[3] Потопы — наводнения.

Каждую весну ледоход срезает баржи, десятки мелких судов, — люди поохают и строят новые суда — а ледоход снова ломает их. Что за нелепая толчея на одном и том же месте!

Я спрашиваю об этом Осипа, он удивляется и хохочет.

— Ах ты, цапля, гляди, как цапнул! Да тебе какое дело до этого до всего? Тебе-то что́, а?

Но тут же говорит более серьёзно, не угашая, однако, огонька насмешки в голубых, не по-старчески ясных глазах:

— Это ты дельно приметил! Положим, ни к чему оно тебе, а может, и годится! Ты вот ещё что приметь...

И рассказывает сухонькими словами, щедро присыпая их прибаутками, неожиданными сравнениями и всяким балагурством[1]:

— Вот — жалуются люди: земли мало, а Волга весною рвёт берега, уносит землю, откладывает её в русле своём мелью; тогда другие жалуются: Волга мелеет! Весенние потоки да летние дожди овраги роют, — опять же земля в реку идёт!

Он говорит без жалости, без злобы, а как бы наслаждаясь своим знанием жалоб на жизнь, и хотя слова его согласно вторят моим мыслям, — мне неприятно слушать их.

— А ещё приметь — пожары...

Я вспоминаю, что, кажется, не было лета, когда бы за Волгою не горели леса; каждогодно в июле небо затянуто мутножёлтым дымом; багровое солнце, потеряв лучи, смотрит на землю, как больное око.

— Леса — пустое дело, — говорит Осип, — это имение барское, казённое; у мужика лесов нет. Города горят — это тоже не велико дело, — в городах живут богатые, их жалеть нечего! Ты возьми сёла, деревни, — сколько деревень за лето сгорит! Может — не меньше сотни, вот это — убыток!

[1] Балагурством (балагурство)—шутками, весёлой болтовнёй.

Он тихонько смеётся.

— Есть именье, да нет уменья! И выходит у тебя со мной, что будто не на себя человек работает, не на землю, а на огонь да воду!

— Что же ты смеёшься?

— А что? Пожар слезой не потушишь, а половодье со слёз мощней будет.

Я знаю, что этот благообразный старик — самый умный человек изо всех, кого я видел, но что же он любит, что ненавистно ему?

Я думаю об этом, а он продолжает подкладывать в мой костёр сухие словечки.

— А ты погляди, как мало люди силу берегут, и свою и чужую, а? Как хозяин-то мотает тебя? А водочка чего стоит миру? Сосчитать невозможно, это выше всякого учёного ума! Изба сгорит — другую можно сбить, а вот когда хороший мужик пропадает зря — этого не поправишь! Ардальон, примерно, али-бо Гриша — гляди, как мужик вспыхнул! Глуповатый он, а душевный мужик, Гриша-то! Дымит, как сноп соломы. Бабы-то напали на него, подобно червям на убитого в лесу.

Я спрашиваю его — безобидно, с любопытством:

— Зачем ты рассказываешь хозяину мои мысли?

Спокойно и даже ласково он объясняет:

— А чтоб он знал, какие у тебя вредные мысли; надо, чтоб он тебя учил; кому тебя поучить, кроме хозяина? Я не со зла говорю ему, а по моей жалости к тебе. Парнишко ты неглупый, а в башке у тебя бес мутит. Украдь — я смолчу, к девкам ходи — тоже смолчу, и выпьешь — не скажу! А про дерзости твои всегда передам хозяину, так и знай...

— Не буду я с тобой говорить!

Он помолчал, отковыривая ногтем смолу с ладони, потом, взглянув на меня ласковыми глазами, сказал:

— Врёшь, будешь! С кем тебе ещё говорить? И не с кем...

Чистенький, аккуратный, Осип вдруг кажется мне похожим на кочегара Якова, равнодушного ко всему.

Иногда он напоминает начётчика Петра Васильева, иногда — извозчика Петра, порою в нём является что-то общее с дедом — он так или иначе похож на всех стариков, виденных мною. Все они были удивительно интересные старики, но я чувствовал, что жить с ними нельзя, — тяжело и противно. Они как бы выедают душу, их умные речи покрывают сердце рыжею ржавчиною. Осип — добрый? Нет. Злой? Тоже нет. Он умный, вот что ясно мне. Но, удивляя своею гибкостью, этот ум мертвил меня, и в конце концов я стал чувствовать, что он мне всячески враждебен.

В душе моей вскипали чёрные мысли:

— Все люди — чужие друг другу, несмотря на ласковые слова и улыбки, да и на земле все — чужие; кажется, что никто не связан с нею крепким чувством любви. Одна только бабушка любит жить и всё любит. Бабушка и великолепная Королева Марго.

Иногда эти и подобные мысли сгущались тёмною тучею, жить становилось душно и тяжко, а как жить иначе, куда итти? Даже говорить не с кем, кроме Осипа. И я всё чаще говорил с ним.

Он выслушивал мою горячую болтовню с явным интересом, переспрашивал меня, чего-то добиваясь, и спокойно говорил:

— Упрям дятел, да не страшен, никто его не боится! Душевно я советую тебе: иди-ка ты в монастырь, поживёшь там до возраста — будешь хорошей беседой богомолов утешать, и будет тебе спокойно, а монахам — доход! Душевно советую. К мирским делам ты, видно, неспособен, что ли...

В монастырь не хотелось, но я чувствовал, что запу-

тался и верчусь в заколдованном круге непонятного. Было тоскливо. Жизнь стала похожа на осенний лес, — грибы уже сошли, делать в пустом лесу нечего, и кажется, что насквозь знаешь его.

Я не пил водки, не путался с девицами, — эти два вида опьянения души мне заменяли книги. Но чем больше я читал, тем более трудно было жить так пусто и ненужно, как, мне казалось, живут люди.

Мне только что минуло пятнадцать лет, но иногда я чувствовал себя пожилым человеком; я как-то внутренно разбух и отяжелел от всего, что пережил, прочитал, о чём беспокойно думалось. Заглянув внутрь себя, я находил своё вместилище впечатлений подобным тёмному чулану, который тесно и кое-как набит разными вещами. Разобраться в них не было ни сил, ни умения.

И все тяжести, несмотря на их обилие, лежали непрочно, качались и пошатывали меня, как вода некрепко стоящий сосуд.

Я брезгливо не любил несчастий, болезней, жалоб; когда я видел жестокое, — кровь, побои, даже словесное издевательство над человеком, — это вызывало у меня органическое отвращение; оно быстро перерождалось в какое-то холодное бешенство, и я сам дрался, как зверь, после чего мне становилось стыдно до боли.

Иногда так страстно хотелось избить мучителя-человека, и я так слепо бросался в драку, что даже теперь вспоминаю об этих припадках отчаяния, рождённого бессилием, со стыдом и тоскою.

Во мне жило двое: один, узнав слишком много мерзости и грязи, несколько оробел от этого и, подавленный знанием буднично-страшного, начинал относиться к жизни, к людям недоверчиво, подозрительно, с бессильною жалостью ко всем, а также к себе самому. Этот человек мечтал о тихой, одинокой жизни с книгами, без людей, о монастыре, лесной сторожке, железнодорожной

будке, о Персии и о должности ночного сторожа где-нибудь на окраине города. Поменьше людей, подальше от них...

Другой, крещённый святым духом честных и мудрых книг, наблюдая победную силу буднично-страшного, чувствовал, как легко эта сила может оторвать ему голову, раздавить сердце грязной ступнёй, и напряжённо оборонялся, сцепив зубы, сжав кулаки, всегда готовый на всякий спор и бой. Этот любил и жалел деятельно и, как надлежало храброму герою французских романов, по третьему слову выхватывая шпагу из ножен, становился в боевую позицию.

Был у меня в ту пору ядовитый враг, дворник одного из публичных домов Малой Покровской улицы. Я познакомился с ним однажды утром, идя на Ярмарку: он стаскивал у ворот дома с пролётки извозчика бесчувственно-пьяную девицу; схватив её за ноги в сбившихся чулках, обнажив до пояса, он бесстыдно дёргал её, ухая и смеясь, плевал на тело ей, а она, съезжая толчками с пролётки, измятая, слепая, с открытым ртом, закинув за голову мягкие и словно вывихнутые руки, стукалась спиною, затылком и синим лицом о сиденье пролётки, о подножку, наконец упала на мостовую, ударившись головою о камни.

Извозчик, хлестнув лошадь, поехал прочь, а дворник впрягся в ноги девицы и, пятясь задом, поволок её на тротуар, как мёртвую. Я обезумел, побежал и, на моё счастье, на бегу сам бросил или нечаянно уронил саженный ватерпас [1], что спасло дворника и меня от крупной неприятности. Ударив его с разбегу, я опрокинул дворника, вскочил на крыльцо, отчаянно задёргал ручку звонка, выбежали какие-то дикие люди, я не мог ничего объяснить им и ушёл, подняв ватерпас.

---

[1] Ватерпас — прибор у плотников, употребляется для проверки горизонтального положения плоскости.

У съезда догнал извозчика; он, поглядев на меня с высоты козел, одобрительно сказал:

— Ловко ты его двинул!

Я сердито спросил его: как же это он позволил дворнику издеваться над девицей, — он сказал спокойно, брезгливо:

— А мне — пёс их возьми! Мне господа заплатили, когда сажали её в пролётку, — какое мне дело, кто кого бьёт!

— А убили бы её?

— Ну, да, — скоро убьёшь эдакую, — сказал извозчик так, как будто он неоднократно пробовал убивать пьяных девиц.

С того дня я почти каждое утро видел дворника; иду по улице, а он метёт мостовую или сидит на крыльце, как бы поджидая меня. Я подхожу к нему, он встаёт, засучивая рукава, и предупредительно извещает:

— Ну, сейчас я тебя обломаю!

Ему было лет за сорок; маленький, кривоногий, с животом беременной женщины, он, усмехаясь, смотрел на меня лучистыми глазами, и было до ужаса странно видеть, что глаза у него — добрые, весёлые. Драться он не умел, да и руки у него были короче моих, — после двух-трёх схваток он уступал мне, прижимался спиною к воротам и говорил удивлённо:

— Ну, погоди же, хват!..

Эти сражения надоели мне, и я сказал ему однажды:

— Послушай, дурак, отвяжись ты от меня, пожалуйста!

— А ты зачем бьёшься? — спросил он укоризненно.

Я тоже спросил его, зачем он так гадко издевался над девицей.

— А тебе что? Жалко её?

— Жалко, конечно.

Он помолчал, вытер губы и спросил:

— А кошку жалко тебе?

— Ну, и кошку жалко...

Тогда он сказал мне:

— Ты — дурак, жулик! Погоди, я те покажу...

Я не мог не ходить по этой улице — это был самый краткий путь. Но я стал вставать раньше, чтобы не встречаться с этим человеком, и всё-таки через несколько дней увидел его, — он сидел на крыльце и гладил дымчатую кошку, лежавшую на коленях у него, а когда я подошёл к нему шага на три, он, вскочив, схватил кошку за ноги и с размаху ударил её головой о тумбу, так что на меня брызнуло тёплым, — ударил, бросил кошку под ноги мне и встал в калитку, спрашивая:

— Что́?

Ну, что́ же тут делать! Мы катались по двору, как два пса; а потом, сидя в бурьяне съезда, обезумев от невыразимой тоски, я кусал губы, чтобы не реветь, не орать. Вот вспоминаешь об этом и, содрогаясь в мучительном отвращении, удивляешься — как я не сошёл с ума, не убил никого?

Зачем я рассказываю эти мерзости? А чтобы вы знали, милостивые государи, — это ведь не прошло, не прошло! Вам нравятся страхи выдуманные, нравятся ужасы, красиво рассказанные, фантастически-страшное приятно волнует вас. А я вот знаю действительно страшное, буднично-ужасное, и за мною неотрицаемое право неприятно волновать вас рассказами о нём, дабы вы вспомнили, как живёте и чем живёте.

Подлой и грязной жизнью живём все мы, вот в чём дело!

Я очень люблю людей и не хотел бы никого мучить, но нельзя быть сентиментальным[1] и нельзя скрывать

---

[1] Сентиментальным (сентиментальный) — здесь: жалостливым.

грозную правду в пёстрых словечках красивенькой лжи. К жизни, к жизни! Надо растворить в ней всё, что есть хорошего, человечьего в наших сердцах и мозгах.

...Меня особенно сводило с ума отношение к женщине; начитавшись романов, я смотрел на женщину, как на самое лучшее и значительное в жизни. В этом утверждали меня бабушка, её рассказы о богородице и Василисе Премудрой, несчастная прачка Наталья и те сотни, тысячи замеченных мною взглядов, улыбок, которыми женщины, матери жизни, украшают её, эту жизнь, бедную радостями, бедную любовью.

Славу женщине пели книги Тургенева, и всем, что я знал хорошего о женщинах, я украшал памятный мне образ Королевы; Гейне и Тургенев особенно много давали драгоценностей для этого.

Возвращаясь вечером с Ярмарки, я останавливался на горе у стены кремля и смотрел, как за Волгой опускается солнце, текут в небесах огненные реки, багровеет и синеет земная, любимая река. Иногда в такие минуты вся земля казалась огромной арестантской баржей; она похожа на свинью, и её лениво тащит куда-то невидимый пароход.

Но чаще думалось о величине земли, о городах, известных мне по книгам, о чужих странах, где живут иначе. В книгах иноземных писателей жизнь рисовалась чище, милее, менее трудной, чем та, которая медленно и однообразно кипела вокруг меня. Это успокаивало мою тревогу, возбуждая упрямые мечты о возможности другой жизни.

И всё казалось, что вот я встречу какого-то простого, мудрого человека, который выведет меня на широкий, ясный путь.

Однажды, когда я сидел на скамье под стеною кремля, рядом со мною очутился дядя Яков. Я не заметил, как он подошёл, и не сразу узнал его; хотя в течение

нескольких лет мы жили в одном городе, но встречались редко, случайно и мельком.

— Эк тебя вытянуло, — шутливо сказал он, толкнув меня, и мы стали разговаривать, как чужие, но давно знакомые люди.

По рассказам бабушки я знал, что за эти годы дядя Яков окончательно разорился, всё прожил, прогулял; служил помощником смотрителя на этапном дворе, но служба кончилась плохо: смотритель заболел, а дядя Яков начал устраивать в квартире у себя весёлые пиры для арестантов. Это стало известно, его лишили места и отдали под суд, обвиняя в том, что он выпускал арестантов по ночам в город «погулять». Никто из арестантов не убежал, но один был пойман как раз в ту минуту, когда он усердно душил какого-то дьякона. Долго тянулось следствие, однако до суда дело не дошло, — арестанты и надзиратели сумели выгородить доброго дядю из этой истории. Теперь он жил без работы, на средства сына, который пел в церковном хоре Рукавишникова, знаменитом в то время. О сыне он говорил странно:

— Он у меня серьёзный стал, важный! Солист. Не успеешь во-время самовар подать али одежду вычистить — сердится! Аккуратный парень! И чистоплотен...

Сам дядя сильно постарел, весь загрязнился, облез и обмяк. Его весёлые кудри сильно поредели, уши оттопырились, на белках глаз и в сафьяновой коже бритых щёк явилась густая сеть красных жилок. Говорил он шутливо, но казалось, что во рту у него что-то лежит и мешает языку, хотя зубы его были целы.

Я обрадовался возможности поговорить с человеком, который умел жить весело, много видел и много должен знать. Мне ярко вспомнились его бойкие, смешные песни, и прозвучали в памяти дедовы слова о нём:

— По песням — царь Давид, а по делам — Авессалом[1] ядовит!

По бульвару мимо нас ходила чистая публика: пышные барыни, чиновники, офицеры; дядя был одет в потёртое осеннее пальто, измятый картуз, рыженькие сапоги и ёжился, видимо стесняясь своего костюма. Мы ушли в один из трактиров Почаинского оврага и заняли место у окна, открытого на рынок.

— Помните, как вы пели:

— Нищий вывесил онучи[2] сушить,
А другой нищий онучи украл...

Когда я произнёс слова песни, я вдруг и впервые почувствовал её насмешливый смысл, и мне показалось, что весёлый дядя зол и умён.

Но он, наливая водку в рюмку, задумчиво сказал:

— Да, пожил я, почудил, а — мало! Песня эта — не моя, её составил один учитель семинарии, как, бишь, его звали, покойника? Забыл. Жили мы с ним приятелями. Холостой. Спился и — помер, обморозился. Сколько народу спилось на моей памяти — сосчитать трудно! Ты не пьёшь? Не пей, погоди. Дедушку часто видишь? Невесёлый старичок. С ума, будто, сходит.

Выпив, он оживился, расправился, помолодел и стал говорить бойчее.

Я слушал его невнимательно. Неохотно и не надеясь на ответ, всё-таки сказал:

— Я вот тоже не знаю, как мне жить...

Он усмехнулся.

— Ну... Кто это знает? Не видал я таких, чтобы знали! Так, живут люди, кто к чему привык...

И снова заговорил обиженно и сердито:

---

[1] Авессалом — по библейской легенде, сын иудейского царя Давида, восставший против отца.

[2] Онучи — портянки, обмотки для ног под сапоги или лапти.

— Был у меня, за насилие, один человек из Орла, дворянин, отличнейший плясун, так он бывало всех смешил, пел про Ваньку:

— Ходит Ванька по погосту —
Это — очень просто!
Ах ты, Ванька, высунь нос-то
Подальше погоста!..

Так я думаю, что это вовсе не смешно, а правда! Как ни вертись, дальше погоста не заглянешь. А тогда — мне всё равно: арестантом жить али смотрителем над арестантами...

Он устал говорить, выпил водку и заглянул по-птичьи, одним глазом, в пустой графин, молча закурил ещё папиросу, пуская дым в усы.

«Как ни бейся, на что ни надейся, а гроба да погоста никому не миновать-стать» — нередко говаривал каменщик Пётр, совершенно не похожий на дядю Якова. Сколько уже знал я таких и подобных поговорок!

Больше ничего не хотелось спрашивать дядю. Грустно было с ним, и жалко было его; всё вспоминались бойкие песни и этот звон гитары, сочившийся радостью сквозь мягкую грусть. Не забыл я и весёлого Цыгана, не забыл и, глядя на измятую фигуру дяди Якова, думал невольно:

— Помнит ли он, как задавил Цыгана крестом?

Не хотелось спросить об этом.

Я смотрел в овраг, до краёв налитый сыроватой августовской тьмою. Из оврага поднимался запах яблок и дынь. По узкому въезду в город вспыхивали фонари, всё было насквозь знакомо. Вот сейчас гудит пароход на Рыбинск и другой — в Пермь...

— Однако надо итти, — сказал дядя.

У двери трактира, встряхивая мою руку, он шутливо посоветовал:

— Ты не хандри[1]; ты как будто хандришь, а? Плюнь! Ты молоденький ещё. Главное, помни: «судьба — веселью не помеха»! Ну, прощай, мне — к Успенью!

Весёлый дядя ушёл, оставив меня ещё более запутанным его речами.

Я поднялся в город, вышел в поле. Было полнолуние, по небу плыли тяжёлые облака, стирая с земли чёрными тенями мою тень. Обойдя город полем, я пришёл к Волге, на Откос, лёг там на пыльную траву и долго смотрел за реку, в луга, на эту неподвижную землю. Через Волгу медленно тащились тени облаков; перевалив в луга, они становятся светлее, точно омылись водою реки. Всё вокруг полуспит, всё так приглушено, всё движется как-то неохотно, по тяжкой необходимости, а не по пламенной любви к движению, к жизни.

И так хочется дать хороший пинок всей земле и себе самому, чтобы всё — и сам я — завертелось радостным вихрем, праздничной пляской людей, влюблённых друг в друга, в эту жизнь, начатую ради другой жизни — красивой, бодрой, честной...

Думалось:

— Надобно что-нибудь делать с собой, а то пропаду...

Хмурыми осенними днями, когда не только не видишь, но и не чувствуешь солнца, забываешь о нём, — осенними днями не однажды случалось плутать в лесу. Собьёшься с дороги, потеряешь все тропы, наконец, устав искать их, стиснешь зубы и пойдёшь прямо чащей, по гнилому валежнику, по зыбким кочкам болота — в конце концов всегда выйдешь на дорогу!

Так я и решил.

Осенью этого года я уехал в Казань, тайно надеясь, что, может быть, пристроюсь там учиться.

---

[1] Не хандри (хандрить) — не скучай.

Подготовка текста И. Ежова-Беляева

Словарь Н. Ашукина

Оформление Н. Хмелевской

— —

ДЛЯ СЕМИЛЕТНЕЙ И СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ

Ответственный редактор **Г. Каримова.**
Художественный редактор **С. Садомская.**
Технический редактор **И. Румянцева.**
Корректоры
А. Ясиновская и **Е. Трушковская.**
Сдано в набор 28/VI 1950 г. Подписано к печати 13/IX 1950 г. Формат $84 \times 108^{1}/_{32}$ = = 5,063 бум. — 16, 636 печ. л. (14,0 уч.-изд. л.). Тираж 60 000 экз. А06766.
Заказ № 830. Цена 4 р. 50 к.

Фабрика детской книги Детгиза,
Москва, Сущевский вал, 49.

65

Цена 4 р. 50 к.